

ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНА

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНА

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНА



Серия *ЛАБИРИНТ.*



Выпуск I

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНА

«ВЕЙМАРСКАЯ» РОССИЯ

КРУК

Издательская фирма «КРУК»

Издательство

«Московская городская типография А. С. Пушкина»

1995

ББК 66.3(0)
Я 64

Янов А.
Я 64 После Ельцина. "Веймарская" Россия. — М.: "КРУК",
1995. — 320 с.

ISBN 5-900816-09-5

Я 0803010200-8
Ш 40 (03)-95

ББК 66.3(0)

ISBN 5-900816-09-5

© Янов А. Л., 1995.
© Герцовская М. М., художественное
оформление, 1995

Ирина ХАКАМАДА,
лидер Движения
“Общее Дело”

В какой стране мы живем

Какая судьба ожидает эту книгу?

Суждено ли ей, как мечтает автор, открыть широкую дискуссию о путях России, способную повлиять на ее будущее? Или, никого не всколыхнув, она осядет в грудах издательских неликвидов — невостребованной, непонятой, непрочитанной?

Все необходимое, чтобы стать запалом для интеллектуального взрыва, в книге Александра Янова есть. Тема хватает за живое: куда мы идем, какие времена ждут нас за сегодняшним шатким безвременьем. Информационная насыщенность, богатство фактуры — настоящий пир для любознательного ума. И впридачу — яркий полемический темперамент автора, хорошо знающего, как разбудить даже вялую, дремлющую мысль.

Но и всего этого может оказаться сегодня недостаточно.

У Александра Янова всегда был в России свой читатель, вместе с ним выросший, понимавший его с полуслова и готовый смотреть на мир его глазами. Это — поколение наших духовных отцов. Вечный земной поклон этим людям! Они сделали хрущевскую «оттепель» началом конца сталинской эры. Они первыми разорвали путы лжи и страха, возродили задушенные традиции русской интеллигенции — ненависть к рабству и веру во всемогущество свободной мысли. Наше поколение, явившееся следом, было иным. В нас было больше практичности и меньше идеализма. Но мы росли в энергетическом поле, созданном «шестидесятниками», питались их литературой, их идеями. И если нам удалось сохранить независимость, устоять перед компромиссами, если мы сумели довести начатое ими не только до ума, но и до реального дела, то их заслуг в этом, по крайней мере, не меньше, чем наших собственных.

Эту публику Янову завоевывать не нужно. Даже при неполном совпадении с ним во взглядах она поверит скорее ему, чем себе — такова сила давнего, ничем не запятнанного авторитета. Но, к сожалению, она мало сегодня влияет на ситуацию и на настроения. «Шестидесятники» — по духу, а не только по возрасту — уступили ту главную роль, на которую претендовали — и которую имели право играть, потому что уступали не всегда сильнейшим по интеллекту и моральным качествам. При всей своей сверхъестественной чуткости к правам и свободам лич-

ности это течение мало смотрело в сторону экономических прав и свобод. И потому их лидерство, бесспорное в жестких исторических условиях борьбы с режимом, оказалось ничем не подкрепленным, когда настало время созидательной работы — кропотливой, тяжелой и скучной. «Шестидесятники» не были к ней готовы. Они просто никогда о ней не думали. И это воздвигло барьер отчуждения между ними и новыми общественными группами, которые утверждают себя на почве экономических интересов, по законам рыночной борьбы — и за которыми, как я это понимаю, будущее.

Как высока и насколько прочна эта преграда? Сможет ли сдвинуть ее сознание общей опасности, о которой предупреждает Александр Янов, — грозной опасности, что все мы, сильные и слабые, святые и грешные, канем в черную бездну? Янов не раз доказывал, что его интуиция способна брать верх над тривиальной арифметикой политических расчетов. Если и на этот раз его внутренний голос не ошибается, не слишком-то много времени отпущено нам на размышления.

Не странно ли, что человек, которого судьба увела из России, открывает глаза на происходящее нам, живущим здесь? И чего в этом больше — его особой прозорливости или дефектов нашего зрения? Из всех проблем политической жизни России эта — основная: мы погружены сами в себя. Наше самовосприятие искажено бесчисленными легендами и мифами, которые рождаются всегда, когда отсутствует трезвый и беспристрастный — вот именно, как со стороны — взгляд на себя, когда не хватает умения собирать информацию, работать с ней, а зачастую нет даже и представления — какой объем и какой информации необходим, чтобы принять точное решение.

Мы недооцениваем своих противников — и потому, что просто плохо их знаем, и из детской боязни хоть в чем-то почувствовать их превосходство. Либо игнорируем их, либо пытаемся перекричать, вместо того, чтобы внимательно и спокойно изучить их аргументы и сопоставить их с собственными. В чем их, а в чем наша слабость? В чем наше, а в чем их преимущество?

Казалось бы, это обрекает на успех книгу, которую мы с вами держим в руках. Еще не предпринималось попыток так обстоятельно рассмотреть уникальный исторический опыт последнего российского пятилетия и осмыслить перспективы демократического развития страны. Больше, чем кто-нибудь еще, потребность в этом должна испытывать наша политическая элита. Но вопреки логике любого, в том числе и интеллектуального рынка, у меня нет уверенности, что отсутствие конкуренции гарантирует Янову теплый прием в этой среде. Взять на вооружение его идеи — значит признать свои просчеты, собственноручно разрушить миф о своей непогрешимости, открыто сказать людям: да, мы во многом перед вами виноваты. А это очень больно, и, может быть, все трудности российских либералов — от неумения переступить через эту боль. Ни разу не видела Россия, чтобы ее демократический лагерь жестко и беспощадно анализировал свои ошибки. Он заранее прощал себя за все.

Угроза фашистского перерождения «после Ельцина», которую нельзя сбрасывать со счетов, возникает вовсе не потому, что российский национал-экстремизм могуч и непобедим: не так уж много, на самом деле, людей осознанно и последовательно исповедуют эту веру. Но

погоду в обществе сейчас делают вовсе не те, кто убежденно и активно за что-то выступает — хоть за реформы, хоть за их прекращение. Погоду делают самоустранившиеся. Исход любых выборов, общенациональных и региональных, состав выборных органов определяется не столько волеизъявлением голосующих, сколько огромным числом бойкотирующих. И это вовсе не какие-то «темные массы», неспособные, в силу недоразвитости, реализовать свои гражданские права. Наоборот. К позиции неучастия склоняются наиболее образованные, профессионально продвинутые, молодые.

Трансформация бывшего советского общества в гражданское требует времени. Но сдвиг в этом направлении уже сейчас мог быть более заметен. Демократическими называют себя многие партии и движения, но над самоорганизацией общества — фундаментом подлинной демократии — не работает никто. «Голосование ногами» выражает отношение избирателей к власти, но не помогает создать вокруг нее санитарный кордон.

Нужна ли книга Янова человеку, самоустранившемуся от политики, а значит, от решения собственной судьбы? Да ни в коем случае. Это не легкое и занимательное чтение. Она не утешает, не успокаивает, она тревожит — и реальностью ужасающей перспективы, и внятными напоминанием о личной ответственности каждого.

Тем не менее, она появилась, эта книга, свою половину пути навстречу читателю она прошла. И теперь реакция на нее, не хуже иных социологических опросов, покажет, в какой стране мы живем.

*Внучке моей, чье имя Надежда,
посвящается эта книга*

ACKNOWLEDGMENTS

На русский это английское слово обычно переводится как признательность, благодарность. Предварять таким образом книги — процедура в Америке обязательная. Искусство благодарить превратилось здесь в своего рода академический спорт — кто кого переблагодарит. Выразить признательность принято всем — тем, кто читал книгу в рукописи (за то, что хватило терпения) и кто не читал (за то, что, по крайней мере, не испортили автору настроение). Я не говорю уже о студентах, соседях, машинистках и архивистах, близких друзьях и случайных знакомых. Мой приятель однажды поблагодарил свою дочь за то, что не родилась, покуда он не управился с рукописью.

Мне ничего подобного придумывать не надо, у меня особый случай. Опубликовав много книг в чужих странах на чужих языках, я впервые представляю свою книгу друзьям и оппонентам на родине и на родном языке. Мне, по сути, вернули голос. Могу ли я не поблагодарить тех, кто это сделал? Кто посреди сегодняшних развала и безвременья положил на это столько труда, вдохновения и легендарного русского упрямства? Для меня это знак надежды, если не чуда. Есть еще, значит, порох в наших старых пороховницах.

В первую очередь благодарен я людям, которые сделали это чудо возможным — моим великодушным издателям Владимиру Евгеньевичу Сиротинскому и Владимиру Владимировичу Преображенскому, а также моему самоотверженному редактору Далиле Самсоновне Акивис.

Признателен я также оппонентам, которые говорили со мною, не жалея своего времени и не отвергнув меня как врага — несмотря на все наши жестокие разногласия. Без них эта книга тоже не была бы возможна.

И конечно же, благодарен я ее будущим читателям, в особенности тем, которые не единомышленники. Если сумел я хоть некоторых из них отвлечь от засасывающей повседневной и хаотической суеты и помочь сфокусироваться на общей картине происходящего, значит не зря была вся эта мука.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

КАК Я НЕ СПАС РОССИЮ

1

Центральная метафора этой книги — «веймарская» Россия. На мой взгляд, она точно обозначает тему, хотя, возможно, требует пояснений.

Веймарской называлась демократическая республика, возникшая в 1918 году в Германии на развалинах агрессивной вильгельмовской империи. Экономически она была далеко не слабой и вполне рыночной. После короткого жестокого периода взаимного непонимания западные финансовые организации помогали ей с таким же энтузиазмом, с каким помогают они сейчас России. Благодаря главным образом Английскому банку была укрощена легендарная гиперинфляция 1923 года. План американского банкира Янга великодушно рассрочил платежи по внешнему долгу. Страна была затоплена кредитами.

Никому, однако, не пришло в голову позаботиться о судьбе хрупкой новорожденной демократии, хотя ее уязвимость была не менее очевидна, чем сейчас в России. В марте 1920-го страну потряс берлинский путч Вольфганга Каппа. В ноябре 1923-го реваншисты во главе с Гитлером и Людендорфом попытались организовать в Мюнхене «марш на Берлин». Это была точно такая же оппозиция, которая атакует сегодня демократию российскую. В январе 1933 года она окончательно восторжествовала. Веймарская республика сменилась Третьим Рейхом.

История веймарской Германии была краткой — всего полтора десятилетия. Но она навсегда останется самым ярким символом непреложного исторического закона: попытка свести гигантскую задачу демократической трансформации имперского гиганта к тривиальной проблеме денег и кредитов не может закончиться ничем, кроме всемирного несчастья.

И вот этот трагический сценарий вновь разыгрывается на наших

глазах и с нами. Судьба веймарской Германии оживает в судьбе «веймарской» России. То же мажорное, многообещающее начало. То же драматическое развитие, тот же накал схваток с непримиримой оппозицией. И та же политика, главными творцами которой становятся финансисты — с их логикой и системой приоритетов.

Веймарский сценарий обреч наших отцов на мировую войну, на Холокост. Представить, как будет выглядеть его финал в ядерном веке, — воображения не хватает.

Но есть ли у этого финала варианты?

2

Катастрофа демократии в веймарской Германии вовсе не была случайным или изолированным эпизодом истории XX века. Напротив, она дословно повторилась во всех без исключения великих державах имперского или, как логично его назвать, веймарского класса.

Так случилось в Китае после 1911 г., когда Сун Ятсен объявил его демократической республикой, и в Японии, приступившей в 1912-м к глубоким демократическим реформам. В обоих случаях новорожденная демократия рухнула задолго до великой депрессии 1929 г., на которую многие эксперты склонны возлагать вину за гибель Веймарской республики. Так случилось и в самой России после февраля 1917-го, хотя весь ее веймарский этап продолжался всего девять месяцев. Так случалось всегда, когда трансформирующийся имперский гигант пытался прорваться к демократии на свой страх и риск.

В ретроспективе мы видим, что по-другому быть и не могло. Векковая имперская и милитаристская традиция заведомо сильнее новорожденной демократии, интеллектуально незрелой и политически неопытной. Если даже удавалось демократии пережить первый, второй или третий свой кризис, пятый или десятый добивал ее наверняка. И чем глубже, чем укорененней была в стране эта «государственная идея», тем более подавляющим оказывалось ее превосходство и больше шансов получала она восторжествовать над юной и неискушенной свободой. А вдобавок цепь предшествующих событий повсюду приводила к катастрофическому ослаблению авторитета власти, экономическому упадку, росту коррупции и преступности, которые, как и сегодня в России, тотчас становились мощным пропагандистским орудием в руках реваншистской имперской оппозиции.

А как же мирная демократическая самотрансформация Испании, Чили или Южной Кореи? Но в нашем, веймарском случае эти параллели не работают. Ни одна из этих стран не сопоставима с Россией, как, впрочем, и с Японией или Германией. Их культура не была пронизана вековыми имперскими амбициями. В них не было — и не могло возникнуть — мощной реваншистской оппозиции, способной поднять народ против демократии, апеллируя к его имперскому величию, к стремлению первенствовать среди народов мира — будь то в рамках «нового порядка», как в Германии, или «сферы совместного процветания», как в Японии, или даже «мировой революции», как в России.

3

После второй мировой войны, когда Япония и Германия повторяли попытку прорыва к демократии, мировое сообщество повело себя совсем не так, как в первой половине столетия, когда юные демократии были оставлены один на один с силами имперского реванша.

Наученное горьким опытом, оно больше не верило в возможность демократической самотрансформации побежденных имперских гигантов. Оно не рассматривало демократизацию своих бывших врагов как проблему гуманитарной и финансовой поддержки. И вообще, не о помощи шла теперь речь, но о **гарантиях**, что никогда больше от Японии или Германии не будет исходить угроза национальной безопасности союзных стран.

Интеллектуальный и политический опыт демократического сообщества компенсировал немощность молодых, в сложнейших условиях рождавшихся демократий. Во всех случаях, когда требовалось провести глубокие реформы, конституционные или структурные, союзники не только подталкивали к ним, поощряя слабые послевоенные правительства в Токио или в Бонне — они полностью разделяли с ними ответственность за эти реформы. Они непосредственно участвовали в их реализации, мобилизуя для этого свои ресурсы — интеллектуальные, политические, моральные, не говоря уже о материальных. Одним словом, на смену довоенной веймарской политике пришла политика **соучастия**.

И это решило дело. Реваншистская оппозиция была оттеснена на обочину политической жизни, маргинализована и тем самым лишена возможности повернуть историю вспять.

В этом и состояла, собственно, разница между двумя политиками: в нейтрализации реваншистской угрозы. Одна сосредоточилась на экономической задаче, другая поставила во главу угла задачу политическую. Одна была обречена на провал, другая победила.

4

Не раз пытался я дать читателю — и в России, и в Америке — представление о том, какой может стать пост-ельцинская Россия, если он, читатель, не поможет остановить силы имперского реванша.

Формула, управляющая сегодня умами западных политиков, проста: поможем сделать Россию рыночной и демократической. Россия не рыночная была заклятым врагом Запада. Рыночная — станет партнером.

Эта простота очень привлекательна, но и очень коварна.

Капитализм — не синоним демократии. И тем не менее, чем все озабочены на уровне практическом? Маркетизацией России, кредитами, рассрочкой долгов, приватизацией. Короче — рынком. Работать в Москву посылаем экономических советников, счетоводов и бизнесменов, а не политиков и интеллектуалов. План помощи строительству свободного рынка в России у нас есть. Плана строи-

тельства в ней демократии — нету. Демократия, мы полагаем, вырастет сама собой — как естественная надстройка над рыночным хозяйством.

А если не вырастет? А если на рыночном фундаменте воздвигнется уродливое и зловещее здание российского реваншизма, авторитарного, воинствующего антизападного и антидемократического? Как вам понравится такая перспектива?

Конфликт между приоритетом строительства свободного рынка в России и приоритетом ее демократизации — уже реальность. Он уже расколол страну, уже привел к серии жестоких кризисов. В самом сердце России пролилась кровь.

Даже такой безоговорочный сторонник рыночной экономики, как обозреватель «Нью-Йорк Таймс» А. М. Розентал, ядовито заметил: «Если бы мне платили зарплату в 10 центов, а гамбургер стоил 10 долларов, это и меня заставило бы усомниться в достоинствах свободного рынка». Но ведь именно так, по милости бравых рыночников, соотносятся сегодня в России зарплаты и цены.

Спросите любого американского политика о его российских ориентирах, и он, я уверен, ответит вам словами того же Розентала: «Свобода в стране — наше дело, а скорость ее движения к полной отмене контроля над ценами — нет». Но в действительности все обстоит как раз наоборот. За приоритетом «полной отмены контроля за ценами» стоят мощные международные финансовые организации, и все ресурсы, выделенные мировым сообществом для помощи России, сконцентрированы в их руках. Международный валютный фонд и Всемирный банк не только имеют свою стратегию построения рынка, никак не соотношенную с интересами строительства демократии, но и могут навязывать ее российскому правительству как условие западной помощи. А у сторонников приоритета «свободы в стране» нет ни организации, ни ресурсов, ни стратегии — никаких реальных инструментов воздействия на политический процесс в Москве. Хотя даже равенства этих приоритетов было бы сейчас недостаточно.

Россия переживает коллапс вековой имперской цивилизации, распад всех традиционных ценностей.

Великий народ агонизирует на руинах мира, к которому он привык. Самая высокая ценность для него теперь — надежда. Пусть пока не уверенность в завтрашнем дне, но хоть какое-нибудь осязаемое свидетельство, что неведомый мир, в который он вступает, стоит его нынешних страданий. По крайней мере, ему нужно видеть, что именно этим, а не просто маркетизацией всей страны, озабочены те, кто распоряжается его судьбой.

Таким гарантом надежды был для России после августа 91-го и до сих пор в известной мере остается Борис Ельцин. А в более широком смысле им была и остается искушенная и авторитетная западная демократия, с таким искренним пылом приветствовавшая Россию, когда она вступила на этот тернистый путь. Не случайно именно на дискредитацию Запада — и Ельцина как его послушной «марионетки» — направлены все усилия реваншистской оппозиции. Разрушение прозападных симпатий для нее — неременное условие победы над демократией.

К сожалению, западная публика живет в полном неведении. Она даже не подозревает, что находится в состоянии войны и что война эта идет за контроль над ядерной сверхдержавой. Она не знает, что враги Ельцина из лагеря российского реваншизма — это и ее враги, ничуть не менее откровенно, чем Гитлер, презирующие все западные ценности. Эти люди гордятся сотрудничеством с Саддамом Хусейном и европейскими фашистами. Мало кто из них остановится перед ядерным шантажом, если окажется у руля.

Мне нужно, чтобы читатель — и российский, и западный — понял: между ним и этим кошмаром нет ничего, кроме тонкой и уязвимой пленки послеавгустовского режима, при всей его до прискорбля очевидной коррумпированности, отсутствии стратегического мышления и бесчисленных ошибках на каждом шагу. Мало того, под нарастающим давлением имперской оппозиции, отчаянно стремясь перехватить ее «патриотические» лозунги, этот неуверенно-прозападный режим и сам время от времени скатывается в реваншистское болото. В результате харизма Ельцина стремительно блекнет даже в глазах российских демократов... Один американский обозреватель заметил как-то по поводу другого правительства: «Слабость и бессодержательность царят в этой администрации. Она бредет без руля и ветрил — бесхребетное правительство без будущего». Цитата полностью подходит и к нашему случаю — но с тем необходимым добавлением, что падение этого режима наверняка повлечет за собой крах российской демократии и торжество имперского реванша.

Соблазнительно, конечно, — в особенности для тех, кто привык к черно-белой картине мира времен холодной войны, — просто списать со счетов этот запутавшийся режим. И вообще на грозный вопрос «Кто потерял Россию?» ответить так же резво и легкомысленно, как сделал это однажды штатный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Вильям Сафайр: «Русские потеряли».

Если это так, то и Германию в 1933 году потеряли немцы. Действительная проблема, однако, заключается в том, что из 60 миллионов жизней, которыми миру пришлось заплатить за «потерянную» Германию, на долю самих немцев приходится лишь 6 миллионов.

Кому же и сколькими жизнями придется платить за «потерянную» Россию?

5

Фашизм появился в России не сегодня, хотя и сейчас исходящая от него угроза очевидна не для всех.

Задолго до начала нынешней попытки прорыва России к демократии я написал книгу «The Russian New Right» (Institute of International Studies, Berkeley, 1977). Десять лет спустя, уже в эпоху Горбачева, вышла еще одна моя работа, «The Russian Challenge and the Year 2000»** (Basil Blackwell, Oxford, 1987). И в середине 70-х, и, тем более, в сле-

* «Русская Новая Правая».

** «Русская идея и 2000-й год».

дующем десятилетии опасность казалась мне несомненной. Эксперты, однако, сочли мое предупреждение академическим, чтоб не сказать надуманным. Меня снисходительно журили за «демонизацию русского национализма».

В последующем, однако, этот якобы мне одному привидевшийся демон стал грозной политической реальностью. Он уже не только влияет на развитие событий в Москве — он пробивается и на уровень мировой политики. Ни одно решение российского правительства относительно, допустим, югославского кризиса, не говоря уже о спорных японских территориях, не может быть сейчас принято без оглядки на «красно-коричневых», по жаргонной российской классификации. У всего мира на глазах эта демоническая сила бурлит, демонстрирует себя в десятках фашистских газет и журналов, подчиняет себе российский парламент, выплескивается под черно-золотыми и красными знаменами на улицы российских городов. Русский фашизм обрел своих изощренных интеллектуалов и идеологов, собрал и вооружил штурмовые отряды. Он уже открыто пытался свалить «временный оккупационный режим, управляемый западными спецслужбами», как называется на их языке правительство Ельцина.

Персонажи, которые раньше бродили только по страницам моих книг, причиняя мне массу академических неприятностей, вдруг материализовались, куда сильнее беспокоя российских демократов и президента. Сам Ельцин признал это, когда в своем телевизионном обращении к народу 4 октября 1993 г. объявил о «разгроме фашистского мятежа», и снова 28 февраля 1995 г. — в специальном указе о борьбе с фашизмом.

6

В майском номере журнала «Комментари» за 1993 г. Питер Бродский рассказывает, как был он ошеломлен во время делового визита в Москву.

«Профессор Б. Волков, бывший член Центрального Комитета КПСС и видный ученый, заявил, что через год — два [в России] будет фашистский переворот.

— Фашистский? — переспросил я.

— Да, военно-националистический путч.

— И что это будет означать?

— Первым делом всех евреев посадят в концлагеря.

Моей первой реакцией на такое заявление была тревога, затем скептицизм... [Но] хотя в сегодняшнем хаосе российской политики очень трудно отличить объективные условия от личного впечатления, у каждого еврея, с которым я разговаривал на эту тему в Москве, было такое же тревожное, пусть и не столь артикулированное предчувствие беды».

В **политическом** смысле опасения московских собеседников Питера Бродского, я думаю, преувеличены. Они, однако, точно отражают **психологическую** реальность сегодняшней России. Предчувствие беды свойственно сейчас не только евреям, оно действительно

пронизывает страну. Что говорить о профессоре Волкове, если Егор Гайдар, исполнявший в 92-м обязанности премьер-министра России, год спустя признался в Вашингтоне, что 28 марта 1993-го, когда в российском парламенте голосовался импичмент президенту, он сам жил в предчувствии ареста?

Именно так, похоже, и происходит веймаризация новорожденной демократии. Еще ничего не случилось, но страх и неуверенность, перманентное ожидание беды уже охватывают людей, ослабляют их сопротивляемость. Психологически надломленные, они готовы сдаться раньше, чем их к этому принудят.

Психологическая война, развязанная в России непримиримой оппозицией, страшнее всех ее политических демаршей, страшнее даже октябрьской стрельбы. И тем опаснее она, что, в отличие от инфляции или падения производства, не бросается в глаза. Она — самый грозный симптом веймаризации России.

Трагический опыт первой половины столетия сводится к простой формуле: если никто не несет ответственности за психологическую войну в имперской державе в переходную эпоху, имперский реванш начинается и выигрывает.

Ответственности за психологическую войну в сегодняшней России не несет никто.

7

Веймарская ситуация — и в этом я вижу одну из самых характерных ее особенностей — не имеет решения на внутренней политической арене. В девяностые годы так же, как в двадцатые. Если мир этого не понимает, то раньше или позже на смену веймарским политикам, согласным учтиво просить Запад о помощи, приходят другие лидеры, которые пытаются взять все, что им нужно, силой. В Японии это был Того, в Германии — Гитлер, в России явится кто-нибудь вроде Жириновского.

И тогда в одну роковую ночь взлетает на воздух американский военный флот в Пирл-Харборе. И тогда Европа корчится и гибнет от невысказанного унижения под сапогами новых властителей, несущих ей новое средневековье. А теперь ко всему добавится еще и ядерный шантаж. И все мечты о мире и процветании пойдут прахом.

За неспособность своевременно сделать верный выбор Западу придется платить. Не деньгами, не политическими усилиями и интеллектуальной мобилизацией, но десятками миллионов молодых жизней.

Вот чем грозит миру веймарская ситуация в России.

Посвятив без малого четверть века изучению того, как зарождался и становился на ноги русский фашизм, я вижу в нем точно такую же бомбу замедленного действия, которая взорвалась в веймарской Германии. И точно так, как 70 лет назад, ведет себя по отношению к этой бомбе Запад, и прежде всего — американское правительство, повторяющее все ошибки своей предвоенной политики и полностью игнорирующее уроки собственного послевоенного триумфа.

Вместо того, чтоб выработать стратегию демократической трансформации России и найти способы воплотить ее в жизнь в новых условиях, оно беспомощно наблюдает за логическим ходом еще одного

веймарского эксперимента. Вместо того, чтоб выступить гарантом нейтрализации реваншизма, обезвредив таким образом бомбу, оно ограничивает себя «помощью» неэффективному правительству, уже доказавшему, что самостоятельно предотвратить собственную гибель оно не может.

Кто спорит, моя веймарская метафора может оказаться не более, чем метафорой. И построенная мною историческая модель крушения демократии во всех сопоставимых с Россией имперских державах тоже может быть основана лишь на простых совпадениях. **Но что если нет?** Если бомба и вправду лишь ждет своего часа, чтобы перевернуть вверх тормашками всю нашу и наших детей жизнь?

8

Мои ученые занятия постепенно привели меня к выводу о необходимости срочных практических действий. К началу 1990 года у меня сложился проект, с которым я приехал в Россию и был принят Борисом Ельциным — тогда еще Председателем Верховного Совета Российской Федерации.

Вот проект вкратце. Создается международный штаб переходного периода. Этот штаб координирует усилия мирового сообщества по российской модернизации, представляя лобби российских реформ на Западе и Востоке. Влиятельность, дееспособность и безусловная авторитетность такого лобби обеспечивается включением в него ряда политиков мирового класса, оставшихся без дела, достойного их масштаба. Для наших целей их достаточно: Я. Накасонэ в Японии, М. Тэтчер в Англии, Р. Макнамара, Д. Рокфеллер, С. Вэнс в Америке, В. Жискард д'Эстен во Франции, В. Брандт в Германии, П. Трюдо в Канаде. Рычаги, на которые могут нажать эти люди в своих странах, никому в Москве заведомо не доступны да, скорее всего, и не известны. Первоначально предполагалось создать и российское ядро будущего штаба, включив в него людей авторитетных и незапачканных.

Первой акцией такого штаба, согласно моему проекту, должен был стать товарный щит реформы — но о нем есть смысл рассказать отдельно. Скажу пока, что я искренне надеялся: можно избежать величайшего несчастья — ассоциации в народном сознании рынка с тотальным обнищанием.

Борису Николаевичу идея понравилась чрезвычайно. Он тотчас распорядился, чтобы все ресурсы ВС были мобилизованы для ее реализации — от его имени. Немедленно были составлены и подписаны два документа, которые мне хотелось бы не просто процитировать, но воспроизвести дословно — ради полной достоверности.

Первый был напечатан на бланке Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям Верховного Совета РСФСР. Текст его гласил: «21 декабря 1990 года профессор Нью-Йоркского университета Александр Янов был принят Председателем Верховного Совета России Б. Н. Ельциным. В ходе беседы были одобрены предложенные А. Л. Яновым идеи «Неправительственного Международного Комитета Согласия» и Трехстороннего Экономико-Политиче-

ского клуба «Россия—Запад—Восток». В результате была достигнута договоренность о реальной поддержке этих идей Верховным Советом РСФСР».

Подписано: председатель Комитета В. П. Лукин, помощник Председателя ВС В. В. Илюшин.

Вторым документом был мандат: «Профессор Нью-Йоркского университета Александр Янов уполномочен вести переговоры о формировании зарубежной части Трехстороннего Экономико-Политического клуба «Россия—Запад—Восток»».

Подписано: Б. Ельцин.

Тогда я был счастлив. Только потом, задним числом, понял, что с самого начала в столь очевидный вроде бы триумф затесались некоторые неясности, обрекавшие меня на грядущий бой с тенью. Например, я случайно узнал, что, когда Б. Н. рассказал о нашем разговоре М. С. Горбачеву, тот его оборвал: «Ну вот, еще варягов нам тут не хватало!» Но главное: о чем, собственно предстоит мне «вести переговоры» и куда приглашать «зарубежную часть», если самого-то штаба куда не существует?

И все-таки я был полон энтузиазма. Тем более, что с Владимиром Петровичем Лукиным мы подробно обсудили персональный состав российского ядра, которому и надлежало — в соответствии с проектом — кооптировать в себя «зарубежную часть». С тем я и отбыл, ожидая со дня на день известий из Москвы, что ядро это создано, все необходимые официальные аксессуары (помещение, бланки, печать и т. п.) в наличии и приглашения для «зарубежной части» в работе. Разумеется, я тоже не сидел со своим мандатом сложа руки. Поскольку президентам получать отказ не пристало, я связался с теми из возможных кандидатов, с кем мог. Просто чтобы удостовериться: если соответствующие приглашения, подкрепленные личной просьбой Б. Н. Ельцина, будут получены, отказа не последует. Реакция на мой осторожный зондаж оказалась даже лучше, чем я предполагал. Заинтересованно-выжидательная. Адресаты мои были готовы отнестись к московской инициативе самым серьезным образом.

А Москва молчала. Месяц, другой, третий. На четвертый я не выдержал неизвестности, прилетел.

Я подозревал, конечно, что дело с формированием российского ядра идет почему-то со скрипом. Но то, что я обнаружил, меня ошеломило, поскольку не обнаружил я ничего. Ни российского ядра. Ни соответствующей конторы для его формирования. Ни даже воспоминания о том, что «реальная поддержка этих идей Верховным Советом РСФСР» была мне документально гарантирована всеми высокими подписями. Причем, никто не чувствовал ни малейшей неловкости по поводу того, что личное распоряжение главы российского парламента оказалось пустым звуком.

Я ощутил себя вдруг в фантазмагорическом мире, где и договоры не договоры, и мандат не мандат, и парламент не парламент, а заурядная советская контора, и где ничто никого не интересует, кроме повседневной текучки.

Сейчас я могу говорить об этом более или менее бесстрастно. Но

тогда я терзался жестокими вопросами. Как-то привык я в Америке, что люди ранга В. П. Лукина слов на ветер не бросают. Они лучше десять раз откажут, нежели дадут слово, которого не намерены сдержать. А ведь у меня была с Лукиным железная договоренность. Не поверь я ему, ввязался бы в переговоры с людьми, которые время свое ценят превыше всего и пустяками не занимаются? Почему он завалил такое важное дело? Из лени? От безответственности? Из-за недостатка сотрудников? Но разве «всех ресурсов Верховного Совета» могло не хватить для одного проекта?

А может, спрашивал я себя, у него были принципиальные возражения? Может, он просто полагал проект маниловщиной? Или, хуже того, вообще считал, что спасение утопающих дело рук самих утопающих и нечего России полагаться на заморских дядей? Даже к такому «государственническому» принципу отнесся бы я с уважением, хотя скорее был бы готов встретить его в изоляционистской прессе, нежели в самом сердце западного ВС. Но если так, зачем было Лукину во всем со мной соглашаться и даже уже засучивать рукава?

Короче, я перебрал, кажется, все возможные — и невозможные — вопросы. И ни на один из них не нашел ответа.

Из ВС я уходил с чувством, что российская бюрократия, пусть и демократическая, безнадежна. Куда идти теперь? К кому стучаться? Я решил обратиться прямо к тем, в ком видел кандидатов в российское ядро международного штаба. Встретился с Э. А. Шеварднадзе, Ю. А. Рыжовым, Н. И. Травкиным, Г. А. Явлинским и другими. Все согласились войти в Совет. Не хватало лишь одного человека — работающего лидера, который бы его организовал, а не только отдал в мое распоряжение свое имя и авторитет. Шеварднадзе и Рыжов отказались возглавить российское ядро, у них были другие планы. Зато с энтузиазмом согласился на эту роль Станислав Шаталин. Он заверил меня, что уж на него-то я могу положиться, как на каменную стену: Совет станет для него практически второй работой.

Ну вот, вздохнул я с облегчением, нашелся, наконец, ответ на все мои вопросы. Просто бюрократы в ВС не увидели своей собственной роли в таком глобальном проекте. А блестящий интеллект и вольный стрелок Шаталин ее точно увидел. Хотя бы поэтому я и впрямь могу на него положиться. И снова вернулся я в Нью-Йорк счастливый.

Дело было в мае. В июне Шаталин мне не позвонил. В июле тоже. Чтобы не утомлять читателя монотонностью повествования, скажу, что не позвонил он мне вообще. С тяжелым сердцем вернулся я в Москву в октябре, где и выяснил, что Станислав Сергеевич только что уехал отдыхать во Францию. Нечего и говорить, что никакого российского ядра и в помине не было и приглашать «зарубежную часть» по-прежнему было некуда.

Побродил я тогда по магазинам, поглядел на пустые полки и сердитые очереди — и сердце у меня сжалось от горького предчувствия. Господи, подумал я, да чем же они все тут занимаются? Ведь так же и вползут в реформу — без всякого прикрытия! И травма от этого безжалостного шока останется навсегда. И как же выигрывает оппозиция, когда цены на молоко и мясо подскочат вдруг до небес! И как же не-

мыслимо трудно будет убеждать голодных людей, что она не права! Но самое главное, как просто этой беды избежать...

Вернемся, однако, к Шаталину. Оказывается, Станислав Сергеевич вовсе не забыл о проекте. Но узнал я об этом совершенно случайно, возвращаясь из Петербурга в Москву с французским промышленником Кристианом Мегрелисом.

Услышав про злключения моей идеи, Мегрелис ахнул. Выяснилось, что он прекрасно знает Шаталина и слышал от него все подробности проекта — и про международный штаб, и про российское ядро, и про Жискар д'Эстена. Мой новый друг припомнил даже, что, познакомившись с проектом, он воскликнул: «Да я бы секретарем к тебе пошел, если б ты за такое дело и вправду взялся!»

Только одно смутило нас обоих. Оказалось, что, подробно описывая мой проект, Шаталин забыл упомянуть мое имя.

Не значит ли это, что я сам бессознательно встал поперек своей идеи? Что если б это был проект не Янова, а Шаталина или, скажем, Лукина, все обернулось бы иначе? И не было бы этого бесконечного боя с тенью? И весь ход реформ оказался бы иным?

Кто еще оставался на российском политическом небосклоне, кого знали бы и тут и там и кто мог бы потащить такой воз? Собчак. Из-за чудовищной занятости питерского мэра мне пришлось отправиться с Анатолием Александровичем в Душанбе и даже принять там участие в трудных переговорах в момент острейшего кризиса. Собчак согласился на мое предложение возглавить Совет. Правда, он честно признался, что сам заниматься вплотную этим не сможет, но твердо обещал две вещи. Во-первых, что найдет опытного администратора, который только организацией российского ядра Совета и будет занят, а во-вторых, что, когда в Петербург придет Маргарет Тэтчер, мы встретимся с нею и обсудим проект втроем.

Читатель вправе всерьез усомниться в моих организаторских способностях: не подводил меня, кажется, только ленивый. Это правда, организатор из меня никакой. Я теоретик, человек идей. И не следовало мне, наверное, соваться не в свое дело. С другой стороны, посудите сами — разве был у меня выбор? Мог ли я послать все эти пустые хлопоты к черту и вернуться к своим безмятежным академическим занятиям? Да я бы в жизни себе этого не простил! Тем более, что идея висела в воздухе. Осколки, фрагменты, кусочки своего проекта встречал я в десятках документов — от официальных речей до частных записок. С какой радостью подарил бы я его кому угодно, если б только это сдвинуло дело с мертвой точки! Но кто же не знал в России к тому времени, что предложил его я?

Надо ли говорить, что и Собчак оказался лишь очередным персонажем в этой трагикомедии утраченных иллюзий? Не только не назначил он администратора проекта, но даже вычеркнул меня из протокола встречи с Тэтчер. Под свое отступление Анатолий Александрович, впрочем, попытался подвести теоретическую базу. Да, конечно, объяснял он мне, ваша метафора о «веймарской» России интересна. Сходство есть. Но ведь есть и отличия. Исторические и политические...

Не успел я вернуться в Нью-Йорк в унынии и упадке духа, как Москва начала бомбардировать меня факсами.

От одного Фонда: «Уважаемый г-н Янов! Ваша идея чрезвычайно актуальна... готовы немедленно оказать вам необходимую поддержку и содействие... » Подписано: председатель Совета директоров Международного фонда академик Е. П. Велихов.

От другого Фонда: «Уважаемый профессор! Вашу идею считаем своевременной и правильной... Готовы поддержать ее в материальном плане...». Подписано: заместитель генерального директора ассоциации «Интертрейнинг» С. Лакутин.

И, наконец, уже в декабре, от только что созданной Комиссии по гуманитарной и технической помощи при Президенте РСФСР: «Уважаемый Александр Львович! Зная Вас как видного ученого и общественного деятеля, человека, принимающего самое живое участие в судьбе России... приглашаем Вас в кратчайшее время приехать в Москву для обсуждения проблем формирования общественного неправительственного Совета Комиссии». Подписано: председатель Комиссии, член Верховного Совета РСФСР В. И. Иконников.

Я примчался, как меня и просили, в кратчайшее время и все-таки опоздал: к моему приезду Комиссии по гуманитарной и технической помощи при президенте РСФСР уже не существовало. За всеми остальными предложениями ничего реального не обнаружилось тоже.

Где-то в глубине души я все же догадывался, почему тень не материализуется, видел дно пропасти, отделяющей меня от моих несостоявшихся партнеров. Если спросить Горбачева, была ли у него четкая стратегия переходного периода до августа 1991 года, он, если захочет быть честным, признается, что не было. Если спросить его далее, существует ли такая стратегия сейчас, он тем более ответит отрицательно. Но если вы его спросите, могут ли в принципе политики страны, находящейся в состоянии перехода, самостоятельно, без интеллектуальной помощи мирового сообщества, создать такую стратегию, — ответ, я уверен, будет положительным. То же, и не менее уверенно, скажет наверняка и любой из тех, с кем я пытался сотрудничать.

Если я прав, то вот она — пропасть.

Я-то пытаюсь объяснить, что нет ни малейшего национального унижения в том, чтобы принять такую помощь от «варягов». Ведь не случайно не сумели самостоятельно создать стратегию перехода ни веймарские политики в Германии, ни тайшоистские — в Японии. На национальной арене проблема эта просто не имеет решения. Подозреваю, умом собеседники мои тоже это понимали. Но внутри них что-то сопротивлялось такому признанию, что-то вставало на дыбы. Вот они и соглашались — и не соглашались. И морочили голову — и мне, и себе...

Остается одно — писать.

9

Роль, выпавшая мне на долю, — роль наблюдателя и вместе с тем непосредственного участника событий, живого, если угодно, моста между российской и западной демократией, — и сама по себе внут-

ренне противоречива. А к тому же и воевать приходится на два фронта — и с российским реваншизмом, и с веймарской политикой Запада. Но что поделатъ, если это две стороны одной медали: своей политикой Запад практически сдает Россию реваншистам.

Адресуя эту книгу и российскому, и американскому читателю, я попадаю еще в одну небезопасную для автора «вилку». Имею в виду не только плохую совместимость двух литературных традиций — западной (ироничной и аналитической) и русской (эмоциональной и полемической), но и естественную разницу в восприятии обеих предполагаемых аудиторий. В отличие от американской, русская наука знает всех людей, чьи портреты она здесь найдет, и интересен ей поэтому не столько очерк их политических нравов, сколько живой спор с их идеями. И не столько беспристрастный анализ, сколько контраргументы, недостаток которых остро ощущается в неравной психологической войне, навязанной реваншистами. Ведь в отличие от западной интеллигенции, пока что, к сожалению, знающей об этой войне в лучшем случае понаслышке, она и вправду воюет, моя русская аудитория.

Обмануть эти ожидания я не могу, надеясь, что и американский читатель, в виде компенсации за все возможные издержки чуждого ему стиля, откроет для себя новый, неожиданный, тревожный и яркий мир идей и людей.

Материалы, использованные в этой книге, касаются главным образом эпохи путчей и мятежей — от 19 августа 1991-го до октября 1993 года. Именно в этой фазе «горячей войны», зловеще напоминавшей аналогичный эпизод в истории веймарской Германии — от марта 1920-го до ноября 1923-го, — все обнажилось предельно: не только страсти оппозиции, называющей себя непримиримой, но и ее цели. Поэтому и рассматриваю я эпоху путчей и мятежей как самую важную в процессе веймаризации имперской державы. Она говорит нам о сущности этого процесса и о его конечном исходе непоставимо больше, нежели сменившая ее фаза мнимой стабилизации.

Если бы в 1930-м кто-нибудь попытался предсказать, чем разрешится германский кризис, короткая фаза «горячей войны» 1920—1923 гг. ответила бы на его вопросы куда более внятно, нежели все долгие и двусмысленные годы последующей «стабилизации». Эпоха путчей и мятежей — именно она оказалась предвестием и черновой репетицией катастрофы. То же самое, боюсь, может быть верно и в отношении «веймарской» России — в случае, если (не устану повторять) сегодняшняя американская политика не будет радикально реформирована, покуда есть еще для этого время.

И пусть никого не обманывает кажущаяся незначительность, мизеральность вождей этой «горячей войны». Их нужно знать в лицо, знать их идеи и характеры, их силу и слабости. Не надо над ними шутить. У кого-то из них есть реальный шанс стать хозяином постельцинской России.

Кто-нибудь из моих читателей, возможно, помнит полу столетней давности книгу «Третий рейх в лицах». Может быть, даже помнит автора. Я забыл. Вообще единственное, что осталось в памяти от этой кни-

ги — отчаянное разочарование: так запоздали ее открытия... Дорога́ ведь ложка к обеду. Книга была нужна не постфактум, но задолго до того, как Третий рейх появился на свет. Кто знает, если б мир заранее разглядел эти лица и эти идеи — он, быть может, и не позволил бы родиться такому чудовищу.

Благодаря странному капризу истории у нас есть сейчас возможность познакомиться с лицами — и идеями — следующего «Третьего Рейха» (или точнее, Третьего Рима, как гордо величают свою мечту российские реваншисты), не дожидаясь его превращения в кровавую историческую реальность.

Я искренне надеюсь, что я ошибаюсь. Как странно — исследователь боится оказаться прав. Но я боюсь. И тем больше у меня для этого оснований, что — на свою беду и вопреки всем профессиональным скептикам — прав я уже однажды оказался...



Omiyama Beas
1944 ~~1997~~ 1997





ЧАСТЬ

РОССИЯ И ЗАПАД



Предрасположение человека к справедливости делает демократию возможной, но его же предрасположение к несправедливости делает ее необходимой.

Рейнольд Нибур

Глава первая

Психологическая война

Странная история случилась со мною в Москве, в июне 1993-го.

Как было уже упомянуто, я давно работаю над серией политических портретов виднейших вождей и идеологов реваншистской оппозиции. Со многими из них я встречался и спорил, других знаю лишь по публикациям. Некоторые очерки были напечатаны в Америке и в России. Один из них, посвященный покойному историку и этнографу Л. Н. Гумилеву, высоко чтимому сейчас в «патриотических» кругах, появился в довольно камерном московском журнале «Свободная мысль». Вскоре затем группа «патриотических» интеллектуалов отчитала меня с российского телеэкрана за «оскорбление национальной святыни».

Чтобы не вступать в пустую перебранку, я решил побеседовать о теориях Гумилева с крупными специалистами, его коллегами, и опубликовать нашу беседу в популярном издании. Стал искать собеседников. И представьте — не нашел. Евреи отказались потому, что они евреи, и им, объяснили мне, не подобает в сегодняшней Москве даже просто смотреть в сторону «русской идеи», не то что обсуждать (можете вы, читатель, представить себе ситуацию, при которой сэр Исайя Берлин отказался бы участвовать в дискуссии о Льве Толстом или Артур Шлезингер — о Джоне Кеннеди только из-за своего, скажем так, неадекватного этнического происхождения?) Но дальше выяснилось, что от разговоров на эту взрывоопасную тему дружно уклоняются и русские — все, кого я пытался на это подвигнуть. Не дай Бог, и их запишут в «оскорбители». А у них, извините, семья, дети...

Одна знакомая, очень хорошо осведомленная московская дама, так этот мой конфуз откомментировала:

— А я сама **их** боюсь. И мало кто в Москве свободен сегодня от страха перед **ними**. Уже сейчас, не дожидаясь какого-нибудь там «военно-националистического путча», узаконила себя своего рода негласная цензура, куда более строгая и всеохватывающая, нежели прежняя, государственная. Настоящее табу, если хотите, нарушать которое опасно для всех — от научного сотрудника до президента. Люди, причисленные к лику «патриотических» святых, пусть даже это

оголтелые антисемиты, как покойный Лев Гумилев, — вне критики. Надо быть безумцем, чтобы посметь их тронуть.

В этой странной истории мне почудился симптом чего-то куда более зловещего, чем даже в панических предчувствиях собеседников м-ра Бродского. Перейден какой-то психологический порог, которого в нормальном обществе порядочные люди не переступают. Подорвавшись на минном поле веймарского перехода, интеллигенция раскололась. Рушатся старые дружбы, распадаются старые кланы, люди одного и того же круга становятся чужими друг другу, а иногда и смертельными врагами. Утрачена общая почва для спора, нет больше общего языка, общих ценностей, нет общепризнанных авторитетов.

Когда я в первый раз у стен Кремля увидел разъяренные толпы противников и сторонников Ельцина, готовых растерзать друг друга, мне вспомнились безумные осады клиник в Америке, организованные активистами «Операции Спасение». То же безрассудство, тот же запредельный экстремизм. Разница лишь в том, что в Америке эта психологическая гражданская война между противниками и сторонниками абортов локальна, а в России охватила она весь народ — снизу доверху.

Спикер парламента публично проклинает государственное телевидение как «геббельсовскую пропаганду». Пресс-секретарь президента так же публично обзывает парламент «инквизицией». Депутат Андрей Захаров, вовсе без намерений рассмешить аудиторию, так описывает свои парламентские впечатления: «Коллеги говорят, что при голосовании они руководствуются единственным критерием — если предложение вносится президентом, надо обязательно нажимать кнопку “против”. Смысл предложения значения не имеет». Оппоненты обвиняют друг друга в убийстве нации, призывают «арестовать», «интернировать», даже «повесить» противников.

Так выглядит вблизи психологическая война.

Нет, реваншистская оппозиция пока еще слишком слаба политически, чтобы претендовать на власть. Но она уже диктует вполне свободным как будто бы людям свои правила игры, свои условия сосуществования.

Именно так все и начиналось в веймарской Германии.

О чем не знают эксперты

Лишь испытав это на себе, понял я, кажется, окончательно, что суть происходящего сегодня в России не только в переходе к рыночной экономике, как обычно трактуют дело западные эксперты, и даже не в перманентном политическом кризисе, как склонны думать мои друзья в Москве.

Суть — именно в этой, невидимой извне, не регистрируемой никакой статистикой и не улавливаемой никакой ученой экспертизой психологической войне между свободой и реваншизмом. В войне, которую демократия медленно, но неуклонно проигрывает — по мере того, как углубляется эрозия либеральных ценностей и испаряется доверие к Западу.

Нет, не численностью, не политическим влиянием и тем более не силой страшна на самом деле сегодня реваншистская оппозиция, но

той смертельной националистической радиацией, которую она излучает и которая расколола уже не только интеллигенцию, но и армию, и правительство, и силы безопасности, и весь народ.

Осознав это, я перестал даже обижаться на западных экспертов. Просто их аналитический инструментарий не рассчитан на веймарские ситуации. Он не фиксирует психологические бури. Он бессилён уловить «предчувствие беды». Он не создан для измерения националистической «радиации». Потому, наверное, и сосредоточиваются эти эксперты на том, что им понятно, что измеримо, что может быть выражено в точных цифрах — на рынке, на кредитах, на приватизации.

И когда я понял всю несовместимость западных рациональных стандартов с этой недоступной для них сложностью российской психологической реальности, мне впервые стало по-настоящему страшно за Россию.

Страшно, ибо нет уже у нее сил для сопотвращения расплывающейся националистической болезни, чреватой русским Гитлером, для подавления ее метастазов, для того, чтобы встать на ноги — не только преуспевающей рыночной державой, но и жизнеспособной демократией.

И у российской демократии нет сил для решительного контрастования. Нет у нее, точно так же, как во всех предшествующих веймарских случаях, собственных ресурсов — ни политических, ни интеллектуальных, ни тем более материальных. Она в глухой обороне. И на ногах ее держит уже не энергия собственных мышц, но персональный авторитет Ельцина, «царя Бориса», как, лишь отчасти в шутку, называют его в народе. Ну вот такой, слава Богу, у России сейчас «царь», пожелавший связать свою судьбу с демократией. Но что станет она делать без Ельцина? На чем будет она держаться после Ельцина?

Не та Америка?

Повернем теперь голову на Запад, в сторону мирового сообщества. Все ресурсы, необходимые, чтобы сообщить российской демократии второе дыхание, у него есть. И намного больше того — есть опыт, «ноу-хау», самое бесценное из всех сокровищ: ведь удалось же ему вытащить из такой же ямы Японию и Германию! Но только почувствует ли оно то, что пришлось почувствовать мне, услышит ли то, чего не слышат его собственные эксперты? Найдет ли в себе мужество и политическую волю, чтобы повторить в конце столетия великую операцию, которую совершило оно в его середине?

Не та теперь Америка, говорили мне в России. У нее рецессия, у нее бюджетный дефицит, у нее головокружительный государственный долг, у нее реформа здравоохранения, у нее на руках истекающая кровью Босния. У нее Гаити. Да и мощного, всем очевидного стимула, вроде угрозы сталинской экспансии, сейчас нету (об угрозе российского ядерного реваншизма по-прежнему мало на Западе знают и еще меньше думают). Где бы взял сегодня президент Клинтон те ресурсы, которые, скажем, генерал Макартур потратил когда-то на демократическую трансформацию Японии? Уж казалось бы, худшего

кандидата в первые азиатские демократии и существовать в природе не могло. Глубочайшая, тысячелетняя авторитарная традиция, плюс милитаризм, пропитавший общество до мозга костей, плюс раздутые до небес имперские амбиции. Неразрешимая задача! Макартур же с нею справился. Но во что обошлось это Америке?

Правда, в распоряжении президента Буша тоже не было средств воевать с Ираком из-за Кувейта — а разве это его остановило? С другой стороны, если прав был Ричард Никсон и Россия к концу столетия действительно стала таким же «ключом к глобальной стабильности», каким была в 1920-е годы веймарская Германия, то ситуация для всемирной кампании в поддержку ее демократии неизмеримо благоприятней той, в которой пришлось действовать Макартуру. Генерал мог рассчитывать лишь на американские ресурсы, да и те должен был делить с Европой, по плану Маршалла. А сегодня в предотвращении дестабилизации ядерного супергиганта ничуть не меньше Америки заинтересованы не только страны «большой семерки» и вся остальная Европа, но и Южная Корея, и каждый из «азиатских тигров», не говоря уже о Саудовской Аравии и ее несметно богатых партнерах по нефтяному картелю. Короче, все те международные силы, которые Америка совсем еще недавно объединила для операции «Буря в пустыне». Значит, действительная проблема вовсе не в ресурсах, но в организации, в лидерстве, в объединяющей идеологии, в конкретном и реалистическом плане контрнаступления российской демократии.

Вот чего на самом деле не достает и чему неоткуда взяться — поскольку западные эксперты озабочены рынком, а вовсе не психологией. Циклопическая по своей сложности задача демократической трансформации России безнадежно тривиализирована бесконечными разговорами о деньгах, о кредитах и о приватизации. Главная — ядерная — опасность российского реваншизма в политических расчетах отсутствует. Так во имя чего должны объединяться потенциальные участники этого нового всемирного альянса? Какой угрозе противостоять?

Генерал Макартур точно понимал свою цель в послевоенной Японии. Так же, как понимали ее руководители союзной администрации в послевоенной Германии: не только на десять или пятьдесят лет, но навсегда исключить возможность повторения Пирл-Харбора или кровавой бойни в Европе. Четкая конкретность цели диктовала масштабы и характер усилий. Но под какими знаменами стал бы объединяться мир сегодня, какую стратегию избирать, если никто не объяснил ему, что в ядерную эпоху русский фашизм окажется страшнее германского и японского вместе взятых? Если никто даже не попытался обрисовать перед ним угрозу новой чудовищной вспышки экстремистского национализма с эпицентром в ядерной России?

Другими словами, для того, чтобы мир вспомнил о собственном великолепном послевоенном опыте, нужна глубокая, радикальная **реформа** всей западной политики по отношению к России. Ничуть не менее радикальная, нежели, скажем, нынешняя реформа здравоохранения в Америке, далеко вышедшая за рамки осторожных поправок к политике предшествующей администрации. Заплаты и здесь не помогут. Надо просто перетасовать карты и сдать их заново. И без мобилизации, если угодно, всех интеллектуальных и поли-

тических ресурсов Запада тут не обойтись — только это, я еще надеюсь, способно заставить мировое сообщество отказаться от губительной веймарской политики невмешательства в российскую психологическую войну.

Но где политическая база для такой реформы и такой мобилизации? Где в Америке мощное и авторитетное российское лобби, способное их проталкивать — в Конгрессе, в средствах массовой информации, в дипломатических структурах? Каких только лобби нет сегодня в Вашингтоне, вплоть до владельцев ресторанов, даже китайское есть. А вот российское, как это ни странно, отсутствует...

Наши резервы

Так что же, все потеряно? Нет, ни в коем случае. Есть все-таки некоторые основания для осторожного оптимизма. Вот они. Прежде всего, реваншистская оппозиция пока не выиграла и, судя по всему, не скоро выиграет психологическую войну, которую объявила она российской демократии — и всем ее естественным союзникам. Октябрьский вооруженный мятеж полностью это подтвердил. Покуда в Кремле сидит Ельцин, страна за реваншистами не пойдет. Все старания оппозиции сделать Запад столь же беспомощным в России, каким оказался он в Югославии, решающего результата пока не дали. Время для радикальной реформы западной и, в первую очередь, американской политики в отношении России у нас, стало быть, еще есть.

Есть еще, слава Богу, в мире опытные политики, способные напомнить человечеству, что, в отличие от 1920-х, когда Запад проворонил надвигающуюся катастрофу демократии в веймарской Германии, в ядерном веке повторения этой ошибки он может и не пережить.

Есть и в российской культуре фигуры национального масштаба, как академик Дмитрий Лихачев или режиссер Марк Захаров, — с репутацией, незапятнанной в политических драках, и авторитетом, неоспоримым в умах большинства россиян. Если настанет когда-нибудь время для международного интеллектуального и политического форума, посвященного стратегии демократического контрнаступления, такие люди смогут говорить на нем от имени России с уверенностью и достоинством. И страна будет их слушать.

Есть проникательные и умеющие воздействовать на публику обозреватели, как Энтони Люис, с их глубоким пониманием, что «назревающий шторм в Европе — экстремистский национализм» и что «самые жизненные интересы безопасности требуют от Америки его остановить». Да и само течение событий подтверждает их правоту: тот же октябрьский мятеж заставил многих на Западе усомниться в достоинствах веймарской политики.

Есть бывшие западные послы в Москве — пусть не все, но их все же большинство, — способные составить ядро российского лобби на Западе. Есть также великое множество людей и организаций, искренне сочувствующих делу демократии и способных поддержать такое лобби, если оно будет создано.

Есть государственные деятели, как сенатор Роберт Доул, осозна-

ющие угрозу приоритета маркетизации в российской политике, или, подобно конгрессмену Тому Лантосу, страстно предупреждающие об опасности забвения грозных проблем пост-ельцинской России.

Есть, наконец, смелые и динамичные реформаторы, как вице-президент Гор, которым по силам возглавить не только реформу американской политики в отношении России, но и всемирную кампанию за сохранение «ключа к глобальной стабильности».

Но как сделать, чтобы такая реформа оказалась в списке приоритетов м-ра Клинтона? Чтобы бывшие послы в Москве организовались? Чтобы разрозненные и бессильные сейчас сочувствующие собрались вместе? Чтобы Доула и Лантоса наконец услышали? И чтобы все это случилось раньше, нежели реваншисты выиграют психологическую войну?

Три условия

Конечно, такие вопросы легче поставить, нежели дать на них ответ. Ясно, тем не менее, что публика на Западе дезориентирована и не знает, что находится в состоянии войны с реваншистской оппозицией.

Задача, стало быть, в том, чтобы представить ей альтернативную, все расставляющую по своим местам картину. Реально ли это? Ну, если математикам удалось-таки решить головоломную теорему Ферма, то здравомыслящие люди, обеспокоенные возможностью повторения 1930-х и нового «шторма экстремистского национализма» в конце второго христианского тысячелетия, тем более должны быть в состоянии разрубить мертвый узел веймарской политики.

Успех будет зависеть от того, удастся ли выполнить три необходимых для этого условия.

Первое, я думаю, состоит в том, чтобы победить в неизбежных ожесточенных спорах достаточно многочисленных сторонников этой бесперспективной политики, то есть найти неопровержимые аргументы, вскрывающие логическую уязвимость и политическую неадекватность веймарской идеологии.

Примерную схему таких доказательств могу набросать уже сейчас.

В отличие от Боливии или Польши, где стяжали себе лавры авторы шоковой терапии, Россия не просто еще одна головная боль для Запада, но великая держава с вековой имперской традицией, сопоставимая с Германией или Японией 1920-х. Искренне увлеченные маркетизацией бывшего нерыночного гиганта, идеологи веймарской политики просмотрели в суеде сегодняшнего развала что-то очень существенное, по сути решающее, а именно: действительный выбор, перед которым стоит Россия, — вовсе не между централизованным распределением и рынком. И не между коммунизмом и антикоммунизмом. Тем более, что этот промежуточный выбор она сделала уже сегодня, при Ельцине.

В перспективе, в пост-ельцинскую эпоху выбор этот неминуемо окажется тем же самым, каким был он для Германии в 1920-х: каким из двух путей побежденная, униженная, корчащаяся в муках кризиса страна будет снова самоутверждаться как великая мировая держава. Уже сейчас всякому, кто внимательно прислушивается к бурной поли-

тической дискуссии, потрясающей «веймарскую» Россию, это должно быть очевидно.

Один из этих путей гражданский, другой — военный. Один демократический, другой — реваншистский. Первый путь обещает стабилизацию мировой политической системы. Второй — ее обвал.

Что выберет Россия — в решающей мере зависит от того, как будет восприниматься в ней Запад. Сумеет ли, точнее, московская реваншистская оппозиция, которая уже сегодня выходит на мировую политическую арену в обнимку с Ираком, Ливией, Сербией и европейским фашизмом, убедить большинство россиян в том, что Запад — заклятый и непримиримый враг России. Что сейчас «под видом гуманитарной помощи» Запад пытается сделать с Россией то, чего не сумел с помощью прямой агрессии сделать в 1940-е Гитлер.

От успеха этой коварной и всепроникающей психологической атаки, о которой западный обыватель даже не подозревает, зависит не только судьба российской демократии, но и будущее мира. Московские реваншисты нуждаются в интеллектуальной и финансовой поддержке всех сил международной реакции, а те — в российской ядерной мощи, единственно способной сфокусировать их разрозненные усилия и вновь превратить их в реальную силу на мировой арене.

А Запад — он даже не пытается противостоять этому беспощадному психологическому наступлению реваншистов на умы россиян.

Международный валютный фонд, которому Запад, повинувшись веймарской логике, поручил представлять свои интересы в России, возглавляют вовсе не политические деятели и тем более не специалисты по социальной психологии. Как и в 1920-е, Запад доверяет свою безопасность людям, не способным ее гарантировать.

Второе условие, необходимое для решения нашей задачи, состоит в том, чтоб привлечь на свою сторону мировые средства массовой информации, убедив их, что московская психологическая война исполняет, по сути, ту же роль, что и гражданская война в Испании в 1930-е. Она — испытательный полигон международной реакции, предпринимающей первую серьезную попытку объединить усилия для всемирной войны против демократии. В ней дебютирует новая «коричневая» ось: европейский фашизм — исламский экстремизм — московский реваншизм. Следовательно, Россия — не просто еще одно слабое звено международного сообщества, но передний край, линия фронта, где война между демократией и тем «экстремистским национализмом», который так тревожит Энтони Люиса, уже идет.

Пора переходить к третьему условию. Но сначала — простенький сюжет.

28 марта 1993 г., когда жил, как мы помним, в предчувствии ареста Егор Гайдар, реваншистам не хватило лишь 72-х голосов в парламенте, чтобы отрешить от должности Ельцина и поставить на его место Руцкого. Не нужно быть большим знатоком московской политической сцены, чтобы представить себе дальнейшее. Нет, в отличие от августовских путчистов 1991-го, Руцкой не прекратил бы рыночную реформу, разве что только замедлил. Но зато политический курс внутри страны изменился бы немедленно и круто: министры обороны и безопасности смещены, средства массовой информации поставлены под контроль реваншистов, лидеры демократии интернированы.

Рудкой, собственно, и не скрывал этого, выступая в парламенте 26 марта: «Мы наберемся мужества указать на дверь всем деятелям, которые своими действиями провоцируют углубление политического и экономического кризиса в России, не забыв при этом спросить с них за содеянное».

А на следующий день влиятельный депутат Аман Тулеев окончательно расставил все точки над «і»: «Ближайшее окружение Ельцина должно не в Кремле сидеть, они должны сидеть где-нибудь в Матросской Тишине».

Короче, 28 марта всего несколько десятков депутатских голосов предотвратили катастрофу российской демократии. То воскресенье могло стать для нее роковым. Но заметил ли это мир?

Что и говорить, если б в Москве в этот день стреляли и строили баррикады, а по улицам ее шли танки, мир, конечно, приник бы к своим телевизорам, и главы западных правительств поспешили бы выразить Ельцину свою солидарность, и курс акций на мировых биржах круто пошел бы вниз. Как, собственно, все и произошло полгода спустя. Но в марте, в отличие от октября, оппозиция попыталась покончить с демократией в Москве тихо, без сенсаций, конституционным способом. Точно так, как покончил с ней в Берлине Гитлер в январе 1933-го. А к этому мир совершенно не был готов. Он просто не знал ни лиц, ни имен тех людей, которых обнаружил бы в Кремле, проснувшись утром 29 марта — не найдись тогда в Москве семидесяти двух здравомыслящих парламентариев. В чем, естественно, никакой уверенности быть не могло.

Если история веймарской Германии чему-то нас учит, то в постельцинской России повторение тихого 28 марта следует считать более вероятным, нежели повторение 3 октября с его кровавой бойней. Вот почему **третье** условие, необходимое для решения нашей задачи, состоит в том, чтобы хорошо познакомиться со всеми лидерами реваншистской оппозиции. О людях, способных в один прекрасный день оказаться в Кремле, уже сейчас надо знать все. Как и об их шансах выиграть давно объявленную ими войну.

Глава вторая

Рождение идеологии реванша

Главная движущая сила российской оппозиции — ненависть. А главный объект этой ненависти — даже не Ельцин, не демократы: они для «непримиримых» всего лишь наемники, мальчики на побегушках, лишь исполнители зловещих ролей в сценарии, написанном для них за границей. Враг номер один для оппозиции — Запад. Естественно поэтому, что его и его политику в отношении России вожди и идеологи реваншизма изображают в самых мрачных красках.

Проповедь организованной ненависти

Устрашающее, искаженное представление о Западе распространяется сейчас в России с большой энергией и огромными тиражами. И поскольку практически ничто, кроме массовой продукции Голливуда, его не опровергает, у этого представления есть, увы, серьезные шансы в кон-

це концов завоевать умы россиян.

Ограничусь самыми популярными примерами.

Вот выдающийся математик, в недавнем прошлом почетный американский академик, а ныне ведущий идеолог реваншистской оппозиции Игорь Шафаревич:

«Нам противостоит очень агрессивная, безжалостная цивилизация. Центром ее является страна, начавшая с греха истребления своего коренного населения. Этот грех бродит в ее крови и порождает Хиросиму и убийство 150000 иракцев всего лишь для того, чтобы не поднялись немного цены на горючее для автомобилей. Страна, созданная эмигрантами, людьми без корней, чуждыми ее ландшафту и ее истории. Это цивилизация, стремящаяся превратить весь мир — и материальный, и духовный — в пустыню, подобную лунному ландшафту. Только в рамках этой борьбы, где ставка — существование человечества, а может быть, и всего живого, можно расценить теперешний русский кризис»¹.

* Примечания даны в конце книги.

А вот бывший кумир европейских интеллектуалов, автор «Зияющих высот» Александр Зиновьев:

«Запад хотел руками немцев разрушить Россию. Не удалось. Теперь Запад пытается делать то же самое под видом борьбы за демократию, за права человека и прочее. Идет война двух миров. На чьей ты стороне — вот в чем вопрос»².

А вот один из самых серьезных идеологов оппозиции, театральные режиссер и независимый политический деятель Сергей Кургинян:

«Россия не должна пытаться вступить на западный путь — и потому, что это чужой путь, по которому она идти не сможет, и потому, что этот путь осознан как тупиковый самими идеологами Запада, и потому, что ее на этот путь просто не пустят... Действительный принцип политики Запада в отношении России — это неразвитие, неразвитие и еще раз неразвитие, а далее — опускание в «Юг». Но это позже, после экспорта мозгов, ликвидации ядерного оружия и вывоза высоких технологий... Нынешние процессы в нашей стране — это не реформа, это война против России, это — деструкция, дезинтеграция и регресс, ведущие к национальной катастрофе»³.

Вот, наконец, митрополит Петербургский и Ладужский Иоанн, один из высших иерархов православной церкви, опубликовавший в начале 1993-го послание к верующим под вполне светским названием «Битва за Россию»:

«Против России, против русского народа ведется подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная... Пришло время предъявить к оплате копившиеся веками счета»⁴.

А вот уже не просто публицистика, но официальный политический документ, озаглавленный «Отвечает оппозиция» и суммирующий ее конкретные намерения:

«Не все знают, что экономика США и крупнейших стран Запада переживает новый тяжелый кризис. Сейчас она во многом держится за счет энергетических и сырьевых ресурсов России, перекачиваемых на Запад по бросовым ценам... За период деятельности правительства Гайдара Россия через поставки дешевого сырья сделала вливание в экономику Запада в размере 40—45 миллиардов долларов... Не Запад помогает России, а Россия спасает экономику Запада **за счет обнищания собственного народа**»⁵. «День» уверенно уточнял: «Без наших природных ресурсов все нынешнее благосостояние Запада мгновенно рухнет»⁶.

Спросите любого западного скептика, сомневающегося в реальности возрождения фашизма в Европе: почему, собственно, такое не может случиться? И вот, что вы услышите. Все эти неонацистские хулиганы и бритоголовые — сброд. Он демонстрирует лишь склонность к вандализму и ничего больше. А такая склонность, в свою очередь, — плод не столько страсти, сколько скуки, не столько политических убеждений, сколько обыкновенного дикарства.

Допускаю, что где-нибудь в Германии или в США дело обстоит именно так. Но к России, судя по тому, что мы сейчас прочли, эти аргументы просто не имеют никакого отношения. Не бритоголовых недоучек я здесь процитировал, но интеллектуалов высшей пробы: ма-

тематика с мировым именем, прославленного писателя, маститого режиссера и высокое духовное лицо. Никому из них нельзя отказать ни в подлинной страсти, ни в политической убежденности. И в склонности к вандализму их как-то даже неловко заподозрить. Это, напротив, они обвиняют своего врага, либеральный Запад, в вандализме, в том, что он ведет беспощадную войну против России, пытаясь ее унижить, поработить и в конечном счете затолкать в ад плебейского недоразвитого «Юга» (в отличие от процветающего и патрицианского «Севера»), к которому она принадлежит по праву).

Но ведь это — вспомним — те самые страсти, какие сжигали германских правых интеллектуалов после первой мировой войны. И те самые политические убеждения, которыми вымостил себе дорогу к власти Гитлер. И, что еще важнее, эти профессиональные ненавистники Запада вовсе не принадлежат к какой-нибудь маргинальной секте лунатиков, какие можно выявить в любой стране в любое время. Они в центре политической жизни как главное течение непримиримой оппозиции. И мощь своих идей они уже вполне убедительно продемонстрировали — расколов офицерский корпус России и ее парламент.

По данным военных социологов, подтвержденным опросами Всероссийского центра изучения общественного мнения, «национал-патриотические взгляды», созвучные только что изложенным, исповедовали еще в 1992 г. 70% российских офицеров.

Можно ли представить себе маргинальных сектантов, которых поддерживает подавляющее большинство профессиональных военных великой державы?

Еще более головокружительную и пугающую метаморфозу пережил под влиянием пропаганды организованной ненависти российский парламент, в шоковом 1992 г. внезапно преградивший дорогу демократической трансформации России. Да, конечно, там собрались «бывшие коммунисты». Но ведь совсем еще недавно именно эти «бывшие коммунисты» выбрали Ельцина своим председателем и твердо стояли с ним рядом, обеспечив провал «коммунистического» путча в августе 1991-го. Именно они одобрили прозападный проект конституции и вручили Ельцину чрезвычайные полномочия для проведения рыночной реформы. Это перерождение парламента страны, внезапное и резкое ослабление в нем демократических фракций — мощный политический факт, игнорировать который могут лишь самоубийцы.

Видели вы когда-нибудь маргиналов, сумевших на протяжении нескольких месяцев подчинить своему влиянию парламент великой страны?

Никто в Европе со времен гитлеризма не бросал Западу вызов такой мощи и ненависти. Против него — сила, опасность которой не уменьшается оттого, что он, Запад, до сих пор ее не почувствовал.

В успокоительные выкладки западных скептиков, добродушно сводящих современный фашизм к феномену бритоголовых, к вандализму и безыдейности, закралась фундаментальная ошибка. Очевидно, что российский опыт фашизма лежит за пределами их наблюдений, а привычка сводить русский кризис к проблеме денег оконча-

тельно ослепляет. Как-то забывается за рыночной суетой, что борьба в России, по сути, идет за контроль над тысячами ядерных боеголовок. Чем угрожала миру Северная Корея? Способностью изготовить несколько атомных бомб? А сколько волнений было по этому поводу! Зато когда 28 марта и 3 октября 1993-го профессиональные ненавистники Запада лишь чудом не стали хозяевами арсенала ядерной сверхдержавы, никто и не вздрогнул...

Я твердо убежден: и Шафаревич, и Кургинян, и все другие проповедники организованной ненависти совершенно искренни и неколебимы. Их уже нельзя переубедить. Только маргинализовать. Только защитить от них умы россиян.

Но для этого — первое и неперемное условие — нужно хорошо и близко их узнать.

Казалось бы, это должен быть давным-давно пройденный этап. Прислушиваться к критике — занятие не самое приятное, но полезное. Никто не всматривается так пристрастно и пронизательно в облик противника, как политическая оппозиция. Обратись послеавгустовский режим к аргументам «патриотических», как, впрочем, и либеральных критиков — и собственная уязвимость стала бы для него вполне очевидной. С точки зрения либералов, режим предал демократические идеалы августовской революции. По мнению же «патриотов», никакой революции, способной легитимизировать новую власть, в августе вообще не произошло. Империю ударили ножом в спину, сработал организованный западными спецслужбами заговор с целью развала великой державы — вот и все. Любой из этих вариантов дает нам совершенно неожиданную картину неукорененного, нелегитимного, если угодно, в глазах масс режима. Лишенный благословения прошлого и не способный предложить им — взамен утраченной военной империи — видение великого гражданского будущего, он повис в воздухе, опираясь лишь на личную популярность президента.

Точно таким же образом анализ «патриотической» критики помог бы либеральной оппозиции, будь она заинтересована в трезвой самооценке, воочию увидеть свою неспособность понять российскую драму в терминах всемирно-исторического опыта, свой изоляционизм — а точнее, неумение вовлечь в разрешение кризиса своего естественного союзника, западную интеллигенцию.

И основную слабость западных экспертов, занимающихся Россией, дает возможность оценить «патриотическая» критика: не сумели они за повседневной суетой разглядеть уязвленную гордость великого народа и жестокую реальность психологической войны.

Сейчас, однако, предстоит нам вступить на путь совсем непропоренный, никем не хоженный. В либеральных кругах презирают современных российских реваншистов. Над ними смеются. По их поводу негодуют. В правительственных кругах их ненавидят. Не ищите, однако, в российской прессе аналитической критики их высказываний и идей. Всерьез этим не занимается никто. И, стало быть, ждать нам помощи неоткуда. Придется самим приняться за эту черную работу.

Второй пряник?

Как может непонимание оппозиции, с ее реальными проблемами и слабостями, мистифицировать всю политику Запада в отношении России, лишить его какой бы то ни было возможности защищать свои интересы в российской психологической войне,— покажу на одном, но весьма характерном примере.

1 августа 1993 г. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью «Новая русская империя?» В ней справедливо отмечается, что «националистические оппоненты правительства Бориса Ельцина и фракции в деморализованных и фрагментированных вооруженных силах мечтают о новой русской империи. И не только мечтают. Некоторые русские военные командиры в новых республиках начали действовать»⁷. Далее перечисляются соответствующие акции этих командиров в Таджикистане, в Азербайджане, в Грузии, в Прибалтике и на Украине. В моих терминах означает это, что за время, пока я работаю над этой книгой, реваншистская оппозиция добилась новых впечатляющих успехов в психологической войне.

«Если националисты,— продолжает газета,— сумеют направить крупнейшее в Европе государство с самым большим на континенте военным и ядерным арсеналом на курс экспансионизма, перспективы международной безопасности могут трансформироваться за одну ночь».

Верно. Но что же нам по этому поводу делать?

«Вашингтон может использовать как пряник, так и кнут, чтобы помочь м-ру Ельцину отбить вызов националистов».

Бог с ним, с пряником. Но что имеется в виду под кнутом?

«Нужно ясно предупредить националистов, что продолжающееся военное вмешательство в политику нерусских республик может привести к экономической изоляции»⁸. Но ведь, как мы помним, разрыв связей с Западом и является одной из основных целей реваншистов! Более того, такой разрыв есть главная угроза, которой **они** пытаются запугать Запад!

Так что же, под кнутом подразумевается еще один пряник?

Александр Баркашов, один из самых откровенных, но не самых умных идеологов оппозиции, в пространный статье «Эра России», опубликованной в двух номерах газеты «День», строит весь свой план сокрушения Запада именно на его экономической изоляции от России. Вот этот план. Прежде всего «наших собственных ресурсов вполне хватит для автономного развития на случай любого экономического бойкота со стороны Запада»⁹. Мы-то, говорит Баркашов, такой бойкот запросто переживем. А вот переживет ли его Запад? «В результате прекращения поставок нашего сырья в США и на Западе наступит резкий спад производства, что повлечет за собой экономический кризис». Но и это еще не все: «Следуя нашему примеру, своими ресурсами захотят сами распорядиться и другие сырьедобывающие страны. **Выхода из кризиса для США не будет** [выделено автором — А. Я.]. Сотрясаемые расовыми и социальными волнениями, они скорее всего развалятся на ряд небольших государств... Когда это произойдет, в мире останется только одно самое могучее во всех

отношениях государство — это будет наше государство... Впереди эра России — и она уже началась!»¹⁰

Вздор? Конечно. Автор не имеет ни малейшего представления ни о статистике, ни об экономике? И это бесспорно. Но меня занимает другое. Как назвать после этого тех, кто остановить реваншистов, мечтающих об изоляции России, намерен угрозой этой самой изоляции?

Как завоевать большинство?

Это хрустальная мечта правой оппозиции, но одновременно и самая трудная для нее задача, поскольку ее приоритеты серьезно расходятся с приоритетами большинства в постсоветском обществе.

Чего хочет это большинство? Прежде всего нормальной и мирной жизни, если не по самым высоким, то хотя бы по приличным европейским стандартам. Хочет оно также гордиться своей страной. Хочет верить в лучшее будущее своих детей.

Но ничего подобного нет в жестко догматичных имперских, авторитарных и антизападных приоритетах реваншистской оппозиции.

Баркашов откровеннее других. Он говорит, что «для нашего государства [спасительным] средством является национальная диктатура»¹¹. Его соперник Николай Лысенко, хотя он тоже национал-социалист, умнее: ему одной диктатуры недостаточно. Он исходит из того, что «ни поляки, ни болгары, ни норвежцы, ни чехи, ни румыны, ни подавляющее большинство других народов никогда не достигали и не достигнут статуса нации»¹². И диктатура тут не поможет. Ибо «нация — это всегда великая идея вселенского масштаба, пронизывающая помыслы миллионов». Именно поэтому «только нации способны строить империи» (статья Лысенко так и называется «Цель — великая империя»). Какая же идея способна вдохновить современного россиянина на строительство новой империи? Лысенко видит ее в «обретении мессианского статуса единственного в мире защитника национальных культур от космополитической «американоидной» экспансии, технотронного геноцида и потребительского вырождения»¹³.

Это, естественно, предполагает необходимость «вступить в тотальную борьбу с Западом, прежде всего с США, за интеллектуальное и технологическое лидерство». Само собой разумеется, что такая тотальная борьба «потребуется создания идеологии «технотронного натиска», неизбежно выдвинет своих героев, мучеников и поэтов»¹⁴. Как и его идеологический наставник Сергей Кургинян, Лысенко полагает, что «нет и не может быть сильной организации вне сильной и современной идеологии»¹⁵. Ибо без нее оппозиция не сможет склонить на свою сторону не верующее в ее имперские и антизападные идеалы большинство. Не сможет убедить его, что, в отличие от послеавгустовского режима, у нее есть жизнеспособный план построения великого будущего, что ей можно доверить судьбу своих детей.

Да и как, в самом деле, могут люди вверить себя политическому движению, если одна его часть («белые») побуждает их немедленно ринуться в «тотальную борьбу с Западом», держась при этом подальше от коммунистов, а другая («красные») требует как раз наоборот —

немедленно восстановить социализм и СССР? Если вдобавок третья его часть («коричневые») агитирует за «национальную диктатуру» без евреев и коммунистов, а четвертая (вчерашние демократы-«перебежчики») — за парламентскую республику, и с коммунистами, и с евреями, лишь бы свалить ненавистное «оккупационное правительство»? Кто, безумный, согласится пойти за таким движением?

На первый взгляд, все лидеры оппозиции это понимают. Их проблема лишь в том, что если для идеологов, как Кургинян, создание объединительной идеологии оппозиции — проблема первоочередная, императивная, то на фланге практической политики думают иначе. Там идут свои разборки.

Николаю Лысенко надо убедить Баркашова, что именно его вариант национал-социализма имеет наилучшие шансы. «Белые» стоят перед необходимостью навязать «красным», а «перебежчики» — «коричневым» свои планы будущего. Демократические «перебежчики» содрогаются, надо полагать, когда их новоиспеченный соратник Баркашов рассуждает о том, что «русская нация превышает всех остальных наций», или еще того похлеще — что «мы считаем себя национал-социалистами или, как говорят на Западе, наци»¹⁶. А каково слышать такую ересь вперемешку с «буржуазными» парламентскими всхлипами председателя вновь созданной Коммунистической партии России Геннадия Зюганову, работающему бок о бок и с нацистами, и с «перебежчиками»? Но поддаваться не хочет никто. Можно сказать, что сегодня оппозиция, по сути, представляет собой партизанское войско, при том что каждый местный штаб хочет победить единолично и каждый командир не покладая рук старается ослабить друзей-соперников. С какой, помилуйте, стати одни партизанские командиры подчинятся другим в разгаре такой бешеной политической и личной конкуренции? А главного, над всеми стоящего штаба — его-то как раз у оппозиции и нету.

А с другой стороны — это только сказать легко: создать объединительную идеологию. Ничем подобным не приходилось озадачиваться ни большевикам в начале столетия, ни нацистам в 1920-х. И те и другие шли на штурм власти с более или менее сложившейся идеологией. Сегодняшней оппозиции приходится строить ее на марше. Никогда еще в истории не было нужды крайним «левым» смыкаться с крайними «правыми». Сегодня им необходимо чуть ли не слиться в одну партию.

Со всех четырех сторон к искомой идеологии предъявляются взаимоисключающие требования. Даже мнения о том, что такое русская нация, — и те расходятся кардинально. Должна она быть этнически чистой, как полагают петербургское движение «Русь» и «Русская партия» Виктора Корчагина, или смешанной? А если смешанной, то с кем именно — со славянами на западе и на юге, как утверждают национал-республиканцы, или, наоборот, с тюрками на востоке, как проповедуют «евразийцы» из «Дня»? А что, если нация вообще не категория, определяемая составом крови, но «полиэтническая культурно-историческая общность, основанная на самоотождествлении с определенной культурой»¹⁷, как настаивает лидер Экспериментального центра Кургинян?

А ведь без ответа на этот вопрос нельзя решить ничего, в том чис-

ле и очертить границы новой России. Это правда, что в границах, возникших в результате распада СССР, ее не мыслит ни одна из фракций оппозиции. Но отсюда вовсе не следует, что они согласны между собой. Следует ли стремиться к «Большой России», включающей Украину и Белоруссию, как думает Александр Солженицын, поддерживаемый в этом и Лысенко, и Баркашовым? Или к «Великой России» в границах бывшего СССР, как полагает Александр Проханов? Или, еще шире, к присоединению всех территорий дореволюционной России, а заодно и Центральной Азии и Ближнего Востока — вплоть до Индийского океана и Средиземного моря, — как требует Владимир Жириновский? Или вообще должна стать новая Россия ядром «великого евразийского пространства» — от Дублина до Владивостока, — как пророчествует Александр Дугин, опирающийся на европейских фашистов?

А какой по духу должна быть эта новая Россия: секулярной или теократической? Технотронной или аграрной? Языческой или христианской?

Замечу вскользь: нет ничего удивительного в том, что все древние вопросы, давно решенные в устоявшихся обществах, фундаментальные вопросы национального самосознания — вдруг всплыли на поверхность в сегодняшней буче, причудливо переплетаясь друг с другом и с проблемами рыночной реформы. Нет ничего удивительного и в том, что вокруг этих вопросов возникло такое гигантское поле напряженности. Россия, которая многие десятилетия прозябала на задворках интеллектуальной жизни планеты, оказалась безоружной перед их невообразимой сложностью.

Удивительно совсем другое — что реваншистской оппозиции было позволено перехватить — и монополизировать, и вульгаризировать — культурную инициативу, связанную с проработкой и перенесением в практическую плоскость этой ставшей такой насущной проблематики.

Остальным оказалось недосуг. Руководителям послеевгустовского режима — потому что их слишком поглощает сиюминутная суэта выживания. Российским либералам — потому что они слишком увлечены критикой режима. Человеку, желающему понять, что вытекает из того, что он — русский, не у кого просить разъяснений, кроме как у оппозиции, которая ненавидит «гуманистический идеализм Запада» и считает, что «в Православии и общинных традициях русской культуры примату прав человека места нет»¹⁸...

«Леньность мысли» и соблазны власти

Итак, «непротиворечивая идеология Русского пути»¹⁹, о которой так хлопочут Кургинян и Лысенко, действительно нужна оппозиции, как воздух. Затем, чтобы продиктовать сомневающемуся большинству свой ответ на все тревожащие его древние вопросы. Затем, чтобы с завоеванных позиций стращать это большинство Западом, истинной целью которого в отношении России является, чтоб вы знали, «технологический геноцид со всеми атрибутами этого процесса — размещением радиоактивных захоронений, высокотоксичных и грязных производств,

широчайшей эксплуатацией людских и природных ресурсов»²⁰. Но не в последнюю очередь единое знамя, единый символ веры, единая, если угодно, душа нужны оппозиции и просто для того, чтобы «красные» не перерезали на второй день после победы глотки «белым», а «коричневые» — «перебежчикам».

Попросту говоря, без «идеологии Русского пути» оппозиция не сможет воспользоваться плодами своей победы, даже если победа эта ей суждена.

Однако и сегодня — как и год, и два, и три назад — этого знамени, этой единой души у нее нет. Конечно, идеология — не бутерброд от McDonald's: требуются годы, чтобы она сложилась и созрела. Но какие-то эскизы, наброски — могли бы уже, казалось бы, появиться!

Попробуем поискать объяснения.

Беспощадное соперничество лидеров, каждый из которых стремится подавить других именно экстремизмом своих лозунгов, отчаянное давление «патриотических» масс, требующих немедленных акций, а не отвлеченных рассуждений, соблазн власти, которая, как им часто кажется, валяется под ногами, азарт борьбы и необходимость отвечать ударом на удар — все это едва ли располагает к нормальной академической работе. Тем более, что оппозиционные политики, ежеминутно ожидающие подвоха со стороны нетерпеливых соперников, склонны романтизировать этот азарт сиюминутной «революционной» практики, с трудом скрывая свое презрение к медлительным степенным идеологам.

«Наше глубокое убеждение — идеологии не рождаются в кабинетах и интеллектуальных лабораториях, — торопит события Александр Проханов. — Там рождаются лишь слабые и робкие эскизы, которые потом предлагаются великому художнику — Истории. Этот художник пишет свое полотно на полях сражений, в застенках, в толпищах и революционных катастрофах. И все, что у него получается, уже не хрупкие карандашные наброски, а огромные, слезами и кровью омытые фрески»²¹.

Слов нет, это, конечно, вполне бесшабашная демагогия, удобно оправдывающая неспособность сосредоточиться на серьезной умственной работе. Но зато как привлекательно звучит! И как идеально соответствует безрассудной горячности «патриотических» масс!

И что с того, что Сергей Кургинян поспешил одернуть этого Демосфена реваншизма: «Главной слабой точкой, ахиллесовой пятой оппозиционного движения является леность политической мысли... политическое верхоглядство, неумное и мелкое честолюбие лидеров, приводящее к политической грызне между ними, тяга к упрощенным решениям, не соответствующим масштабу проблем и вытекающая отсюда организационная бесплодность, отсутствие воли к самостоятельной творческой активности в сфере идеологии»²²? Что толку от этих запоздалых обличений? Политики, зависящие от настроения «патриотических» масс, не желают их слушать. В особенности в моменты, когда лихорадочные искушения власти становятся непреодолимыми и, подобно лесному пожару, охватывают вдруг все оппозиционное движение. Перед этой лихорадкой даже его жрецы — хранители идеологического огня — устоять не могут...

Мы видели это в сложнейший период между осенью 92-го и вес-

ной 93-го. Напомню канву тогдашних событий. Две обычно соперничающие между собой фракции — бывшие аппаратчики, вроде Геннадия Зюганова, щеголяющие сейчас в тоге «красно-белых» национал-большевиков, и нетерпеливые «перебежчики», вроде Ильи Константинова, сошлись на том, что «идейные разногласия следует отложить на потом и прежде всего добиваться правительства народного доверия»²³. Нетерпение «перебежчиков» — в большинстве своем парламентариев — понятно. Любая конституционная реформа, связанная с новыми парламентскими выборами, означала для них уход в политическое небытие. К тому же «правительство народного доверия», в котором они, естественно, играли бы главные роли, давало им, казалось, реальный шанс оседлать массовое «патриотическое» движение, нейтрализовать уличных вождей и демагогов, которых они сами побаивались.

Бывшие аппаратчики, надо полагать, руководствовались аналогичными соображениями.

Так или иначе, курс на штурм Кремля был взят. И предвкушение победы оказалось настолько заразительным, что даже прирожденные идеологи, как Кургинян, поддались на время общему ажиотажу. Это позже, отрезвев, говорил он, что «если против России ведется интеллектуальная война, то противостоять этой войне может только оппозиция, обладающая соответствующим интеллектуальным оружием, а не племя дикарей, уповающее на политические булыжники»²⁴. Осенью 92-го швырялся он этими политическими булыжниками вполне самозабвенно, ничуть не уступая тем, кого потом стал называть дикарями, и уверял меня, что в марте—апреле следующего года «национально-освободительное движение», которое он с гордостью представляет, непременно будет у власти²⁵. И Владимир Жириновский заявлял мне тогда в обычной своей безапелляционной манере, что «в марте в России будет другой политический режим, к власти придут патриоты»²⁶. И кто только тогда этого не говорил!

Первый в 1993-м номер газеты «День» открывался «Новогодним словом» главного редактора: «Год, в который мы шагнули, запомнится нам как год потрясений и бурь, год сопротивления и победы, физической, во плоти, ибо победу нравственную мы уже одержали»²⁷.

Второе Всеармейское офицерское собрание в январе 1993 г., которое, в отличие от первого, контролировалось оппозицией, было настроено еще воинственнее. Оно объявило о создании «армии народного спасения» и приняло «Предостережение правительствам недружественных стран и претендентам на мировое господство»: «Мы не станем мириться с теми, кто тянет свои руки к нашим богатствам. Эти руки мы отобьем. Мы знаем о ваших планах. Всей авиации мира не хватит, чтобы вывозить с нашей земли трупы ваших солдат»²⁸. Коротче, руки прочь от России и не мешайте нам победить.

Дальше — больше. В начале февраля «День» отдал целую полосу репортажу с первого заседания «теневого кабинета-93». «Стремительно надвигается новая схватка, пик которой придется на март—апрель (!), когда перегруппировка политических сил завершится, экономика будет разрушена, продовольственные запасы будут израсходованы,— брал быка за рога анонимный премьер-министр.— Я предла-

гаю выработать рекомендации для оппозиционного движения на нынешний час и на то, по-видимому, недалекое время, когда оппозиции придется нести бремя власти в разоренной, охваченной беспорядками России»²⁹. Час «Х» назван был открытым текстом.

Тон главного рупора оппозиции становился агрессивнее с каждым номером. Вот «секретная стенограмма» беседы Ельцина с президентом Бушем в Москве, которую «евразиец» Шамиль Султанов откомментировал в предисловии без затей: «Янки получили от Б. Ельцина право убивать россиян и ставить на них эксперименты»³⁰. Вот монолог генерала Виктора Филатова, министра иностранных дел в еще одном теневом кабинете оппозиции («Русской партии»): «Рабочие больше не просят хлеба. Бесполезно. Они требуют [автоматы] Калашникова»³¹.

А заголовки? Прямо на первой полосе: «Преступник Ельцин должен уйти!» и «Изменников родины под трибунал!» Руководителям московской милиции «День» рекомендовал не повиноваться приказам начальства, поскольку «режим, которому они служат, не вечен и патриотическая власть будет жестко спрашивать со всех предателей родины»³².

Естественно, к началу апреля лидерам оппозиции казалось, что час «Х» при дверях. Результаты референдума, в которых они ни на минуту не сомневались, должны были послужить сигналом к взятию власти. «Перебежчик» Михаил Астафьев торжествовал: «Я уверен, что поражение Ельцина на съезде повлечет за собой его уход с политической сцены... Ельцин не выиграет референдум, даже если его сторонники и попытаются подтасовать результаты голосования... Если же Ельцин откажется признать результаты голосования, депутаты вновь прибегнут к процедуре его отрешения от должности... Ельцин утратил ореол политической неприкосновенности и должен получить то, что заслужил»³³.

Оппозиция словно лишилась разума. Не говоря уже о том, что она совершала монументальную ошибку, непростительно перепутав агрессивное настроение «патриотических» масс с настроением большинства российских избирателей, — в своем самоубийственном порыве она себе, любимой, отрезала всякую возможность маневра. Тщетно зывали к здравому смыслу одумавшиеся в последнюю минуту идеологи. «Политические бульжники» были у всех на уме, а вовсе не кабинетные тонкости «интеллектуального оружия» и «непротиворечивой идеологии Русского пути». Какая там идеология, когда земля, казалось, уже горела под ногами врагов?

Окончилось это все, как мы знаем, пшиком. Но у тех, кто внимательно наблюдал, как распалая и понемногу доводила себя до белого каления оппозиция, кто читал все это и слушал, могло сложиться впечатление, что Россия и впрямь находится где-то в январе 1933 года по веймарскому календарю. Уж мне-то работать над этой книгой было как будто бы и вовсе бессмысленно. Она казалась безнадежно запоздавшей. Я ищу способы остановить варваров, а они уже, считайте, овладели воротами Рима!

А что же идеологи оппозиции? Они раньше других очнулись от хмельного угара, охватившего тогда движение. Но, как показал ок-

тябрь 93-го, когда оппозиционные парламентарии оказались, по сути, заложниками «коричневой» ярости своих собственных вооруженных штурмовиков в заблокированном Белом доме, соблазн власти дезориентировал и их. И на будущее ничуть не застрахованы они от повторения этого кошмара.

«Мы просто коричневые»

Другая особенность оппозиции, делающая проблематичным для нее принятие единого символа веры,— это закоренелое, почти средневековое сектантство ее командиров. Например, в 1992 году в России было десять (!) движений и фронтов, называющих себя одним и тем же именем

«Память»³⁴. И дело не только в том, что все они так судорожно цеплялись за одно и то же старое название, словно бы именно от этого зависела их жизнь. Каждая «Память» считала всех остальных опасными еретиками и отступниками от «подлинно коричневой» идеологии, а значит — врагами Отечества.

«Национально-патриотический фронт «Память», возглавляемый Дмитрием Васильевым, исключил из своих рядов Александра Баркашова — за отступление от официального догмата веры «монархического фашизма», равно как и своих основателей братьев Поповых (за «национал-коммунизм»). Это, однако, не помешало «национально-патриотическому фронту «Память» во главе с Николаем Филимоновым исключить самого Васильева. Что, в свою очередь, не удержало «православный национально-патриотический фронт «Память», возглавляемый Александром Кулаковым, от исключения Филимонова.

При этой-то сектантской строгости идеологических нравов, при этой-то подозрительности легко ли этим людям вдруг отречься от излюбленных догм, будь то фашизм монархический, православный или уж вовсе языческий, и внять какому бы то ни было новому пророку?

Плечом к плечу с уже известным нам Баркашовым и его «Русским национальным единством» стоит Виктор Корчагин, лидер «Русской партии». Смотрят они на вещи практически одинаково. Оба «коричневые», или, пользуясь эвфемизмом Кургиняна, «этно-радикалы». Оба убежденные антикоммунисты (Баркашов искренне обижается, когда его называют «красно-коричневым»: «Мы просто коричневые, без всякого красного оттенка»³⁵). Оба уверены, что все беды России от евреев («сионистов»). Оба считают, что «террор советской власти был не политическим и не классовым, как нас пытались убедить, а носил чисто расовый характер и преследовал цель уничтожения русской нации как носителя генотипа белой расы»³⁶. Оба согласны в необходимости «признать сионизм виновным в преступном захвате власти во время октябрянского переворота 1917 года... в развязывании красного террора, гражданской войны и геноцида русского народа... в разорении России и доведении русских до униженной нищеты посредством сионистского ига»³⁷.

Все, в чем Россия винит коммунистов, Баркашов и Корчагин единомышленно взваливают на евреев. Более того, коммунисты для них, собственно, и есть евреи. Словом, нет у них разногласий ни в чем. Не

только в том, что «всемирная еврейская олигархия» является главным врагом России, но даже в том — гораздо ближе к дому, — что официальная православная церковь «стала прибежищем сатанизма»³⁸.

Спрашивается, что в таком случае делить этим людям? Им-то почему бы не показать пример всем ссорящимся фракциям оппозиции, объединившись под своим общим «просто коричневым» знаменем?

Нет, оказывается, нельзя им вместе. Ибо Корчагин — язычник. Он считает «христианство, проповедующее идею богоизбранного израильского народа, еврейской идеологией» и предпочитает поэтому «содействовать возрождению Русской веры, где под Богом понимается Природа»³⁹. Баркашов же, напротив, по его собственным словам, «православный фундаменталист»⁴⁰, который если и хотел бы чему-то содействовать, то скорее всего замене существующей церковной иерархии каким-нибудь Хомейни отечественной выделки, но уж никак не наступлению языческой «Русской веры».

Эти религиозные разногласия яснее всего показывают, что перед нами не столько политическое движение, сколько анархическое собрание средневековых сектантских общин. Свой твердокаменный символ веры они уже обрели и не расстанутся с ним ни за какие коврижки. Что прикажете делать с ними идеологам оппозиции?

Можно, конечно, поставить этот вопрос и в иной редакции: почему вообще идеологи должны делать что-то с этими людьми? Ведь это натуральные, чистейших кровей фашисты. Уличные разбойники, откровенно признающиеся в любви к «Адольфу Алоизовичу Гитлеру» и готовые ответить на мифический «геноцид русского народа» вполне реальным геноцидом народа еврейского... Но это не помешало Баркашову сделать значительную карьеру в оппозиционном истеблишменте. Он заседал на самом вершине ее структурной пирамиды как член руководства обеих главных организаций «объединенной» оппозиции — Русского национального собрания (РНС) и Фронта национального спасения (ФНС). А генерал Филатов, представляющий «Русскую партию», был обозревателем «Дня». Фашисты сидели за одним столом с парламентариями и интеллектуалами оппозиции — как соратники, как союзники.

Вот я и спрашиваю: почему не противен такой альянс всем этим интеллигентным, на первый взгляд, людям? Почему не стыдятся они духовного родства с «просто коричневыми»? Почему не только без колебаний подают им руку, но и соревнуются меж собою за право усадить за свой стол? Почему писатель Проханов неутомимо печатал упреждения фашиста Филатова, идеолог Кургинян цеплялся за национал-социалиста Лысенко? И даже такие генералы оппозиции, как вождь РНС Александр Стерлигов и бывший демократ Константинов, возглавивший ФНС, дрались между собой за честь числить в рядах своей организации Баркашова? Как они, поборники нравственного возрождения России, «испохабленной», по их мнению, послеавгустовским режимом, оправдывают в собственных глазах такую сверхпохабную нравственную неразборчивость? Как могут они после этого ожидать, что порядочные люди станут относиться к ним иначе, нежели с брезгливым презрением?

Это, впрочем, отдельная тема, к которой надеюсь еще вернуться.

С топором в груди?

Не будем все же отмахиваться от первоначально сформулированного вопроса: что делать идеологу оппозиции? Выбирать между Баркашовым и Корчагиным? Одного фашиста прогнать, другого приглубить? Или отсечь обоих как, пардон, «этно-радикалов»? Но кто же ему это позволит? Не отдадут ему их на расправу генералы оппозиции, которым эти люди нужны для массовых акций и практических дел, куда более важных для них, чем любая идеология. К тому же придется ему охватывать «объединительной идеологией» не только уличных бандитов. Предстоит искать общий язык и с ярко-«коричневыми» интеллектуалами, такими как Александр Дугин, проповедующий в журнале «Элементы» в ансамбле с европейскими фашистами всемирную «консервативную революцию» и возвращение в средневековье.

Сколько угодно мог заявлять Кургинян: «Я требую, чтобы партийный лидер Геннадий Зюганов, являющийся одновременно крупным лидером Русского национального собора и Фронта национального спасения, дал внятную политическую оценку высказываниям Александра Баркашова, ибо этот политик тоже занимает высокое место в иерархии»⁴¹. Ничего не ответил ему Зюганов, даже бровью не повел. А если ответил бы, то наверняка что-нибудь столь же невнятное и напыщенное, как Проханов: «Статья Кургиняна появилась в роковой для русской патриотики миг, когда вся демократическая антирусская пропаганда осуществляет отвратительную, изнурительную для нас доктрину “русского фашизма”, согласно которой все формы русского национального возрождения ассоциируются или вплотную именуется фашизмом... Именно этот термин гонит сегодня в тюрьму патриотов, возвестивших о сионистской опасности. Именно жупел “русского фашизма” демонизирует целые слои русской общественности... Эта гнусная доктрина должна связать в сознании общества трагедию минувшей войны, истребившей цвет нации, и нынешнюю русскую патриотику! Ибо фашизм для русского человека — непреодолимая кровавая категория, отрицаемая на бессознательном уровне... В этом мерзость идеологического удара демократов. Мы живем с топором в груди, всеми силами стараясь выдавить из себя это лезвие. Статья Кургиняна загоняет этот топор еще глубже»⁴².

Но помилуйте, ахнет читатель, разве Кургинян придумал Баркашова? Или Корчагина? Или Филатова? Или Дугина? Вы сами взяли всех этих дикарей в друзья и соавторы. Жить с топором в груди и вправду неудобно. Но зачем? Проще простого порвать с неподходящей компанией. Раззнакомиться. Выгнать этих людей из-за своего стола, как они сами друг друга выгоняют. При чем здесь демократы и их «гнусная доктрина», когда оппозиция по собственной воле идентифицировала себя с фашистами? Когда сам Проханов заявил в интервью журналу «Страна и мир», что готов к фашизму, если через фашизм возможно возрождение государства?

Впрочем и Кургинян понимает, что нормальная человеческая логика здесь не при чем. Он готов смириться с «просто коричневыми» в «патриотических» рядах: «Я могу понять и в чем-то даже принять национализм Баркашова. Каждый волен иметь свои симпатии и антипатии.

Но если Баркашов еще может быть как-то если не оправдан, то понят с учетом сферы его деятельности, то интеллектуал Дугин ведаёт, что творит»⁴³. Бог с вами, отпускает он грехи «патриотическим» генералам, хотите сотрудничать с российским Гитлером — я вам не судья. Но хоть российский Розенбергом ради общего дела пожертвуйте!

Но не тут-то было. И Розенбергом они не жертвуют. Ибо на самом деле, если фашизм и топор, то не в груди реваншистов, как уверяет себя Проханов, а в их руках. Их главное оружие. Чего стоит оппозиция без «патриотических» масс? А массы эти неизменно превращают каждую их манифестацию в антисемитский шабаш. И доверяют эти массы лишь «коричневым» уличным демагогам, а вовсе не кабинетным идеологам, чьего и языка-то не понимают.

Вот почему любая объединительная идеология реваншистов, если и впрямь суждено ей родиться, обязана будет инкорпорировать в себя фашизм.

«Либеральный испуг»

Идеология, идеология... А что, без нее никак нельзя объединиться? Ну, если ничего с ней не вытанцовывается?

В принципе — можно. Появись у движения сильный харизматический лидер, подобный, скажем, Муссолини, то есть не испытывающий, в отличие от Кургияна,

отвращения к фашизму и способный, в отличие от Проханова, железной рукой подчинить себе движение,— он, без сомнения, решил бы эту проблему. А идеологический штаб, какой ему нужен, создал бы потом. Только вот где найти такого лидера? Оппозиция ищет его уже годы. Более того, она лихорадочно пытается его сотворить. Но не получается...

Вот история одного такого несостоявшегося российского фюрера.

12—13 июня 1992 г. в Колонном зале Дома Союзов, самом престижном из всех дворцов в центре Москвы, собрался первый съезд Русского национального собора, на который съехались 1250 делегатов, представлявших 117 городов и 69 политических организаций из всех республик бывшего СССР. Все звезды оппозиционного небосвода сияли здесь. Пиджачные пары парламентариев перемежались в зале с черными сутанами священников, экзотическими казачьими черкесками и золотопогонными мундирами генералов. В первых рядах клубился «патриотический» бомонд: знаменитые писатели перешептывались с еще более знаменитыми кинорежиссерами и тележурналистами. С трибуны призывали к свержению «правительства измены». «Факт налицо,— уныло констатировали “Московские новости”,— в полку национал-патриотов респектабельное пополнение»⁴⁴.

16 июня Югославское телеграфное агентство распространило комментарий своего спецкора в Москве, где, в частности, говорилось: «Кто присутствовал на съезде Русского национального собора (РНС), не может больше утверждать, что оппозиция не взяла бы в свои руки власть, если бы выборы состоялись завтра»⁴⁵.

«Русский собор выбирает третий путь»⁴⁶, — провозгласила газета «Правда». «День» согласился с такой оценкой. Третий путь означал, по их мнению, что новое «соборное» правительство в России высту-

пит одновременно «и против интернационального коммунизма, и против космополитической западной демократии»⁴⁷.

В статье «Либеральный испуг» известный либеральный журналист Валерий Выжutowич писал: «Мне не кажется сенсационным вывод Андрея Козырева, чье интервью “Известиям” почему-то наделало шума, хотя для вдумчивых наблюдателей уже совершенно очевидно: “То, что происходит сейчас у нас, похоже на 1933 год в Германии, когда часть демократов стала переходить на националистические позиции”»⁴⁸.

Словно специально подыгрывая Козыреву, Собор открывал профессор Шафаревич, бывший диссидент. И приветственное слово его было обращено к бывшему генералу КГБ Александру Стерлигову, новому вождю оппозиции, новому кумиру, которого она решила себе сотворить.

Спустя месяцы после съезда корреспондент «Дня» объяснял, интервьюируя Шафаревича, тогдашнее отношение «патриотов» к Стерлигову: «Он казался единственным профессионалом, способным на решительные радикальные действия»⁴⁹. Однофамилец и дальний родственник генерала Герман Стерлигов, тогда — крупнейший русский предприниматель, писал: «Я хорошо отношусь ко многим политикам оппозиции, но генерал Стерлигов — единственный из них, кому я безоговорочно верю». До такой, между прочим, степени, что, как объяснял он дальше, «теперь я работаю на Собор по 18 часов в сутки и трачу на него все свои деньги»⁵⁰.

Справедливости ради скажем, что полного единодушия в рядах не было. Известный «перебежчик» Виктор Аксюциц заявил, например, что «затея с Собором — очередная попытка паразитировать на патриотических идеалах. Мы не хотим иметь дело с генералом Стерлиговым»⁵¹. Но в момент летней эйфории — преувеличенных надежд в одном лагере на фоне преувеличенных страхов в другом — это выглядело комариным укусом, неспособным, разумеется, омрачить героическую репутацию человека на белом коне, ставшего в мгновение ока символом «преодоления исторического раскола России на красных и белых»⁵². Да, летом 92-го многим казалось, что «патриотическая Россия» обрела нового вождя.

Закат новой «звезды»

Ошибка генерала Стерлигова заключалась в том, что он в это поверил. Лето сменилось осенью — и оппозиция оказалась на перепутье. Парламентская ее фракция, как мы помним, взяла твердый курс на разгром правительства «чикагских мальчигов», ответственных за шокотерапию. Падение Гайдара считалось делом предрешенным. Но что дальше? Как развивать успех? Устранив Гайдара, переходить в генеральное наступление и попытаться свалить самого Ельцина? Или, договорившись с центристами из «Гражданского союза», предложить Ельцину вместо «правительства измены» альтернативное коалиционное правительство, составленное из людей Александра Руцкого (ГС) и Александра Стерлигова (РНС)?

Гитлеру удавались подобные маневры. Он не пытался свалить президента Гинденбурга. Он предложил ему, в январе 33-го, именно

альтернативное коалиционное правительство — и выиграл. Вдохновленный этим примером — и вообразив себя вождем соответствующего масштаба, — Стерлигов решил повторить маневр Гитлера. С точки зрения абстрактной политики, это, может быть, выглядело разумно. Чего Стерлигов не принял в расчет, однако, так это агрессивного настроения «патриотических» масс, искусно раздуваемого его коварными соперниками — как «перебежчиками», так и национал-большевиками. Читатель помнит, что осенью 92-го эти люди решили играть ва-банк. Им нужна была голова «предателя» Ельцина. А заодно и Стерлигова. Для того и поспешили они создать новую объединительную организацию — Фронт национального спасения.

Надобности ни в каком таком фронте Стерлигов решительно не видел. Но он недооценил энергию и коварство своих сподвижников и переоценил свой калибр. Да, Гитлер мог позволить себе хитрый маневр с Гинденбургом. Но... что позволено Юпитеру, того нельзя быку. К октябрю соблазн власти уже лихорадил оппозицию. Остановить создание Фронта Стерлигову оказалось не под силу. Он сделал, правда, последнюю судорожную попытку объявить Фронт составной частью Собора. Однако «перебежчик» Константинов, возглавивший Фронт, и слышать об этом, естественно, не захотел. Он ведь шел не только на штурм Кремля, но и на перехват лидерства.

24 октября в Парламентском центре России Константинов продемонстрировал стране еще более внушительное зрелище, нежели Стерлигов в июне. На открытие Фронта съехались 1428 делегатов от 103 городов и 675 гостей, присутствовало 270 аккредитованных журналистов, 117 из них от иностранных агентств и газет.

Константинов взял курс на конфронтацию с «главарем временно-го оккупационного **режима**». Казалось бы, всего лишь одно слово отличало этот новый лозунг от лозунга Собора, протестовавшего против «временного оккупационного **правительства**». Но этот нюанс мигом задвинул вчерашнего кумира в политическую тень, за одну ночь превратил его в фигуру архаическую, персону нон грата оппозиционного бомонда.

4 ноября Стерлигов провел пресс-конференцию, где говорил о «круглом столе» с представителями президента и «Гражданского союза», который он рассматривал «как пролог к созданию нового правительства со своим участием»⁵³. Но на следующий же день руководители Фронта провели свою пресс-конференцию, на которой заклеямили «раскольничество Стерлигова»⁵⁴. Оба его сопредседателя по Собору, Геннадий Зюганов и Валентин Распутин, и четыре члена Президиума, включая Баркашова, отмежевались от его «недопустимых заявлений, на которые никто его не уполномочивал»⁵⁵.

Так закатилась звезда вчерашнего кумира оппозиции, вообразившего себя российским Муссолини. И самым, наверное, обидным для него было отречение Шафаревича. Буквально только что профессор пел осанну новой надежде оппозиции. А вот что говорил он теперь: «Как я слышал, он работал в пятом управлении [КГБ], боролся с инакомыслящими. Может, и я был его подопечным... Слова о "правительстве измены", звучавшие на Соборе в Колонном зале, заменились разговорами о сотрудничестве с правительством. Генерал Стерлигов сначала вошел в оргкомитет Фронта, потом [в интервью Невзорову]

объявил Фронт одной из структур Собора, а потом в интервью Киселеву сказал, что не может с Фронтом сотрудничать по причине его коммунистического уклона. Мне кажется, что надежда на генерала Стерлигова была жизнью опровергнута»⁵⁶.

Вторая половина пути

Какой же год у нас сегодня на дворе, если считать по веймарскому календарю?

Давайте прикинем. С одной стороны, правая оппозиция успешно набирает очки в психологической войне. И первую половину пути к созданию объединительной идеологии она уже прошла — в том, по крайней мере, смысле, что многие из ее вождей считают такую идеологию необходимой, некоторые из ее интеллектуальных центров над ней серьезно работают и первые проекты уже прорисовываются. С другой же стороны, сектантская фрагментарность оппозиции, ее принципиальная разнородность, неуправляемость «патриотических» масс и беспощадное соперничество лидеров, которые я попытался здесь проиллюстрировать, делают перспективы туманными. Быстро завершить вторую половину пути практически нереально, или мало реально — во всяком случае, в предвидимом будущем.

Ошибся, к счастью, Андрей Козырев, когда в 1992 году сказал открытым текстом, что для России истекает последний веймарский год. И Валерий Выжutowич, находивший это даже очевидным для «вдумчивых наблюдателей», тоже ошибся. Есть еще время до октября 17-го года, по петроградской хронологии, и до 33-го — по берлинской.

И все же время остается фактором критическим.

Судя по сегодняшней растерянности западных элит, деморализованных югославским кризисом, для «раскачки» господствующего сегодня на Западе стереотипа невмешательства в российскую психологическую войну тоже понадобятся годы. Заглянуть вперед всегда трудно. Еще труднее осознать, что уже в силу своего ядерного статуса Россия неминуемо окажется главным полем сражения между европейской демократией и всемирным «экстремистским национализмом». И что поэтому проблема общеевропейского возрождения неразрывно связана с разрешением российского кризиса, несопоставимо более грозного, чем югославский.

Если мои расчеты верны, эти годы в запасе у Запада есть. Но как, на что они будут потрачены?

Глава третья

Ищу союзников!

Россия сегодня — на марше, в розе ветров, на перекрестке всех дорог, из которых может быть выбрана любая. Рыночное хозяйство, построенное при помощи Запада, вовсе не помешает ей встать в пост-ельцинскую эпоху на тот путь, куда толкают ее вожди оппозиции: на путь безоглядной вражды с Западом. Отсюда центральный вопрос, от которого западные политики упрямо уходят, но которого им не избежать: как воздействовать на будущий выбор России в условиях, когда рынок в ней побеждает, а демократия проигрывает?

Выбор России и выбор Запада

Казалось бы, и раздумывать нечего: срочно реформировать русскую политику Запада, сделав ее сверхзадачей нейтрализации реваншистской угрозы. Как — уже говорилось: положить на чашу весов российского выбора весь еще неистраченный в России авторитет Запада, его политический опыт, его интеллектуальную изощренность, проникнутую духом идеализма и морального сопереживания.

Конечно, можно ничего этого не делать. Можно, пренебрегая опытом 1920-х, вновь понадеяться на самотрансформацию имперского гиганта. На то, что российская реваншистская оппозиция вдруг уйдет почему-то в тень, на периферию политической жизни и угроза рассосется сама по себе. Но я бы считал в этом случае необходимым, чтобы западная публика совершенно точно представляла себе степень риска, связанного с таким решением, и осознанно на него согласилась. Другими словами, она должна уяснить, что так же, как и народ России, стоит перед выбором, который определит ее будущее.

Чтобы эта непростая данность уложилась в общественном сознании, необходима широкая и свободная дискуссия. И открыться, по обстоятельствам, она должна была уже давно.

Однако до сих пор, хотя яростный российский кризис уже задышал просвещенному Западу в затылок, нет сигнала к началу такого мозгового штурма. Почему?

Чтоб не выбиваться из жанра, попытаюсь набросать ответ в лицах.

Я выбрал четыре ключевые фигуры среди экспертов, занимающихся Россией. По полному спектру: экономиста, политолога, историка и политического деятеля. Пусть читатель сам рассудит, нужна ли этим людям дискуссия о выборе России и тем более о выборе Запада.

Заботы экономиста

Хотя профессор Сакс и выглядит в свои неполные 40 лет мальчиком, он серьезный специалист в своей области — теории международных финансов. Питер Пассел даже назвал его «самым важным сейчас экономистом в мире»¹, на плечах которого лежит самая сложная из всех сегодняшних задач: вытащить Россию из коммунистического омута, как вытащил он когда-то из фантастической (24000% в год) гиперинфляции Боливию. Никто из западных экономистов не ринулся так беззаветно и отчаянно, как он, в русские дела, и никого другого не ненавидит так страстно реваншистская оппозиция. Если б я даже больше ничего о нем не сказал, одно это служило бы ему высокой рекомендацией.

Вундеркиндом, впрочем, м-р Сакс был уже в университете, сдав докторские экзамены еще до окончания колледжа. С 29 лет он постоянно преподает на одной из лучших кафедр в стране, в Гарварде. Разумеется, у него есть оппоненты. И не только в России, где в соответствующих кругах его объявляют если не дьяволом во плоти, то уж бесспорно — врагом и разрушителем страны. Не все разделяют его веру в универсальность моделей экономического изменения. Не всем импонируют его революционные замашки. К тому же Джеффри Сакс действительно революционер — причем, не только в воззрениях («если вы посмотрите, как возникают реформы, [то увидите], что это происходит через быструю адаптацию иностранных моделей, а не через медленную эволюцию»²), но и по темпераменту. А это опасное сочетание. Чаше, однако, оппоненты упрекают его в том, что Ленин называл «экономическим кретинизмом», т. е. в недооценке политики в ходе революционного экономического изменения.

Мои претензии к нему идут дальше. Я боюсь, что м-р Сакс проявляет большую близорукость в отношении реваншистской оппозиции. Может быть, и врут злые языки, утверждающие, что Россия для него — это всего лишь нечто вроде гигантской Боливии. Но что бесспорно — ни с чем, даже отдаленно похожим на российских «краснокоричневых», он там не встречался. И в Польше, к чьей реформе он тоже приложил руку, ничего подобного не было. Таким образом, непосредственный реформаторский опыт м-ра Сакса никогда не сталкивал его с людьми типа Шафаревича, а в теоретические построения, при всей их революционности, фактор этой всежигающей ненависти к Западу вкупе с западными моделями экономического развития просто не вписывается. Это делает «самого важного экономиста в мире» естественным пленником веймарской политики.

Передо мной статья м-ра Сакса в «Нью Рипаблик», опубликованная в последние дни 92-го под знаменательной рубрикой «Как спасти реформы Ельцина». Начинается она беспощадно критически по отношению к западной бюрократии:

«Несмотря на то, что столь многое на кону для Запада в успехе российских реформ, реальная западная помощь была ничтожна. Реформистские политики в России сильно пострадали от этого контраста между высокопарностью риторики и пустячностью реальной поддержки. Реформаторов обличали за доверие к Западу. Крайне правые требовали возвращения к изоляционизму, заявляя, что Запад показал себя ненадежным и враждебным усилиям России»³.

Критика эта, бесспорно справедливая, могла бы быть и жестче. Если бы м-р Сакс посмотрел на отношение Запада к России в более широком историческом контексте, «контраст», которым он возмущается, выглядел бы куда драматичней.

Вспомним историю холодной войны. Затратив сумасшедшие деньги, чтобы победить в ней, западные политики почему-то не потрудились задуматься о том, что произойдет на следующий день после этой победы. Какими будут их конкретные шаги, когда советская военная империя распадется и на шее у них повиснут две дюжины стран с тяжелой авторитарной наследственностью, с тотально милитаризованной экономикой и с ядерным арсеналом, и со всем этим что-то придется делать. На риторическом уровне формулу нашли быстро: «содействовать проведению демократических и рыночных реформ». Но на уровне практическом, т. е. применительно к тому, как именно содействовать, все повисло в воздухе. Непонятно было даже, с чего начинать думать.

Победа свалилась, как снег на голову. Образовался гигантский стратегический вакуум, который и заполнил м-р Сакс своей шоковой терапией.

Ошибки имеют роковое свойство повторяться. Как страстно настаивал Запад на скорейшем начале российской экономической реформы! Но когда добился — сразу же обнаружилось, что у западных политиков не было никакого плана относительно ее поэтапного проведения. Что они будут предпринимать, когда шоковая терапия вызовет в стране взрыв реваншизма (а это было неизбежно), когда ее политическая структура начнет разваливаться (а это тоже было более чем вероятно), когда под угрозой окажется само существование новорожденной демократии? Не задумался никто.

Напрашивается еретическая мысль, что западные политики вообще не верили в возможность победы — ни в холодной войне, ни в российской реформе. Почему и возник тот драматический «контраст», что так шокировал м-ра Сакса: так же, как победоносное окончание холодной войны, российская реформа застала Запад в полном дезабилье.

В результате Россия плюхнулась в нее, не подготовившись, не создав, при помощи Запада, никакой защиты, способной, смягчив оглушающий эффект шоковой терапии, выдернуть тем самым ковер из-под ног реваншистов. Что случилось дальше, мы с вами знаем. За год цены подскочили на 2 тысячи процентов. За считанные недели многолетние сбережения граждан вылетели в трубу. Зарплаты, пенсии и стипендии отстали от этого фантастического скачка на много месяцев. Интеллигенция оказалась его первой жертвой. Она разорилась и раскололась. Население было дезориентировано. Бомба реваншизма взорвалась. Поистине, 92-й стал для России марсианским го-

дом. И если б не мудрость и легендарный стоицизм ее народа, если б не авторитет Ельцина, от демократии в России не осталось бы после него камня на камне.

Джеффри Сакс, однако, вовсе не склонен всерьез объясняться с виновными в таком поведении Запада. Этот чудовищный «прокол» он относит всецело на счет бюрократической глупости, о которой и рассказывает читателю серию легендарных анекдотов. Что ж, они и впрямь были бы смешны, если бы последствия не были так трагичны. Ну, а кроме бюрократов? Были ведь еще на Западе и политики, и интеллектуалы, и эксперты, и средства массовой информации. И их точно так же застала врасплох российская реформа. А этого никакими анекдотами не объяснишь...

Но не все еще потеряно, успокаивает читателей м-р Сакс. Нашли, в конце концов, эти тупые кретины международную организацию, взявшую на себя ответственность за судьбу российской демократии — Международный валютный фонд. Так что реформы будут спасены. Хотя, конечно же, с обычной для него революционной бескомпромиссностью он замечает, что МВФ «невероятно осторожная бюрократия, не способная к собственной инициативе, кроме как в случае, если она активно подхлестывается ведущими западными правительствами»⁴.

Но разве в инертности МВФ — главная опасность? Она была и остается в том, что ключами от будущего России, всеми ударными силами в сложнейшей политической войне с реваншистской оппозицией доверено распоряжаться группе иностранных финансистов, понятия не имеющих ни о предстоящей войне, ни о реваншизме, ни вообще о политике. Это вопиющая профанация, ставящая под удар создание демократической цивилизации в России. Но м-р Сакс этого и не заметил. Несмотря даже на то, что прекрасно, оказывается, знал: движение к рынку вовсе не вызывает в стране такого мощного и организованного сопротивления, как движение к демократии! «Публика [в России] не только соглашается, но и на самом деле активно поддерживает движение к рыночной экономике»⁵.

Я знаю, что Джеффри Сакс убежденный демократ и что, в отличие от многих западных интеллектуалов, он не колебался отстаивать свои убеждения в обстановке, приближенной к боевой, — в Москве. Я знаю и больше: он многократно развенчивал иллюзии своих российских коллег, очарованных преимуществами «авторитарного рынка» по китайскому или чилийскому образцу. Но, увы, даже сам тот зловещий факт, что ему приходилось убеждать российских **демократов** в неприемлемости **недемократического** пути к рыночной экономике, не открыл ему глаза. Он так и не понял, что работает в условиях жестокой психологической войны, которую российская демократия проигрывает на глазах. Нет у него по этому поводу никакой тревоги. И не предлагает он ничего, чтобы переломить ситуацию — только новые кредиты. Если они пойдут, если баланс между словом и делом будет, наконец, восстановлен, то нет сомнений, что рыночная экономика будет в России построена, надеется м-р Сакс.

А демократия? Она приложится. Вырастет сама — как цветок на хорошо удобренной почве. Это звучит, конечно, очень по-марксист-

ски и вполне неожиданно для такого либерального революционера, как Джеффри Сакс.

Ясно, что никаких дискуссий по поводу исторического выбора, стоящего перед Западом, такой взгляд не предполагает в принципе.

Тревоги политолога

Как эксперт по России, Питер Реддавей часто выступает в телевизионных шоу. Не со всеми суждениями этого сухощавого, подтянутого человека, профессора политических наук в университете Джорджа Вашингтона, можно согласиться, но обычно исполнены они здравого смысла и ос-

торожной, может быть даже слишком осторожной, сдержанности. Тем, наверное, неожиданней для читателя был шквал панических статей, который м-р Реддавей внезапно обрушил на него в начале 1993-го — и в «Нью-Йорк Таймс» («Россия распадается»), и в «Нью-Йорк Ревю оф Букс» («Россия на краю?»), и даже в лондонском «Индепендент». Дошли эти взволнованные тексты и до России — в программах «Голоса Америки» и «Свободы».

Что произошло? Мы знаем, что почти год, с декабря 1992-го по октябрь 93-го, Россия билась в тисках жестокого конституционного кризиса. Конфронтация президента и парламента шла по нарастающей. Накалом этих сенсационных событий был спровоцирован настоящий взрыв публикаций на русскую тему в американской прессе. Питер Реддавей ближе всех принял к сердцу этот затянувшийся кризис. Для него он знаменовал конец реформ, распад России и предвещал еще более ужасные беды, ее ожидающие.

М-р Реддавей считает, что прибегнув к экономической шоковой терапии (ЭШТ) и вообще приняв решение о немедленном переходе России к рынку, «Ельцин допустил фатальную ошибку максимализма», за которую был наказан утратой народного доверия⁶. Нельзя было так спешить. По расчетам м-ра Реддавея, «советизированной политической культуре русского народа... нужно от десяти до пятнадцати лет, чтобы быть готовой для ЭШТ»⁷.

Фатальные ошибки, по определению, непоправимы. С «политической культурой русского народа», как понимает ее м-р Реддавей, шутки плохи. Нарушил ее каноны — плати. Да как! «Будущее поэтому сулит череду слабых правительств, постепенно утрачивающих контроль над регионами. Это, однако, может легко измениться, если какое-нибудь из них попытается установить диктатуру. В этом случае страна развалится, как в 1918-1921 гг., и последует брутальная гражданская война»⁸.

Эти кошмарные прогнозы, проистекающие из «ошибки» Ельцина, неожиданно усаживают м-ра Реддавея в одну лодку с российским парламентом. Конечно, это ему не по душе. Как положено американскому либералу, он, естественно, этот «коммунистический» парламент презирает. И тем не менее, не может, представьте, отказать ему в том, что он «отражает мнения, широко распространенные в народе»⁹.

Гражданская война — не самое страшное в пророчествах политолога. Россию ожидает и кое-что похуже. «Вероятнее всего соберет расчлененную страну мощное движение с экстремистской идеологией. Такое движение, в форме большевизма, собрало большую часть России в 1921 г. В 1995-м или 1996-м исполнить эту функцию сможет экстремистский национализм. Если это случится, не только антизападничество, но и “этнические чистки” в сербском стиле, которые так нравятся крайним правым в России, будут, вероятно, на повестке дня»¹⁰. Поистине страшная перспектива!

Не знаю, право, что приключилось с м-ром Реддавеем. Еще в 1990-м на ответственной конференции в Вашингтоне, в которой мы оба участвовали, он крайне скептически отнесся к моему выдержанному в куда более спокойных тонах докладу об угрозе того, что он сейчас называет “экстремистским национализмом”. Тогда он говорил, что я преувеличиваю. Теперь эту угрозу он возводит в ранг апокалиптической.

И ничего нельзя уже поделать. Поздно. Остается лишь с ужасом наблюдать за агонией великой страны.

Я не помню, чтобы кто-нибудь требовал доказательств от библейских пророков. Но поскольку живем мы все-таки на исходе второго христианского тысячелетия, потребность в элементарной проверке возникает. К сожалению, м-р Реддавей не сообщает, на какие исследования «политической культуры русского народа» опирается он, когда утверждает, что с шоковой терапией или вообще с рынком она станет совместима именно через десять—пятнадцать лет. Как проверить такое безапелляционное утверждение, если нет никаких инструментов или процедур для измерения политической культуры и тем более ее соответствия рынку? Любая приведенная в таком контексте цифра будет неизбежно выглядеть взятой с потолка: три года, пять лет или, наоборот, тридцать—пятьдесят.

Но это так, мелочи. Гораздо существеннее другой вопрос: совершил ли Ельцин ошибку, объявив о рыночной реформе в 1991 г.? Или он следовал логике ситуации, в которой оказался той роковой осенью? И даже еще определеннее: был ли в тот момент у президента России выбор?

«Фатальность» ошибки Ельцина м-р Реддавей видит в том, что он прибавил к двум, «уже начинающимся революциям, политической и социальной», третью, экономическую, руководствуясь «нереалистичной целью за пару лет трансформировать глубоко укорененную социалистическую экономику в капиталистическую»¹¹. Можно спорить с тем, как сформулирована эта приписываемая Ельцину цель, но мысль ясна. Не ясно только, как представить себе социальную революцию, т. е. коренное изменение отношений собственности (которое м-р Реддавей одобряет) без приватизации государственной собственности, т. е. революции экономической (которую он не одобряет). И как, далее, представить себе приватизацию без одномоментного устранения произвольной советской системы ценообразования, т. е. без шоковой терапии. По каким ценам, в самом деле, стали бы вы продавать частным владельцам государственные предприятия? По административным? Понятно, что осенью 1991-го без шоковой терапии было не обойтись. В чем же ошибка?

Сказав «а», т. е. приняв социальную революцию, Ельцин обязан был сказать «б», т. е. принять революцию экономическую. Ведь он, в отличие от м-ра Реддавея, несет ответственность за судьбу великой державы. И если американский академик (в статьях) может позволить себе роскошь пренебречь элементарной логикой, то президент (в реальной стране) позволить себе этого не может.

Другое дело, что приватизация вполне способна затянуться — в зависимости от развития политических событий — и на пять, и на десять, и даже на пятнадцать лет. Но медлить с ее началом в условиях уже происходящей социально-политической революции — вот что было бы фатальной ошибкой!

Плохо, конечно, что шоковой терапии подверглась страна, совершенно к ней не подготовленная, без всяких обезболивающих средств. Но ставить это в вину Ельцину? Даже не склонный переоценивать роль политики Джеффри Сакс знает, что ответственность лежит на западной бюрократии. Это она поставила помощь России в зависимость от проведения реформы, не удосужившись просчитать последствия. Это она имитировала помощь даже после того, как реформа началась. Разве мог Ельцин, свято, как все тогда в России, веривший в легендарную эффективность Запада, ожидать от него такого подвоха? Разве мог он усомниться в честном слове своих новых партнеров — после того, как честно сдержал свое?

Чудо, смысл которого не оценил м-р Реддавей, заключалось в том, что даже после «марсианского» 92-го русский народ вопреки его предсказаниям **не отказал Ельцину в доверии** (что и продемонстрировал апрельский референдум 93-го).

Но суровый критик бросает в Ельцина еще один камень. Он посмел начать реформы, не дождавшись достижения национального консенсуса по поводу будущего России. Правильно. Но стоило бы задуматься: возможен ли в принципе консенсус в трансформирующейся имперской державе, и уж тем более — по поводу демократического будущего? Чем могли кончиться любые попытки реформаторов найти общий язык со своими непримиримыми врагами, не желающими слышать ни о чем, кроме реставрации имперского авторитаризма? Только одним: никакие реформы в России вообще никогда бы не состоялись.

М-р Реддавей и сам мог бы об этом догадаться. Замечает же он, что «политическая культура Польши... сильно отличается от русской»¹². Но он нигде не сообщает читателю, что разница состоит именно в отсутствии в Польше реваншистской имперской оппозиции. Вновь убедительное на первый взгляд обвинение повисает в воздухе.

Ельцин следовал живой реальности вместо того, чтобы подчинить свои действия старым советологическим клише. Вот, в сущности, к чему сводятся все претензии.

Стоило ли ради этого «открытия» публиковать серию панических текстов, сея чувство беспомощности и безысходности не только среди западной публики, но и в рядах российских реформаторов — совсем другой вопрос.

Читатель едва ли удивится после этого, что ровно никаких политических рекомендаций ни Западу, ни Москве тексты м-ра Реддавея не содержат. Как язвительно заметил его непримиримый оппонент, из-

вестный историк России Мартин Мэлия, «какая политика из всего этого следует, не указано, но предположительно это нигилистическое предоставление России ее собственной судьбе»¹³, делающее бессмысленным — добавлю от себя — любые дискуссии.

Безоблачный оптимизм историка

А теперь обратимся к еще более давним временам, где-то на рубеже 80-х и 90-х годов, и к некоторой суете, случившейся после того, как в «Нью-Йорк Таймс» появилась анонимная статья о русской политике США, подписанная буквой «Z».

Содержание ее было достаточно тривиально для того периода, когда умы западной интеллигенции были сосредоточены не на том, как укрепить позиции российской демократии в стремительно развивающемся в Москве кризисе власти, но — помогать или не помогать Горбачеву. М-р «Z» полагал, что помогать не надо. Как коммунист, считал он, Горбачев не способен развязать в Москве антикоммунистическую революцию, которая в статье почему-то отождествлялась с торжеством демократии. Правда, эта позиция полностью совпадала со взглядами такого, например, убежденного ненавистника Америки и демократии и при этом яростного антикоммуниста, как Игорь Шафаревич. Впрочем, взбудоражили публику вовсе не идеи неизвестного автора. Аноним живо напомнил знаменитую историю со статьей Джорджа Кеннана в «Форейн Аффферс» в 1947 г., со столь же таинственной подписью — «X».

После непродолжительного журналистского поиска инкогнито было раскрыто. Мистером «Z» оказался Мартин Мэлия, профессор русской истории в Беркли. Проработав некоторое время на одной кафедре с м-ром Мэлия, могу засвидетельствовать, что эта маленькая интрига была вполне в его духе. В ней полностью проявились характер и убеждения этого человека, насколько я их постиг. И темперамент, и амбиция непосредственно выйти на политическую арену (присущая, впрочем, многим историкам), и непреклонный антикоммунизм. Коллеги даже уверяли меня, что Мартин Мэлия состоит в каком-то испанском католическом ордена, славящемся крайне правыми взглядами.

Темперамент и амбиции профессора были полностью удовлетворены. Он оказался в первых рядах политических обозревателей по русским делам. А вдобавок и антикоммунизм в России победил. Видимо, все это, вместе взятое, и сделало м-ра Мэлия безоблачным оптимистом, который, естественно, просто не мог не возразить впадшему в панику м-ру Реддавею. Написанную по горячим следам беспощадную и язвительную статью «Нью Рипаблик» напечатала под резким заголовком «Апокалипсиса нет», да еще и присовокупила на обложке — «И почему Ельцин преуспеет».

На чем основан оптимизм м-ра Мэлия? Отчасти — на неприятии традиционного советологического представления о русской политической культуре как сервильной и деспотической. Этот свежий культурологический ревизионизм можно было бы радостно приветствовать, не будь исследователь так робок и непоследователен. Например, ре-

формистские либеральные тенденции в русской культуре он почему-то обнаруживает впервые лишь в середине прошлого века, хотя на самом деле европейский импульс реформы явственно слышен в России с самого начала ее государственного существования. Порою случалось ей даже идти в авангарде европейского политического прогресса¹⁴. Странно для историка России таких вещей не знать.

Другое дело, что история российских реформ вовсе не располагает к безоблачному оптимизму. Проблема с ними в том, что все они без исключения, вплоть до самых великих и драматических, неизменно заканчивались оглушительными поражениями. Даже та самая реформа 1855 г., с которой м-р Мэлия ведет счет, сменилась в 1881 г. свирепой контрреформой. И так было, увы, всегда. Как тень, сопровождали контрреформы каждое движение России к либерализации. И чем радикальней было это движение, тем агрессивнее — и длительнее — контрреформы. Став в феврале 1917 г. демократической республикой, Россия обрекла три поколения на жесточайший авторитарный режим.

Одну из причин этой трагической закономерности, глубоко заложенную в русской политической культуре, называет и сам м-р Мэлия. Как бы плохо людям в России ни жилось, они «все-таки получали некоторое утешение от того, что были гражданами великого государства»¹⁵. Вот и теперь — конец презираемого старого режима переживается, несмотря ни на что, «как национальное унижение, обострившееся из-за новой зависимости России от Запада»¹⁶.

Но ведь именно этим, если говорить о главном, и отличается Россия от Венгрии или Польши, не говоря уже о Боливии. Именно в этом массовом чувстве национального унижения и черпает свою силу реваншистская оппозиция. Именно это непривычное, а для многих непереносимое ощущение «новой зависимости от Запада» она и эксплуатирует.

Не сомневаюсь, что эти жестокие сюжеты хорошо знакомы профессору Мэлия. Но он предпочитает не касаться того, что может ослабить звучание главного для него тезиса — что «Ельцин преуспеет». Всю сложнейшую и чрезвычайно тяжелую тему он закрывает мажорной констатацией: несмотря «на громадность потери в силе и престиже и очень реальную проблему русских, оказавшихся "за границей", реакция была мягкой — по сравнению с реакцией во Франции после потери Алжира или с американской травмой от "потери" Китая»¹⁷.

Так ли? Да, на этапе шоковой терапии российской реваншистской оппозиции действительно не удалось спровоцировать общенациональный бунт, и ее «марш на Москву» провалился. Но разве аналогичное поражение немецкой реваншистской оппозиции в 1923 г., когда провалился ее «марш на Берлин», свидетельствовало о силе веймарской демократии? Разве доказывало оно, что тогдашний президент Германии Фридрих Эберт непременно «преуспеет»?

Впрочем, в анализе политических тенденций, прямо или опосредованно следовавших за пережитым страной шоком, можно обойтись и без исторических параллелей. Достаточно просто суммировать разнородные явления, чтобы возникла напряженная, мало располагающая к розовому оптимизму картина.

Резко ослабли партии демократической ориентации — демократия утратила позиции решающей политической силы в стране.

В оппозицию президенту перешла группа авторитетных в кругах либеральной интеллигенции демократов.

Возник и еще более тревожный феномен: появились «перебежчики» из рядов демократов в реваншистский лагерь, многократно укрепившие его интеллектуальный потенциал.

Парламент практически подчинился реваншистской оппозиции — симптом, особенно опасный на фоне раскола армии.

В кругах, близких к президенту и к власти, сформировалось влиятельное течение «державников», не то чтобы враждебных демократии, но отводящих ей второплановую роль по сравнению с силой и престижем государства.

Реваншистская оппозиция не только количественно выросла. Она укрепилась структурно, глубоко перегруппировала силы и переосмыслила свою политическую стратегию.

Следовательно, не только исторический опыт, но и ход политических процессов в сегодняшней России не позволяют оценивать перспективы либерализации в эпоху Ельцина, и уж тем более после Ельцина, с безоглядным, нерассуждающим оптимизмом. Что же остается человеку, решившему упорно придерживаться именно этого амплуа? Правильно, экономика. Остается заявить, что «превыше всего успех демократии зависит от экономики и успеха шоковой терапии»¹⁸.

Вот почему, наверное, заключительный аккорд статьи Мартина Мэлия звучит вовсе не как вердикт ученого-историка, но как рапорт «узкого» экономиста: «Общество оказалось монетаризованным, реальные цены — не административные директивы — теперь норма. Хотя большая часть имущества страны все еще контролируется государством, приватизация этого сектора набирает темпы, и новый негосударственный сектор быстро развивается рядом с ним. Все эти тенденции уже невозможно остановить, только замедлить»¹⁹.

Джеффри Сакс, я думаю, написал бы такой рапорт лучше. Осторожнее, с более основательной аргументацией. Но и он, как мы уже знаем, все равно обошел бы главные вопросы, для будущего — ключевые. Каковы шансы демократии в пост-ельцинской России? И если шансы эти на глазах убывают, не пришла ли пора обсудить, что делать в такой ситуации Западу?

Соображения отставного государственного мужа

Збигнев Бжезинский в представлении не нуждается. Он служил советником по национальной безопасности президента Картера, преподавал в крупнейших университетах, опубликовал много книг по международным отношениям, Восточной Европе, советско-американскому конфликту. Короче, как рекомендовал его Ричард Никсон, он «один из самых выдающихся экспертов по отношениям Востока и Запада».

Как эксперт по делам российским, однако, он всегда меня настаивал. Надеюсь, что сумею показать — почему.

Начать лучше всего с недавних публикаций Бжезинского, поража-

ющих тем, что различие между антизападной оппозицией и прозападным режимом размывается под его пером до степени, когда отличить их друг от друга становится практически невозможно. Что за притча? Однако у этого странного факта есть объяснение.

Начало перестройки в СССР м-р Бжезинский встретил, мягко выражаясь, без особой приязни, приурочив к этому моменту выход в свет своего нового руководства для **холодной войны будущего**, которое он назвал «План игры». Суть этой игры, ее центральная идея заключалась в том, что примирение в советско-американском соперничестве в предвидимом будущем исключено: «оно будет продолжаться еще много десятилетий»²⁰.

И хотя опубликован был «План игры» в 1986-м, т.е. на втором году горбачевского правления, даже мимоходом не упоминалось в нем о перспективах демократической трансформации России. Даже слабо намека на нее не было, даже робкого предчувствия. И больше того. Следующая книга м-ра Бжезинского, «Большой провал», вышла еще через 3 года, в 1989-м, когда и самые яростные адепты холодной войны начали менять тон. Но и в этом сочинении об успехе плюрализма в России все еще говорится как о наименее вероятном из четырех возможных исходов перестройки. Скорее всего должен был сбыться самый мрачный из этих прогнозов: затяжной кризис и в конечном счете — возвращение к стагнации²¹.

При этом имелась в виду вовсе не только советская «империя зла», шедшая к неминуемому развалу. Именитый автор недвусмысленно говорил о России, о «великорусской империи — переименованной в эту историческую эпоху в Союз Советских Социалистических Республик»²², о «борьбе между Россией и Америкой»²³, о «великорусских геополитических целях»²⁴, по самой своей природе якобы несовместимых с американскими. Но почему? Чем так уж не угодила Россия м-ру Бжезинскому, что он отказал ей даже в гипотетическом шансе на демократическое преобразование? И почему так категорично отвергал он самую возможность хотя бы потепления в российско-американских отношениях, которое такая трансформация неизбежно должна была за собой повлечь?

Дважды так широковещательно высказаться не впопад — чересчур и для менее выдающегося эксперта. Однако предсказания не были сделаны наобум: за ними стояла теория. Почтенная (хотя и вполне тривиальная) геополитическая догма, согласно которой современный русско-американский конфликт является «наследником старинного, почти традиционного и безусловно геополитического противостояния между великими океанскими державами и доминирующими государствами суши»²⁵. Это соперничество, в котором Америка, следуя той же догме, выступает преемницей Великобритании, а Россия — нацистской Германии, есть лишь «современная фаза вековой борьбы за контроль над самым активным в мире континентом [Евразией] — борьба, которая бушует со времени средиземноморской Римской империи»²⁶.

Знает ли, интересно, м-р Бжезинский, что за океаном у него есть двойник? Что геополитические выкладки русского фашиста Александра Дугина, признанного идеолога одной из самых влиятельных групп непримиримой оппозиции («евразийцев»), почти полностью совпада-

ют с его собственными? Единственное отличие в том, что Дугин в поисках точки отсчета русско-американского «исторического соперничества» уходит еще дальше в глубь веков. Для него Россия законно наследует древнему Риму, тогда как в Америке заново воплощается древний Карфаген. Нетрудно догадаться, куда гнет Дугин: новый Рим — Третий Рим, Москва — предназначен разрушить новый Карфаген так же, как это сделал некогда его славный предшественник.

Логика рассуждений, однако, совершенно идентична в обоих случаях — логика хорошо известной игры с нулевой суммой, где выигрыш одной стороны непременно означает проигрыш другой. И поскольку, по словам м-ра Бжезинского, «пришествие ядерного века умерило страсти в этой борьбе, но усилило ее устойчивую, историческую природу»²⁷, — ничто не остановит ее, покуда один из двух врагов не будет поставлен на колени.

Правда, м-р Бжезинский выглядит умереннее своего заокеанского двойника. Он не добивается полного уничтожения «исторического соперника»: «Поскольку в ядерном веке победа в традиционном смысле — анахронизм и поскольку **общее примирение нереалистично**, Америка должна преследовать цель исторически одолеть Москву»²⁸. Но что значит такая тактическая уступка по сравнению с грандиозной и по сути манихейской идеей вечного противостояния «океана и суши», навсегда, как подчеркивает сам пророк, исключаящего возможность «общего примирения», не говоря уже о партнерстве с демократической Россией. Впрочем, какая демократическая Россия? Откуда? Не допускает таких вольностей железная, тупая догма. В этой геополитической вселенной Россия до скончания веков обречена оставаться полюсом, противоположным Америке, — полюсом зла.

Имеет ли эта теория хоть какую-нибудь прогностическую ценность? Можно ли, другими словами, предсказать, опираясь на нее, будущее русско-американских отношений? М-р Бжезинский попытался. В «Плане игры» он предложил целых двенадцать сценариев этого будущего. Многие из них до такой степени экзотичны, что и возражений серьезных не подберешь. Возьмем хоть сценарий № 6: «Возникновение четвертого центрального стратегического фронта на Рио-Гранде»²⁹. Или № 8: «Конвенциональная война на третьем центральном стратегическом фронте. Соединенные Штаты терпят поражение в Персидском заливе»³⁰. Один из краткосрочных сценариев предусматривает «продолжение массированного наращивания советских наступательных и оборонительных стратегических систем, которое может драматически изменить баланс в ущерб Соединенным Штатам к середине 1990-х»³¹...

Одним словом, предусмотрено в планах игры все, мыслимое и немыслимое, кроме одного. Кроме того, что на самом деле случилось. Увы, решающие события произошли очень далеко от Персидского залива, не говоря уже о Рио-Гранде. Они свершились там, где геополитические концепции м-ра Бжезинского никакой почвы для них не предусматривали — в Москве. «Империя зла» приказала долго жить. В России восторжествовали демократические силы. В Кремле возник слабый, но прото-демократический и на удивление проамериканский режим. И на Рио-Гранде все было спокойно, и с Персидским заливом

у м-ра Бжезинского накладочка вышла... Мир оказался перед совершенно новой, ни одним из двенадцати высокоумных сценариев не охваченной ситуацией.

Умерим, однако, свой сарказм. Перед нами — всего лишь — геополитик, профессионально занимающийся корреляцией сил **между** государствами, а вовсе не трансформациями **внутри** этих государств. О широте взглядов это, конечно, не говорит, но геополитика как таковая имела право не догадываться о потенциале российской демократической оппозиции в советские времена, как и теперь, впрочем, имеет право мало интересоваться потенциалом реваншистской оппозиции в России сегодняшней. Не обязана она рассматривать внутренние антагонизмы в политике и общественном мнении. Не за то ей, как говорят в народе, деньги платят. Просчет м-ра Бжезинского состоит, следовательно, лишь в том, что он не учел эту естественную ограниченность своей науки.

Удивительно, согласитесь, для эксперта с такой всемирной репутацией. Но что еще удивительнее — публично оскандалившись, наш герой, как свидетельствует его уверенная статья в «Форейн Афферс» уже в 1994-м, продолжает баловаться прогнозами, по-прежнему строя их на своих излюбленных концепциях!

Поневоле вспоминается старый еврейский анекдот, который лучше всего объяснит нам, что происходит. Вдова жалуется ребе, что ее сын не умеет курить, пить водку и гулять с девушками.

— Так это же очень хорошо. Вы, наверное, самая счастливая мать!

— Ребе, вы меня не поняли. Он ничего этого не умеет. Но он все это делает!

Шутки в сторону, впрочем: м-р Бжезинский не только теоретизирует — он дает четкие рекомендации американскому правительству, и имя его придает каждому предложению немалый вес.

Естественно, политика этого правительства, которая «может быть суммирована следующим образом: цель сдерживания советской экспансии заменена партнерством с демократической Россией»³², этому эксперту не нравится. Он настойчиво советует вернуться к прежней политике, дав ей новое имя — «геополитический плюрализм»³³. Суть этого туманного термина проста: сдерживание новой русской экспансии, ориентированной, как предполагается, на «возрождение империи»³⁴. «Хорошая доза жесткой геополитики будет намного полезней в создании достойной преемницы для исторически преуспевшей стратегии сдерживания»³⁵.

Как видим, именно за пренебрежение геополитикой и готовность партнерствовать с демократической Россией и сердится м-р Бжезинский на правительство: «Сегодняшняя стратегия Соединенных Штатов исходит из неверных предпосылок, сфокусирована на ошибочной стратегической цели и может привести к опасным геополитическим последствиям»³⁶.

Но почему «ошибочная», почему «опасные»?

Оказывается, перспективы «стабильной демократии в России никак нельзя назвать многообещающими»³⁷. Дело в том, что «возникающий капиталистический класс полностью паразитичен»³⁸; «склонность президента Ельцина к авторитаризму преобразовала новую конституцию демократической России в документ, который может с

легкостью быть использован для оправдания произвольного личного правления»³⁹; «имперский импульс остается сильным и даже усиливается»⁴⁰; «особенно тревожна растущая самоуверенность военных, пытающихся сохранить или возродить контроль над старой русской империей»⁴¹. В результате — «если сегодняшние цели российской политики и не могут трактоваться как открыто империалистические, они по меньшей мере прото-империалистические»⁴². В доказательство м-р Бжезинский цитирует «президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который публично заявил — словами, почти рассчитанными на то, чтобы разъярить русских, — что любые разговоры о защите русских, проживающих в Казахстане, напоминают времена Гитлера, который тоже начинал с вопроса о защите судетских немцев»⁴³.

Второе возражение м-ра Бжезинского против «политики партнерства» имеет в виду некий «грандиозный план» русского экспансионизма, угрожающий не только новым независимым государствам в постсоветском пространстве, но и Центральной Европе и самому даже Евро-Атлантическому союзу. Последствия могут быть катастрофическими для Америки. В особенности, если российская «система безопасности будет простираться (как гласит лозунг) от Ванкувера до Владивостока, размывая таким образом Евро-Атлантический союз и позволяя в то же время России стать региональным гегемоном и сильнейшей державой в Евразии»⁴⁴.

Есть, в самом деле, над чем призадуматься бедным американцам!

Правда, м-р Бжезинский ничем этого своего утверждения не обосновывает — ни цитатами, ни примерами, ни вообще чем бы то ни было вещественным. Он даже не сообщает читателю, чей именно этот «лозунг» и этот «грандиозный план». Единственный аргумент — это нежелание России видеть своих бывших союзников членами НАТО, а себя исключенной и изолированной. Но ведь при наличии могущественного военного союза под самым боком, на своих бывших западных границах, такое нежелание естественно. Как отнесся бы м-р Бжезинский к тому, чтобы, скажем, Мексика, Куба, Канада и страны Центральной Америки объединились в военном союзе, а США были бы из него исключены?

Но если человек не ссылается ни на какие источники, это вовсе не значит, что он ими не пользуется. И поскольку никто в сегодняшней Москве не рассуждает об империи от Ванкувера до Владивостока, кроме русских фашистов, не трудно эти источники распознать. Да, именно на экспансионистских планах Дугина и Жириновского строит уважаемый аналитик свои стратегические выводы. Но только приписывает он эти планы — ельцинскому режиму. Странная, согласитесь, ошибка, даже для геополитика. Как выглядел бы в Америке тот, кто захотел бы, скажем, приписать президенту Картеру планы и лозунги американского фашиста Линдона Ляруша?

Идеи экономической и оборонной интеграции постсоветского пространства действительно носят в воздухе во всех столицах новых независимых государств. Есть, однако, два принципиально различных подхода к этой проблеме.

«Евразийский союз», предлагаемый Назарбаевым, предполагает свободную конфедерацию суверенных государств — по модели Европейского союза. Уж если м-р Бжезинский хвалит президента Казах-

стана за независимую позицию, то об этих его проектах он просто не может не знать.

Второй подход, проповедуемый Дугиным, делает ставку на насильственное «собрание империи», на поправление суверенитета новых государств.

Сблизить эти два подхода невозможно. Перепутать тоже. Именно на этом замешано яростное противостояние ельцинского режима и его имперских оппонентов на всех фронтах. В самом деле, мирного решения этот конфликт не имеет.

Неужели же м-р Бжезинский этого не знает? Но почему же тогда, игнорируя все различия, он смешивает оба подхода в один и предлагает своему правительству «сдерживать» не реваншистскую оппозицию, а ельцинский режим? Представляю, как приятно были изумлены русские фашисты, получив столь неожиданную поддержку! Не случайно ведь один из лидеров русского имперского реванша в разговоре со мной признался, что если бы в Америке уже не было «Плана игры» Бжезинского, им пришлось бы его выдумать. И ведь точно, для этой публики изоляция России, подразумеваемая концепцией «геополитического плюрализма», — все равно, что выигрыш миллиона по трамвайному билету.

На этом примере отчетливо видно, как непонимание веймарской природы нынешней российской ситуации дезориентирует даже бесспорно сильные и изощренные умы. Я ведь не спорю с м-ром Бжезинским просто ради того, чтобы спорить. Напротив: считаю, что в изначальных своих послылках он безусловно прав. Сегодняшняя политика США в отношении России нравится мне, как знает читатель, ничуть не больше, чем ему. Я готов подписаться под его точной формулой: «Россия может быть либо империей, либо демократией. Быть и тем и другим она не может»⁴⁵. Растущая самоуверенность российских военных и меня тревожит точно так же, как и его.

Но различия между нами не только в том, что я вижу всю несовместимость Ельцина с Дугиным, а он — нет, он уверен, что у геополитики есть ответы на все вопросы российско-американских отношений, а я так не считаю. Он проходит мимо психологической войны, не берет в расчет губительную националистическую «радиацию», которая уже привела в Москве к опасному отступлению демократии на всех направлениях. Порой мне кажется, что он вообще не подозревает об их существовании, хотя этот веймарский феномен наверняка окажется решающим для судеб второй ядерной сверхдержавы и всего мира.

Имперский реванш, о котором предупреждает м-р Бжезинский, будет абсолютно реален в пост-ельцинской России. Но пока — пока ассоциировать его с послеавгустовским режимом, который, при всех своих грехах, остается покуда единственной силой, способной противостоять ему в сегодняшней Москве, не только логически нелепо, но и политически губительно.

Антирусская позиция — решишь американское правительство последовать этому авторитетному совету — неизбежно нанесет сокрушительный удар по всем либеральным, антиимперским силам в Москве. Она подтвердит, по сути, что ненавистники Запада были правы с самого начала. Прозападные симпатии населения — главная наша надежда — будут полностью развеяны.

И что же можно будет противопоставить грозным силам имперского реванша? Уж не картонный ли геополитический барьер, который м-р Бжезинский предлагает воздвигнуть в бывших советских провинциях? Но ведь полная неспособность такого барьера сдерживать экспансию России была уже доказана экспериментально после 1917-го. «Геополитический плюрализм» тогдашнего образца блистательно провалился во времена Ленина и Троцкого. Так почему он должен оказаться более состоятельным во времена Жириновского и Дугина — в случае, если им будет позволено овладеть Кремлем?

Диалог глухих

Я далек от мысли, что взгляды, которые я кратко здесь изложил, исчерпывают всю палитру мнений западных экономистов, политологов, историков и практических политиков, занимающихся Россией. Многие захотят отмежеваться от них — и с полным правом. Однако, вовсе не факт, что при этом они готовы будут согласиться со мной. Большинство американских экспертов проявляют поразительное равнодушие к опасному ослаблению демократических сил в России, не связывают с ним мыслей об историческом выборе Запада и потому не испытывают никакой потребности включаться ни в какие серьезные дискуссии, не говоря уж о более конкретных шагах.

Причины могут не совпадать. Одним российская демократия представляется не более чем функцией, производным от рыночной реформы и западных кредитов. Другие просто не верят в ее перспективы. Но едины все в одном — имперский реванш в России не существует для них в качестве особого, самостоятельного фигуранта на политической сцене. Никто не знает его аргументов, не понимает его языка, не говоря уже о природе его влияния на страну. И, главное, никто не хочет знать.

Ну давайте попробуем смоделировать диалог, скажем, Мартина Мэлия с Сергеем Кургиняном. Мэлия радостно констатирует: общество оказалось монетаризованным, реформы идут вперед, и эти процессы уже неостановимы. А Кургинян в ответ только что кулаками не машет: для него происходящее не реформы, а война против России, а успех реформ — не победа, а деструкция, дезинтеграция и регресс, ведущий к национальной катастрофе. И что же Мэлия? Объясняет, почему Кургинян не прав? Доказывает, что в планы Запада вовсе не входит постепенное превращение России в «Верхнюю Вольту без ядерных ракет»? Ничуть. Мэлия просто не подозревает об этих аргументах. Понятия не имеет, какой ужас, какое отчаяние, какая боль за ними стоят. И как заразительны эти чувства.

Нет, это даже не извечный российский диалог изоляционистов и западников. Там стороны, по крайней мере, вслушивались в аргументы друг друга — хотя бы затем, чтобы точнее ответить. Тут западники вообще не слышат голоса противной стороны, просто поют, как тетерева на току, — о кредитах, о приватизации, об успехах и неудачах шоковой терапии...

Одни говорят о «войне миров», о сознательном «разрушении России», столкнувшейся с обреченной, «тупиковой» цивилизацией при-

рожденных убийц, о неотвратимой угрозе того самого иностранного ига, которое не сумел навязать Гитлер. И что отвечают им другие? Что общество монетаризовано? Что нужны западные кредиты? Или что надо было подождать с шоковой терапией еще лет десять—пятнадцать? Изобретают новую «политику сдерживания» России? Просто руку опускают. Диалог глухих!

Люди, принимающие решения на Западе, вовсе не обязаны верить мне на слово. Слава Богу, Россия пока что свободная страна. И силу имперского реванша, и его влияние на массы, на армию и политические элиты, и нарастание — в результате этого влияния — антизападных, в особенности антиамериканских настроений в стране вполне возможно измерить по данным опросов. Почему бы, в самом деле, не организовать в России соответствующую всем западным стандартам социологическую службу? И следить за динамикой этих настроений, улавливать их истоки. Прервать диалог глухих! Наладить своего рода обратную связь с публикой России и каждую неделю получать полную информацию, как отразилось в ее общественном мнении любое действие — или бездействие — Запада.

Само уже отсутствие такой социологической службы вполне, мне кажется, красноречиво говорит о том, как варварски распоряжается он, то есть Запад, тем единственным реальным капиталом, который есть у него сегодня в России, — капиталом моральным, капиталом прозападных симпатий ее народа. В конце концов, все благодеяния, о которых хлопочут Джеффри Сакс и Мартин Мэлия, — кредиты, помощь в финансовой стабилизации, технологии — все может быть в один прекрасный день повернуто против благодетелей. И только моральный капитал — никогда. Как же можно позволить себе не интересоваться тем, в каком он состоянии, растет или оскудевает, и если верно последнее, то почему?

Но просто регистрировать еженедельное падение акций на рынке российского общественного мнения — этого, конечно, мало. Нужно еще научиться противодействовать этому падению, противопоставить идеологам реваншизма свои аргументы и свои объяснения. И нужен для этого совершенно другой инструмент. Назовем его условно «службой диалога». Диалога с российской интеллигенцией и с массами, расколотыми, растерянными, дезориентированными марсианским 92-м, индифферентностью Запада и реваншистской пропагандой.

Ни один поступок Запада в отношении России не должен остаться необъясненным в процессе этого диалога. Беспардонная ложь, расширяемая реваншистами («Верхняя Вольта без ядерных ракет»), должна быть нейтрализована убедительными картинками великого европейского будущего демократической России. Все мифические «заговоры» и «войны против России» должны быть беспристрастно исследованы ведущими интеллектуалами и политиками Запада — только так может быть развеяна горечь, накопившаяся в ходе диалога глухих. Люди должны понимать, куда они идут и что их ждет, какие жертвы от них еще потребуются и какое будущее строят они для своих детей. И об Америке им тоже надо знать больше — и глубже — нежели преподносит им массовая продукция Голливуда. (Скажем, «12 рас-

серженных мужчин» несопоставимо предпочтительней в этом смысле очередного фильма ужасов).

Но я, кажется, увлекся. Откуда, на самом деле, возьмется социологическая служба и тем более «служба диалога», если догмы веймарской политики продолжают царить и русский кризис по-прежнему сводится к новым кредитам и шоковой терапии? А с другой стороны — откуда взяться переменам, если у людей, единственно способных их стимулировать, нет даже желания собраться вместе и обсудить происходящее?

Единственная надежда, моя во всяком случае, — на то, что за пределами этого круга есть достаточно талантливых, серьезных и мужественных потенциальных еретиков, способных оценить опасность веймарской политики и бросить вызов ее догмам. И союзников я сегодня ищу — среди них.

Глава четвертая

Гадкий утенок

Я упрекаю западных экспертов, а читатель может обидеться — за российских. Разве нет в России своих моральных и научных авторитетов? Нет сильной либеральной интеллигенции, нет свободной прессы? Вблизи виднее, как наращивает мускулы имперский реванш, меньше вероятность ошибок. Так почему же в поисках союзников я так мало смотрю в сторону России?

Пришло время объясниться. Хотя бы потому, что решающие схватки с силами имперского реванша еще предстоят российской демократии. До сих пор были цветочки. Ягодки впереди.

Если по веймарскому календарю августовское противостояние в Москве 1991 г. было эквивалентно Капповскому путчу в Берлине в марте 1920-го, то кровавая попытка фашистского переворота в октябре 93-го соответствовала, скорее всего, фашистскому «маршу на Берлин» ноября 23-го. Открытые мятежи всегда производят очень сильное впечатление. Но по сценарию апогей конфронтации, пик психологической войны, должен наступить лишь после них.

И ведь точно! Не прошло и года после октябрьского «похода на Москву», как разразился чеченский кризис. Если веймарский сценарий все еще нуждается в доказательствах, трудно представить себе более убедительное. В самом деле, что произошло в высших эшелонах власти? «Партия войны», локализованная прежде, в период путчей и мятежей, в непримиримой оппозиции, стремительно передвинулась вверх, в само президентское окружение, превратившись в «клику» или «мафию», как после начала чеченских событий окрестили ее в Москве.

Аналогичный взлет «партии войны» и решил в свое время судьбу Веймарской республики. Как? А очень просто. Президентская «клика», во главе с генералом Шлейхером и фон Папеном, нашла вдруг общий язык с той самой оппозицией, с которой сра-

жалась в эпоху мятежей. Примирилась, так сказать, с непримиримыми. Что закончилось, как мы хорошо помним, приходом к власти в январе 1933-го лидера этих самых непримиримых по имени Адольф Гитлер.

Разумеется, правительство нового канцлера было коалиционным. И президентская «клика» имела в нем абсолютное большинство. И была она совершенно уверена, что сумеет преодолеть таким хитрым способом кризис власти и в то же время скомпрометировать непримиримых. Эта ошибка оказалась для нее фатальной. Союз с дьяволом привел ее к гибели, не только политической. Не прошло и полутора лет, как генерал Шлейхер был зарезан вместе с женой в Ночь длинных ножей, а Папен сослан в Турцию.

Не одна Чечня свидетельствует, что ядро «партии войны» и впрямь переместилось в Кремль. Теперь уже не только аутсайдер Жириновский проповедует ликвидацию этнического деления России, но и наделенный высокими полномочиями Шахрай. И не только Фронт национального спасения обвиняет Запад в ограблении страны, но и ближайшие сотрудники президента. И не только прохановское «Завтра», но и большинство президентского Совета безопасности ратует за военное вмешательство в постсоветские конфликты. И не только баркашовский «Русский порядок», но и государственная служба контрразведки пишет в секретном меморандуме, что «функционирование зарубежных научных центров в России направляется американскими спецслужбами и Пентагоном в сферу разведывательно-подрывной деятельности»¹.

Не отстают, увы, и либеральная публика. Давно ли, кажется, лишь блаженной памяти «День» мог мечтать о российском Пиночете? А теперь и вполне либеральная «Независимая газета» видит в нем спасителя: «В сложившихся условиях военный переворот в России представляется очень вероятным. Относиться к его перспективе надо спокойно... Переворот выведет из тупика, в который мы попали, откроет новый веер возможностей»². «Новая ежедневная» придумала саркастическую формулу для этого модного настроения либеральной общественности: «Плох тот либерал, который не мечтает о диктатуре»³.

И даже это еще не все. Сам президент, всегда предпочитавший политическое решение конфликтов военному, будь то в Югославии или в Молдове, категорически отвергавший любые планы «партии войны», куда была она сосредоточена во враждебном ему парламенте,— вдруг уступил ее воинственным аргументам, едва зазвучали они в его окружении. Так ведь то же самое было и с президентом Гинденбургом. Он на дух не переносил Гитлера и его шайку. Но когда его «клика» стала доказывать, что сотрудничество с ними жизненно необходимо стране, — позволил себя убедить.

Метафора подтверждается. Выражаясь словами Отто Лациса, «механизм власти сломан»⁴. «Веймарская» Москва дословно воспроизводит все подробности крушения веймарского Берлина. По логике сценария это означает, что слабая, не укоренившаяся демократия России приблизилась к трагическому финалу.

Немецким либералам в 1930-е не удалось его предотвратить. А как выглядят шансы русских либералов? Попробуем их взвесить.

Чудище огромно, стоzeвно...

Для непримиримой оппозиции, как мы помним, враг номер один — Запад. Пока вызревают, трудно и медленно, теории Русского пути, эта ненависть, как общий идеологический знаменатель, соединяет, казалось бы, несоединимое — национал-патриотов, считающих себя наследниками белогвардейцев, с наследниками большевиков, вышвырнувших их с родной земли, «коричневых» нацистов со вчерашними демократами-«перебежчиками», уличных малограмотных скандалистов и боевиков с утонченными интеллектуалами и проповедниками средневековой мистики, православных с язычниками.

Не будем себя запугивать — идеология борьбы с Западом не вышла еще из лабораторной стадии, не стала, по выражению Маркса, материальной силой. Но общие ее очертания уже просматриваются, и родовое сходство с фашистской идеологией, взорвавшей Веймарскую республику в Германии, угадывается вполне.

В начале психологической войны драматургия идейного конфликта более или менее выдерживалась. Российская либеральная интеллигенция старалась не опаздывать со своими репликами, доказывая народу, что не в борьбе, а только в сотрудничестве с Западом Россию ожидает великое будущее. Но конфликт ужесточался, и либералы начали отставать. Пропускать удары. Реваншистские идеологи упорно работают, развивают свою аргументацию. А либеральная интеллигенция все еще пробавляется архаической, диссидентской риторикой. Ее радикальное крыло еще с 1992 г. сосредоточилось на критике Ельцина, обвиняя его в измене демократическим идеалам Августа. После октября 93-го его полку сильно прибыло, а с начала чеченского кризиса антипрезидентские настроения стали едва ли не всеобщими. Оставлена вся работа над проектом великой демократической России. Забыта сама мысль о сотрудничестве с естественным союзником — западной интеллигенцией

18 апреля 1993 г., за неделю до референдума, фашистские погромщики разорили еврейское кладбище в Нижнем Новгороде. Удобнейший, казалось бы, повод для президента — накануне всероссийского голосования продемонстрировать стране и миру свое возмущение, заявить, что в России фашизм не пройдет. Так, во всяком случае, поступил президент Миттеран, возглавивший гигантскую антифашистскую манифестацию после аналогичного бесчинства, учиненного на еврейском кладбище в Марселе.

Однако президент Ельцин не проронил по этому поводу ни слова. Я не знаю, почему. Может быть, его помощники сочли момент неподходящим для публичного конфликта с антисемитами? Евреи, могли они рассуждать, все равно проголосуют за президента. И

либералы тоже. А вот как проголосуют антисемиты — еще неизвестно. Зачем же отталкивать какие-то слои населения перед голосованием?

С точки зрения суетного политического меркантилизма они, возможно, угадали точно. Во всяком случае, лидер «Памяти» Дмитрий Васильев накануне референдума и впрямь поддержал президента. Но как выглядели их расчеты с точки зрения нравственного престижа российской демократии? Как повлияли они на ее будущее? И как должен был воспринять молчание президента имперский реванш?

Сейчас нет ни малейшего сомнения, что воспринял он его как сигнал для атаки. Уже в начале мая «Правда» в нашумевшей статье «Сатанинское племя» впервые с царских времен разбудила черносотенный призрак еврейских ритуальных убийств⁵. А «День», чтоб не отстать от конкурента, сообщил изумленным читателям, что «Антихрист уже родился. В Израиле, в 1962-м. Сказано, что действовать он начнет с 30 лет, т.е. с 1992 г. То, что мы переживаем сегодня — уничтожение России и православия — и есть деяния Антихриста, Князя тьмы, Сатаны»⁶. И сподвижники Александра Баркашова из Русского национального единства открыто объявили себя на телевидении фашистами. А в октябре они уже с автоматами в руках штурмовали это телевидение.

Счет фашистских изданий в сегодняшней России далеко перевалил за сотню. Самые радикальные из них открыто прославляют Гитлера как величайшего государственного мужа XX века. «Окончательное решение еврейского вопроса» рекомендуется России как образец для подражания. Согласно российскому законодательству, пропаганда расизма — преступление. Суды тем не менее, как правило, отклоняют такие иски, когда правозащитники их возбуждают. И даже в тех редких случаях, когда они принимаются к рассмотрению, судьи оправдывают ответчиков. Почему? Объяснение на поверхности. Единственный случай в октябре 1990-го, когда суд вынес обвинительный приговор по такому делу, окончился печально — для судьи. Андрей Муратов, приговоривший погромщика и откровенного поклонника Гитлера Смирнова-Осташвили к двум годам тюрьмы за налет на московский Дом литераторов, вынужден был бежать из Москвы и даже сменить профессию. Удивительно ли после этого, что при всех успехах рыночной реформы 65% евреев, опрошенных в России социологами летом 1993 г., сочли повторение Холокоста вероятным?⁷

А теперь послушаем министра иностранных дел России Андрея Козырева: «Во время визита в республики Югославии с нами ездили журналисты. Рисковали больше всех нас, высовывались, снимали честно в Сараево. И что бы вы думали? Показывать их материал наше телевидение не желает. А перед отъездом там говорили о своей живой заинтересованности. Рассчитывали, видимо, что получится какая-то пропаганда в пользу национал-патриотического режима в Белграде, а оказалось, что из фильма ясно: это югославская армия воюет в Сараево. Такой фильм оказался не нужен»⁸.

Так вело себя то самое телевидение, которое «патриоты» называют не иначе как Тель-Авидение, против которого они демонстрировали, которое они штурмовали. В отличие от Козырева, я вовсе не намекаю, что на телевидении в Москве сидели плохие демократы. Просто они были запуганы реваншистами — так же, как либералы в администрации президента, как судьи и как евреи, ожидавшие Холокоста. Веймарские часы показывают в России двойное время. Одно — для имперского реванша, который еще не созрел для решительного штурма, не обзавелся объединительной идеологией и стратегией и способен пока что лишь на разрозненные пристрелочные залпы. И другое, несравненно более близкое к часу «Х» — для демократов, у которых, по оценке Андрея Козырева, «остается надежда лишь на президента. Он остается единственной скалой, единственной реальной силой, противостоящей течению, и мы все должны сплотиться вокруг него»⁹.

Но если посмотреть на политическую реальность в Москве, так сказать, с птичьего полета, едва ли обнаружатся хотя бы малейшие признаки того, что демократические силы России тоже это понимают, что они всерьез задумываются о приближении часа «Х», когда от них потребуются не только мужество, но и предельная ясность политического мышления.

На что опирается послеавгустовский режим

Страна корчится от боли, митингует, приватизируется, стремительно нищает, проклинает свое прошлое, ужасается настоящему — и не имеет ни малейшего представления о будущем. Она в глубокой депрессии. Она живет без надежды. «Сатанинское время, — жаловался в «Курантах» кинорежиссер Говорухин. — Скоро люди будут умирать только от одного страха перед будущим. Уже умирают. Сколько отрицательных эмоций ежедневно — чье сердце выдержит? И это мы называем демократией»¹⁰.

Все согласны, что Россия на полпути, — но куда?

Долго так продолжаться не может.

Конфигурация политической реальности меняется почти поминутно, словно в детском калейдоскопе. Сегодня события вроде бы движутся в сторону демократизации, завтра в обратном направлении, а послезавтра вообще в никуда.

У Ричарда Никсона не было сомнений, что в августе в Москве совершилась «великая мирная революция»¹¹. В 1992 г. Джордж Буш уверял свою страну: «Демократы в Кремле могут обеспечить нашу безопасность, как никогда не смогут ядерные ракеты».¹² Но кто обеспечит безопасность «демократам в Кремле»? И демократы ли они?

«Демократическая революция добилась победы — но почти сразу же утратила ее плоды. Хуже того — переродилась, тем самым опошлив и скомпрометировав само понятие «демократия», подорвав

доверие к тому, что только и может нас спасти»¹³, — говорит один из искреннейших российских либералов Юрий Буртин.

Ни один из двух лагерей, на которые раскололось после Августа российское политическое общество, не принимает послеавгустовскую реальность, не считает ее своей. Ни национал-патриоты, ни западники, приведшие этот режим к власти.

Правые (по классической терминологии) сразу окрестили его «временным оккупационным правительством». Шапка через всю первую полосу газеты «Наша страна» кричала: «Правительство предательства и позора!»¹⁴ Группа депутатов парламента требовала «возбуждения ходатайства в Конституционный суд об отрешении от должности президента Российской Федерации за предательство национальных интересов России»¹⁵. Юрий Липатников, фюрер Русского союза, объяснял читателю: «Русские вымирают. Полтора миллиона человек в год — наш шаг в историческое небытие. Что же с нами? Нас загрызает чужая оккупационная власть»¹⁶. Александр Стерлигов, лидер Русского национального собора, взывал: «Время бить в колокола!»¹⁷. Депутат Аман Тулеев поднимал народ на бунт: «Как удалось богатейшую и могущественнейшую державу пустить по миру с протянутой рукой и разгромить ее без войны? Почему страну оккупируют хозяева из-за кордона, а народ не защищает ее?»¹⁸ «Наша страна оккупирована», — вторил «День»¹⁹. Даже в феврале 1995 г., уже сменив название на «Завтра», вчерашний «День» твердо продолжал стоять на своем: «Все, что сделано и делается ныне властью, делается в интересах иностранного капитала, кучки жуликов и насаждения торгашеско-потребительской идеологии»²⁰.

Создается впечатление, что в России только имперский реванш точно знает, чего он хочет. Стандартный список обличений «оккупантов» и «хозяев из-за кордона», разгромивших могущественнейшую державу без войны, как только «демократы ударили ее ножом в спину», завершается всегда одним и тем же требованием: создать русское национальное правительство! Другими словами, вывести Россию из тупика способна лишь «партия войны».

Ничего особо интересного в этой логике нет: элементарное повторение задов нацистской пропаганды 1920-х. Интересна реакция, вернее, полное отсутствие реакции либеральной интеллигенции. Я не помню случая, чтобы кто-нибудь из демократов публично задумался: а зачем, собственно, нужна «патриотам» такая очевидная ложь? Какая, к черту, оккупация, когда Запад принципиально отказывается вмешаться в русские дела? Это настолько очевидно, что российские демократы просто игнорируют центральный тезис истерической реваншистской пропаганды — как пустую риторическую фигуру, как полную бессмыслицу. Зря, как мы вскоре увидим. Ибо смысл у этой бессмыслицы есть. И в отличие от либералов, «патриоты» очень хорошо знают, что делают.

Не рвется в бой с правыми либеральный лагерь еще и потому, что он, следуя за своим интеллектуальным авангардом, уже в 1992 г. порвавшим с Ельциным и организовавшим Независимую гражд-

данскую инициативу (НГИ), относится к тому, что происходит в стране после Августа, ничуть не лучше «патриотов». Вот что писал, например, один из самых авторитетных идеологов НГИ Леонид Баткин в газете «Россия»: «Мы присутствуем при кризисе, тупике, исчерпаниии “послеавгустовской” ситуации, которая воплощена в посткоммунистической номенклатуре. [Так оно и будет] пока у власти “демократы”, те же хозяева жизни, что и раньше, необюрократический слой, поглощенный самосохранением и личным жизнеустройством».²¹ В журнале «Столица» Баткин пояснял: «Да, это уже не проклятая партийная власть, не те, о ком мы говорили, чокаясь: “Пусть они сдохнут!” Не те. Но и не подлинно другие. Не тоталитаризм, но и не демократия»²². Я собственными ушами слышал, как один из руководителей Демократической партии России говорил на представительном собрании: «Пожалуйста, не называйте меня демократом, мне это неприятно».

«Мы не сумели распорядиться своей свободой»²³, — обосновывал эту противоестественную просьбу Юрий Буртин. И уточнял в резкой статье в «Независимой газете» под характерным заголовком «Чужая власть»: «С этой нынешней властью нам не по пути. Ее нужно менять».²⁴ И лидер НГИ Юрий Афанасьев занял ту же позицию: «Новая власть все больше обнаруживает разительное сходство с прежней, неколебимо управлявшей Союзом ССР до 1985 г.»²⁵

Для «патриотов» воевать с послеавгустовским режимом естественно: они в Августе проиграли. Но ведь отвергают его, как видим, и наиболее артикулированные демократы!

На что же в таком случае опирается режим, который на Западе по-прежнему считают продолжением «великой мирной революции»?

На демократических политиков умеренного крыла? Но ведь и тут спутала все карты чеченская война. Даже пропрезидентский «Выбор России» резко против нее протестовал, а некоторые из его выдающихся деятелей открыто, по сути, выступили против режима. Сергей Юшенков заявил, что на Россию опускается тьма тоталитаризма. Анатолий Шабад добивался экономических санкций Запада против Москвы. Логика самоубийц: Шабад прекрасно понимал, что «если ввести экономические санкции, противники демократии усилятся, они захватят окончательно президента под свой контроль, прогонят реформаторское крыло [в правительстве], похоронят реформы»²⁶, — и все-таки именно на этом настаивал. Исходил он (как оказалось, ошибочно) из того, что раз уж чеченская война все равно положила конец российской демократии, то остается только погибнуть с честью. Не говорю уже о Григории Явлинском, который публично требовал в Думе отставки президента.

Так, может быть, возникающая социальная сила, предпринимательский капитал способен стать опорой режима, оказавшегося в политическом вакууме, атакуемого справа как «оккупационный» и слева как «чужая власть»? Нет, и здесь все зыбко и ненадежно. «Патриотическое» крыло президентской администрации и

сильные финансовые группировки состоят между собой в непримиримой вражде. Новоявленные предприниматели так же расколоты, как и старые директора заводов. Сошлюсь еще на один авторитет НГИ, Марину Павлову-Сильванскую: «Часть предпринимателей... усматривающая в беспрепятственности внешней торговли свой главный источник обогащения, вступает в противоречие с теми, которые намереваются развивать собственное производство. В расчете на ту или иную форму протекционистской политики будущего последние начинают поддерживать национал-патриотов»²⁷.

Протекционистские вожеления российских предпринимателей делают их сомнительными партнерами и в глазах Александра Лившица, экономического советника президента: «Поскольку никакой государственной стратегии нет, политическая сила, которая умело разыграет тему защиты "своего" производителя, сможет опереться на большие деньги тех, кто не хочет делиться с иностранцами. Эта тема станет самым ходовым политическим товаром, который будет предложен избирателям на выборах 1995-96 гг.»²⁸

Впрочем, и предпринимателей-экспортеров логика борьбы за передел собственности порой толкает в объятия «патриотов». Вот лишь один пример. Компания «Юганскнефтегаз» была в 1994-м главным претендентом на контроль над вторым по величине в России Приобским месторождением. За нею стояли премьер Черномырдин, первый вице-премьер Чубайс, Всемирный банк и американский гигант АМОКО. У кого, спрашивается, было в такой ситуации искать защиты основному сопернику этой компании, «Югранефти»? Не буду интриговать читателя: у Жириновского и его ЛДПР. Вот что писали в ноябре 94-го авторы «Русского рыночного комментария»: «Существует опасность, что произвольное решение президента Ельцина — в попытке улестить ЛДПР — может отдать контроль над Приобским месторождением «Югранефти»²⁹.

Неважно, кто побеждает в подобных схватках. Важна тенденция. Важна произвольность, непредсказуемость режима, своими руками толкающего российских предпринимателей к непримиримой оппозиции.

Еще сложнее предсказать, как поведет себя в критический момент дезориентированная и расколотая чеченской войной армия, не говоря уже об измученных перманентным кризисом и на глазах утрачивающих доверие к режиму массах.

Приходится согласиться с Козыревым: единственной надеждой остается президент.

Можно, конечно, положить на эту же чашу весов и раздробленность антизападной оппозиции, ослабленной яростной фракционной борьбой и отсутствием объединительной идеологии. Время, однако, работает на нее.

На что будет опираться режим после Ельцина, не объяснит нам сегодня в Москве никто.

Кое-что о юных лебедях

Я не знаю более точного образа для новорожденной демократии, чем знаменитый персонаж из сказки Ганса-Христиана Андерсена. Вылупившись на свет божий в утином гнезде, лебеденок так сильно отличался от своего семейства, что выглядел уродом — не только в глазах всего птичьего двора, но и в своих собственных. Утиное общество презирало его и потешалось над ним. А другого общества у него не было. И некому было объяснить бедному малышу, что все еще у него впереди — и красота, и слава, и свобода. Умри этот гадкий утенок в первую страшную одинокую зиму, таким бы его все и запомнили.

Такова судьба всех демократий веймарского толка, высиженных, к ее вящему изумлению, «уткой» вековой авторитарной традиции в имперской державе XX века. Разве не гадким утенком была китайская демократия, провозглашенная Сун Ятсеном в 1911 г., или японская демократия в 1912-м, в так называемую эру Тайшо? А новорожденная российская демократия 17-го? Разве не ужасала она сама себя инфантильностью, продажностью и некомпетентностью в тот краткий исторический миг между февралем и октябрём, покуда не сгубила ее зима диктатуры? Я не говорю уже о веймарской демократии в Германии — слабой, растерянной, презираемой своими собственными интеллектуалами, неспособной предотвратить даже серию террористических убийств лучших своих сыновей.

У Андерсена Гадкий Утенок с грехом пополам пережил-таки отчаянную голодную зиму. Выдержал, другими словами, испытания переходного периода. Но то в сказке. В реальной жизни гадкие утята новорожденных демократий веймарского толка не выдерживают. Погибают, так и не узнав, что родились лебедями.

Почему же должна нас удивлять уязвимость послеавгустовского режима? Так ведь оно всегда бывает с гадкими утятами, которых бьют все, кому ни лень, и справа, и слева, обрекая тем самым на неминуемую гибель. И если не приходит им вовремя на помощь лебединая стая, то, кроме стремительно угасающей популярности харизматического лидера, опереться им и в самом деле не на что.

Функция послеавгустовского режима

Можно понять Леонида Баткина, когда он жалуется: «Многих из нас приводят в отчаяние не цены, а притворство, игра в демократию, корыстолюбие, напыщенность, привилегии, сохранение прежних нравов и структур»³⁰. Конечно, это неприглядное зрелище. Но что если бы Августовскую революцию оседлали идеалисты-бессеребренники, вроде Сен-Жюста или Робеспьера, а не нынешние заурядные и

грешные чиновники, многие из которых сделали свою карьеру при старом режиме? Как мы знаем из опыта других революций, идеалисты на их месте были бы куда опаснее. И чего вообще можно ожидать от политического класса, едва вышедшего из лона векового авторитаризма как кость от кости и плоть от плоти прежней правящей элиты?

В отчаянье это может привести только того, кто смешивает два совершенно разных вопроса, на которые история, естественно, и ответы дает разные.

Могут ли эти лидеры переходной эпохи — а многие из них искренние реформаторы, этого и Баткин не отрицает, — могут ли они при всех своих грехах вести страну в направлении демократии?

И совсем другой вопрос — способны ли они вывести ее из фазы «гадкого утенка»?

На первый — история отвечает в принципе утвердительно. Правда, республиканская Россия продержалась лишь девять месяцев, но из этого ничего не следует. В тайшоистской Японии или в веймарской Германии эпоха перехода продлилась до пятнадцати лет.

На второй же вопрос у истории нет пока иного ответа, кроме отрицательного. Это чувствует и Баткин — на основании одного лишь горького опыта, без всяких исторических аналогий и метафор: «Можно ли полагаться на то, что политики, которым настолько недостает социального такта, вытянут нас из ямы? Поверить в это все труднее и труднее»³¹.

Кто спорит, с социальным тактом у нового политического класса России напряженно. Неловко, чтоб не сказать стыдно, было видеть бывших демократов, заселявших на второй день после переворота царские хоромы и сиятельные кабинеты. Самоубийственно дразнить народ в тяжелый для него час. Елена Боннер пыталась объяснить это на пальцах: «Как можно российским властям вселяться на Старую площадь? Представьте — однажды утром по радио прозвучит призыв: “Все на защиту Старой площади!” И кто на него откликнется?»³². Не поняли.

Но разве социальный такт — единственное, чего недостает новым правителям? Как насчет политического опыта? Будь у них такой опыт, разве позволили бы они «патриотам» перехватить в 92-м политическую инициативу, завоевать московскую улицу, до Августа безраздельно принадлежавшую демократам? И ведь даже не попытались по-настоящему бороться за нее с «патриотами», не осознали, что в стране идет психологическая война, а где война, нужна стратегия. Где их стратегия?

«Правительство русских националистов означает конец России», — писал Леонид Радзиховский³³. Но сумела ли новая власть объяснить это народу? К сожалению, с интеллектуальной подготовкой у нее тоже серьезные проблемы. Во всяком случае, до понимания, что в конечном счете судьба ее зависит не столько от успехов шоковой терапии, сколько от способности вернуть народу утраченную надежду, она не поднимается.

Не понимает эта новая власть и себя. Свою природу, соответствующую эпохе перехода. Свою действительную функцию в россий-

ской истории. Если прислушаться к истории, функция переходного режима вовсе не в том, чтобы «вытащить страну из ямы». Для этого ему и вправду потребовался бы весь набор жизненно важных качеств, начиная от социального такта и кончая высшей политической школой. Но его реальное историческое предназначение скромнее. Оно лишь в том, чтобы продержаться, не уступить страну непримиримой оппозиции до момента, когда лебединая стая придет на помощь молодой российской демократии.

Но это, как мы уже знаем, другой сценарий — не веймарский, а, так сказать, боннский, т. е. образец благополучной демократической трансформации послевоенных Германии и Японии, таких же тоталитарных монстров, каким была до 1985-го Россия. Почему в 40-е они выиграли ту самую психологическую войну, которую вчистую проиграли в 20-е? Что изменилось за два десятилетия? Только одно: на этот раз стая не бросила гадких утят на произвол судьбы. Это она «вытащила из ямы» Германию и Японию, а вовсе не их слабые, расколотые и двуликие переходные элиты.

Новый российский политический класс имеет право этого не понимать. Он просто не обучен мыслить в таких категориях. Гораздо хуже, что не понимает этого и либеральная оппозиция, сосредоточившая в себе квинтэссенцию отечественного демократического интеллекта. А между тем и в веймарском сценарии, и особенно в его превращении в боннский ей отводится едва ли не решающая роль.

Либеральная риторика

Российские либералы весь свой пыл отдают критике режима, изобличая его в предательстве идеалов Августа.

Но функция либеральной оппозиции не в том, чтобы воевать с гадким утенком. Не для того она необходима. Ее дело — счищать ту накипь, которая неизбежно обволакивает его, как обволакивает она всякий переходный режим. Он вовсе не объект морального негодования. Он — обыкновенный политический инструмент, которым, как показал, в частности, чеченский кризис, «партия войны» научилась пользоваться, а демократы нет.

Такова функция либеральной оппозиции, которую она не исполняет.

Не справляется она и с другой важнейшей своей задачей — противостоять изоляционизму. Достаточно беглого знакомства с ее идеями, чтоб убедиться — уже в 1992—1993 гг. заняла она ту же изоляционистскую позицию, что и режим, который ей полагалось просвещать в интересах демократической трансформации страны. Уже тогда она фактически санкционировала эту опасную тенденцию своим интеллектуальным авторитетом.

Это тем более непростительно потому, что перед глазами у нее был опыт российского бизнеса. Ведь каких-нибудь пять лет назад деловая элита России была не лучше знакома с хитросплетениями сов-

ременного бизнеса, чем политическая ее элита — с тонкостями современной политики. Но деловая, на ее счастье, не страдала комплексом «сами с усами». Она четко осознала свою неадекватность, дружно устремилась в школу совместных с западными бизнесменами предприятий и за самый короткий срок сумела перескочить, так сказать, из приготовительного класса в аспирантуру. А что касается элиты политической, то она ничего не осознала, никуда не устремилась, никакой школы не проходила и, судя по нынешним ее эскападам, проходить не собирается. В результате дальше нулевого класса она не пошла и осталась на том же любительском уровне, на каком была до Августа.

Конечно, политике труднее учиться, чем бизнесу, где нет таких головоломных проблем, как «национальные интересы», «патриотизм» и т. п. Так тем более нельзя к ним подступаться, не владея современной методологией, ее интеллектуальным инструментарием, навыками стратегического, а не сиюминутного мышления! Российская деловая элита все это худо-бедно приобрела, политическая — нет. Багаж ее остался тем же, что и пять лет назад. И в результате руководители послеевгустовского режима используют методы, почерпнутые из опыта советского руководства, а их либеральные оппоненты — из опыта советского диссидентства.

Все, что предлагаю я на протяжении последних пяти лет, сводится по сути к идее совместного политического предприятия российской и западной интеллигенции. Но эту идею либеральная Россия не поддержала. Тем самым она отвергла политическую школу не только для правящей элиты, но и для самой себя. Даже такой, казалось бы, искушенный в мировых делах либерал, как Андрей Козырев, и тот путает западную интеллигенцию с ленивой и равнодушной западной бюрократией: «Зарубежные наши партнеры, что они действительно могут сделать для нас? Какое-нибудь нелепое заявление, которое вызовет только раздражение здесь и антизападные настроения: да что вы лезете под руку, когда мы и так мучаемся? Помочь-то вы ничем не можете конкретно»³⁴.

Что могло из такой необразованности произойти? Да то, что и произошло: либеральная Россия отказалась бороться за послеевгустовский режим. Собственными руками она отдала его той самой накипи, которая за эти пять лет его обволокла. Как горько заметил Анатолий Приставкин, «сами мы, те, кто считает себя демократами, отдали президента в лапы силовых структур»³⁵.

Даже не попытавшись найти на Западе истинных союзников в борьбе с непримиримой оппозицией, либеральная Россия пошла по привычному с диссидентских времен пути разоблачения начальства.

«Чтобы вырваться из ложной альтернативы “Ельцин или правые”, создать возможность выбора в пользу подлинной демократии, не надеясь на квазидемократическую власть, нам необходимы серьезные интеллектуальные усилия, — поучал единомышленников Юрий Афанасьев. — Правительство на них явно не способно... На прорыв в цивилизацию должны найти в себе силы мы сами. Общество должно избавиться от иллюзий в отношении послеевгустовских политиков и само отыскать путь своего становления. Мы обязаны сами найти в себе силы для трезвой самооценки»³⁶.

Можете вы, читатель, представить себе на минуту, что произошло бы с российским бизнесом, займи деловая элита страны такую же изоляционистскую позицию? Если б она тоже гордо заявила, что «мы должны сами найти в себе силы», «сами отыскать пути своего становления» и т. п.? Да просто не было бы в России сегодня современно-го бизнеса — как нет современной политики.

Я не говорю уже о том, что ни от Афанасьева, ни от какого бы то ни было другого лидера либеральной оппозиции никто никогда не слышал объяснений, как, при помощи каких именно социальных сил и на какие политические альянсы опираясь, могло бы общество «само» прорваться в цивилизацию, борясь одновременно на два фронта — против «квазидемократической власти» и против непримиримой антидемократической оппозиции. А без такого анализа и без такой стратегии — что же остается от всех этих гордых деклараций, кроме риторики, которой страна и без того сыта по горло?

Немного теории

Поставим теперь на место московского либерала выпускника политической школы, о которой мы только что говорили. С чего бы он начал анализ? Конечно же, с определения ситуации. Если в Августе и впрямь победила демократия, то Афанасьев прав — Ельцин действительно ренегат. Но ведь не было такой победы, и либеральная оппозиция превосходно это знает. В противном случае, зачем бы ей было жаловаться на «квазидемократическую власть», которую, по ее собственным словам, «надо менять»? Зачем называть режим переходным? Ведь даже семантически получается нелепость. От чего к чему, спрашивается, нужно было бы переходить России демократической?

Если же перед нами не демократия, то что именно? Тут грамотный политик первым делом заглянул бы в прошлое, в наличный опыт человечества, зафиксированный в сотнях доступных теперь исторических трудов. Что происходит во всех сопоставимых с Россией имперских державах, объявивших себя в момент жестокого кризиса демократическими? Какая в них приходит к власти политическая элита? Известно, какая, ответила бы ему история. То, что является на исторической сцене после такого рода революций, походит на демократию не более, чем гадкий утенок на лебедя. Есть в политическом словаре специальный термин: прото-демократия (т. е. зародыш, семя, потенция, возможность демократии). А что до новой элиты, то она, по определению, переходная, смешанная, включающая и реформаторов, и деятелей старого режима, а наряду с ними также и «патриотов», т. е. консервативных революционеров, представителей имперского реванша.

Рождение демократии — процесс, а не одномоментное действие, как могло казаться в романтическом Августе. На самом деле антикоммунистическая революция была лишь стартом, лишь первоначальным толчком этого процесса, а вовсе не его

торжеством и тем более не завершением. Как и должно было случиться, явилось после нее на свет нечто странное и двуликое, временное, транзитное, если угодно. Есть свободная пресса, но нет независимого суда. Есть частная собственность, но нет институтов, обеспечивающих ее адекватное функционирование. Есть парламент, но возможности всерьез контролировать исполнительную власть у него нет. Есть почти демократическая конституция, но нет аутентично демократического правящего слоя. Есть множество политических партий, но ни одна из них (кроме разве что уходящей корнями в старый режим коммунистической) не имеет устойчивой социальной базы. И самое важное отличие от стабильных демократий: переходный режим находится под огнем оппозиции **непримиримой**, т. е. оспаривающей не те или иные детали демократического порядка, но **само существование**.

Короче, политическая реальность, в которой назначено действовать либеральной оппозиции в России, — это пока лишь строительный материал. Глина, из которой можно вылепить демократию. Не больше того. Но и не меньше. На глину не обижаются, она этого все равно не поймет. Ее не ревнуют и не обвиняют в ренегатстве. Пригодна она лишь для того, чтобы с нею работать. Затем и нужна политическая школа: она учит, как это делается.

Похоже, в этой абстрактной на вид словесной путанице и коренится драма либеральной оппозиции, подменяющей политическое действие бесплодной риторикой. В угаре критического красноречия она даже не замечает, как опасно ее обличения сливаются с оголтелой антидемократической фразеологией правых. Задолго до Буртина, назвавшего свою гневную статью «Чужая власть», точно то же выражение употребил в «Дне» фюрер Русского союза Юрий Липатников. И это сходство, увы, идет гораздо дальше языковых совпадений.

Афанасьев, например, возмущается, что режим «предлагает нам набор неких клочкообразных решений в опоре на рекомендации Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, словно забыв о том, что в этих организациях сидят вовсе не филантропы»³⁷. Как это понимать? Можно ругать западные финансовые организации за многое: за консерватизм, за политическое невежество, за бюрократическую спесь. Но упрекать их в корыстности — разве не было это до сих пор исключительным доменом правых?

Афанасьев, однако, идет дальше, неожиданно соглашаясь с центральным тезисом непримиримых: «Приходится констатировать, что в шуме "патриотов" о перспективе превращения России в сырьевой и мускульный придаток мирового рынка больше правды, чем нам хотелось бы»³⁸. Конечно, не решается он, в отличие от «патриотов», выговорить вслух, кто же именно «превращает Россию в придаток». Но кто же еще может стоять за этим умолчанием, как не дежурный злодей «патриотической» пропаганды — алчный и озабоченный лишь собственной выгодой Запад?

Моральный потенциал Запада

Вот мы и приехали. В яростном своем неприятии гадкого утенка даже интеллектуальная элита России — законные наследники ее великой либеральной традиции, ее западники — оказываются вдруг в одной лодке с «патриотами». Как могло это случиться?

Похоже, что ориентация на «сделай сам» (в политическом словаре она и называется изоляционизмом) подчинила их своей коварной логике. А подчинившись, забыли они среди прочего, что Запад — это не только стремление и умение делать деньги, но еще и убежище морального идеализма. Никто из наблюдавших хоть однажды мощные взрывы этого идеализма во времена естественных катастроф и общего горя не посмеет в этом усомниться. Достаточно вспомнить хоть некоторые из знаменитых бунтов западной интеллигенции — против фашизма в республиканской Испании в 30-е, против расового и гражданского неравноправия в Америке в 60-е, против вьетнамской войны в 70-е, против апартеида в ЮАР в 80-е, против сербских этнических чисток в Боснии в 90-е. Десятилетие за десятилетием оказывалось, что вполне благополучные граждане свободного мира способны бескорыстно подняться и пойти умирать за свободу и справедливость — и дома, и за океаном.

Нет, неправда, что западная интеллигенция вдруг оглохла или очерствела, что нет в ней сочувствия к страдающей России. Проблема в том, что она дезинформирована и дезориентирована. Никто никогда не объяснил ей внятно и убедительно, насколько серьезна угроза русского фашизма, никто не позвал ее на помощь. Она элементарно необразованна в русских делах. Именно потому так пуста политика западных правительств, так поглощена строительством капитализма в России — вместо борьбы с русским фашизмом. Именно потому она так бюрократически безынициативна, бестактна и несерьезна.

Разумеется, этот рыночный идиотизм выгоден «патриотам». Но почему не подняли на борьбу с ним западную интеллигенцию российские либералы? Почему не стал он толчком для их просветительской миссии? Кто, кроме них, способен информировать и ориентировать западную интеллигенцию, разбудить ее к действию, убедить, что демократическая трансформация ядерной сверхдержавы — это для нее не только вопрос личной безопасности, но и моральный императив?

Я не утверждаю, что это просто. Я по собственному опыту знаю, как это невообразимо трудно. Все, что я говорю, можно свести к одному элементарному соображению: если верить истории XX века, другого способа спасти демократию в России не существует. И тем не менее российская либеральная элита даже попыток таких не сделала...

Что такое западная интеллигенция?

Американские скептики спрашивают меня: кого на Западе называете вы естественным союзником либеральной России? Кого, собственно, призвана она просвещать и будить? Это резонные вопросы. В американском издании этой книги я отвечаю на них так.

Не случайно, конечно, сам термин «интеллигенция» родился и все свои харизматические черты обрел в России. На протяжении столетий Россия была символом закрытого и угнетенного автократией общества. Чтобы выжить, ее моральный идеализм должен был сфокусироваться в специальной страте, в определенной группе интересов, если угодно. Только интерес этой группы был в действительности не ее собственный — но обездоленной нации, которую она представляла. И человечества тоже. Это, надо полагать, и обусловило национальное и общечеловеческое величие русской литературы. Интеллигенция в России стала как бы коллективной совестью народа.

Открытые общества не нуждаются в такой специальной страте, способной защитить моральный идеализм в перманентной войне на два фронта — против угнетателей наверху и конформистского большинства внизу. Вот почему пламя этого идеализма рассеяно в демократическом обществе по всем его стратам. Рассеяно, но не угасло — хотя бы потому, что народы, позволившие ему угаснуть, гибнут. И вот почему я называю этим родовым русским именем «интеллигенция» хранителей этого пламени на Западе, будь они богатыми или бедными, принадлежи они к преуспевающим слоям или к непреуспевающим, называй они себя интеллектуалами, как во Франции, или либералами, как в Америке.

Короче, мой ответ американским читателям звучит примерно так: интеллигенция, о которой я говорю, — вы. Другими словами, западная интеллигенция — это все, кто живет не хлебом единым. Все, для кого неприятие угнетения на этой земле — и фашизма как самого омерзительного из его проявлений — чувство личное и требующее действия. Может быть, лучше других выразил это чувство бывший сенатор от штата Вермонт Роберт Стаффорд: «Америка восстала против рабства не потому, что сочла его невыгодным, мы запретили детский труд не из-за того, что овчинка не стоила выделки. Мы сделали это потому, что деньги — не единственная ценность на земле, иногда они наименее важная ценность»³⁹.

Добавим к этому лишь один пример. Разве не интеллигенты на Западе недавно вынудили — многочисленными и страстными демонстрациями — свои правительства и институты отозвать инвестиции из Южной Африки? Не из-за того, что деньги не приносили там прибыли — приносили, и еще какую! — но лишь потому, что чувствовали себя некомфортно на одной планете с такой мерзостью, как апартеид.

Такова, как я это вижу, главная политическая база России и ее демократии на Западе. Та самая, которую российская либеральная элита не сумела разглядеть, не говоря уже о том, чтобы поднять на великую борьбу против фашизма.

Чеченский экзамен

К «патриотической» травле гадкого утенка демократы присоединились не сразу. В 92-м критические залпы группы Афанасьева (к которой в 93-м примкнула группа Глеба Павловского) воспринимались публикой скорее как полемический перелест, как «детская болезнь левизны».

Действительный разрыв демократов с режимом наступил в связи с тяжелым поражением, которое потерпела либеральная бюрократия в ельцинском Совете безопасности (СБ) 7 декабря 1994-го. В этот день победило в нем большинство, немедленно окрещенное в либеральной прессе «партией войны» (варианты — «мафия», «клика», «ближайшее окружение президента»). Как бы ни называли его, однако, победа его означала, что режим взял курс на силовое решение чеченского конфликта. На горизонте замаячила война.

Тут уже в дело вступила тяжелая диссидентская артиллерия, главные либеральные авторитеты страны, неколебимо до тех пор поддерживавшие Ельцина. Я говорю о членах Президентского совета Сергее Ковалеве и Елене Боннер, о знаменитых либеральных публицистах Отто Лацисе и Крониде Любарском, об НТВ и вообще о подавляющем большинстве либеральных средств массовой информации. Такую же позицию заняли и лидеры обеих крупных демократических фракций в парламенте Егор Гайдар и Григорий Явлинский. И, конечно же, в статье «Момент отчаяния для ельцинской клики» в «Нью-Йорк Таймс» — Питер Реддавей, давно уже, как помнит читатель, превратившийся в штатного предвещателя Страшного суда для российской демократии.

Но если для Реддавея Чечня была лишь поводом для очередной истерики, то российские либералы действительно на этот раз патროнов не жалели и пленных не брали: «Война в Чечне — война против России!» — под такой шапкой уже 9 декабря вышли проельцинские до того «Известия»⁴⁰. «Партия войны объявляет войну России», — вторила либеральная «ЛГ»⁴¹. «Власть реформаторов в России традиционно становится сначала властью ренегатов, а затем — дегенератов», — резюмировала «Новая ежедневная»⁴².

Не менее примечателен, однако, был общий психологический фон, на котором происходил этот разрыв либеральной интеллигенции с Ельциным. Поворот к изоляционизму, на который лишь намекал Афанасьев, в конце 94-го стал декларироваться открыто, даже, если хотите, с гордостью. Бесхитростнее всех сделала это газета «Сегодня», опубликовав перед самой чеченской войной своего рода редакционный манифест либерального изоляционизма.

«Закончился первый этап трансформации посткоммунистической России, — говорилось в нем, — начинается принципиально новый. Первый этап — курс на быструю вестернизацию, вхождение в Европу, абсолютно прозападная ориентация [был связан] с огромными надеждами на решающую западную помощь и западную солидарность со страной, сбросившей коммунизм, отпустившей на волю всех, добровольно и радостно капитулировавшей в холодной вой-

не... Этот период закончился поражением и разочарованием. Поражением Запада, который полностью упустил возможность мягкой интеграции России в “западный мир” и поставил те политические силы, которые рассчитывали на западную перспективу, в положение заведомых политических аутсайдеров. Не получилось. Начавшийся сегодня этап трансформации — национальный этап. Россия будет выходить из самого тяжелого своего кризиса самостоятельно, без всякой поддержки извне»⁴³.

Разумеется, авторы этого сочинения прекрасно понимали, что «национальное развитие с неизбежной долей автаркии чревато опасностью весьма экзотических форм самобытности, не ограниченных цивилизацией и здравым смыслом» (сказали бы уж прямо — фашизмом), однако, разочарование в Западе так живо и горько в них, что они тут же и предложили читателям альтернативу. И пусть она полностью противоречит историческому опыту, но зато утешает. «Национальное развитие, — провозглашает Манифест, — создает невиданные ранее перспективы для русского либерализма, для построения действительно свободной экономики и органичной общественной структуры, опирающихся на естественные традиции, на национальные культурные ценности».

Неясно, правда, какие такие «естественные традиции» либерализма удалось им отыскать в полутысячелетней и неизменно авторитарной имперской истории. И на какие именно «национальные культурные ценности» мог бы опереться русский либерализм, согласившись с «неизбежной долей автаркии» и порвав тем самым со всемирной традицией либеральной мысли. Но доказательств вообще нет, одни декларации: «Избавившись от социальных конструктивистов, навязывающих России свои “модели” от американских до китайских, Россия может реализовать преимущества, которых лишены практически все остальные страны... Нам больше не надо подбострастно оборачиваться на Запад, опасаясь получить двойку по “демократии” или по “внешне-политическому поведению”. Период обучения жизни закончен, все, что могло быть воспринято, уже воспринято. Нуждаясь в партнерах, мы больше не нуждаемся в менторах»⁴⁴.

Вот так. На Запад, на его интеллектуальный и политический опыт, на его моральный потенциал махнули рукой. Устали ждать. Отождествили его с пребывающей в ступоре бюрократией. Решили впредь полагаться на самих себя. Тем более, что есть, оказывается, у России «преимущества, которых лишены практически все остальные страны».

Объяснить, что за уникальные преимущества имелись в виду, не успели — грянула Чечня.

Кончилось время деклараций. Наступила пора сурового экзамена на интеллектуальную компетентность и политическую состоятельность.

Сумеет ли «сами» найти выход из кризиса — не подрывая позиции послеевгустовского режима (который, пусть плохо, но все же защищает нас от цензуры и не заставляет писать гимны имперскому реваншу), без того, чтоб расплываться с либеральной бюрократией

(которая худо-бедно, но все же представляет «наши» интересы при дворе Ельцина), и самое главное — без кровопускания в отделившейся Чечне (которая, хотя и далеко от Москвы, но все-таки Россия)?

Я вовсе не говорю, что задача, вставшая перед российской либеральной мыслью после поражения 7 декабря, была проста и легко разрешима. Но возникла она, с другой стороны, тоже не вдруг.

Чеченская туча появилась на горизонте за три года до этого поражения, когда в ноябре 91-го Джохар Дудаев — в отличие от руководителей всех других регионов страны — отказался от любой формы внутрироссийской автономии и объявил Чечню независимой. Так что время подготовиться к экзамену, выработать демократическую чеченскую политику было.

Послушаем теперь Леонида Жуховицкого, который в статье «О Чечне без истерики», кажется, единственный в Москве перевернул-таки проблему, стоявшую перед либеральной Россией на протяжении всех этих лет, с головы на ноги: «Почему никто даже задним числом не пытается дать властям предержавшим спасительный совет? Как не надо было поступать, понятно — так, как поступали. А как надо было? Где конкретно ошиблось правительство? Что прогляпил президент?»⁴⁵. И впрямь, как это вдруг получилось, что никто никогда не предложил конструктивной альтернативы чеченской войне — ни до того, как она началась, ни даже после того, как она потрясла мир?

Это тем более странно, что проблема ведь бросается в глаза. Весь мир стоит перед такой проблемой — как совместить два абсолютно законных, можно сказать, священных принципа: территориальной целостности государства и самоопределения его этнических меньшинств? Несмотря на ее очевидность, бывший Верховный Совет откровенно перед ней капитулировал. С одной стороны, признал он выборы 1991 г. в Чечне незаконными (поскольку приняло в них участие меньше 15% избирателей). Таким образом, принцип национального самоопределения Чечни был практически с повестки дня снят. С другой стороны, однако, отказался Верховный Совет и привести в действие принцип целостности России, сурово осудив попытку сместить Дудаева силой. Он пренебрег обоими священными принципами.

Устранить эту опасную путаницу — вот в чем, в сущности, заключалась задача, которую должна была решить либеральная мысль. Точнее даже, две задачи, связанные между собою, интеллектуальная и политическая. Определить, какой из священных принципов применим к чеченской проблеме и каким способом — естественно, мирным и демократическим — может быть утверждён. И найти эффективный, т. е. достаточно убедительный для страны и для президента подход к реализации этого решения.

Начнем с первой. Чеченская ситуация оказалась, слава Богу, уникальной в РФ: из 89 составляющих Федерацию регионов 88 договорились о той или иной степени автономии. С другой стороны, равновесие это было хрупкое. Как предупреждал в «Известиях» Станислав Кондрашов, сохранялась опасность, что «Чечня — это

пробный камень. Сдвинув его, можно получить горную лавину югославского типа»⁴⁶.

Спросим сначала, что сделало «пробным камнем» именно Чечню. Историческая память о ее кровавом завоевании в середине прошлого века? Но в этом случае «пробным камнем» надлежало бы стать Дагестану — родине имама Шамиля и центру военного и религиозного сопротивления имперским завоевателям. М. Н. Покровский, специально изучавший кавказские войны, подчеркивал, что именно дагестанцы «были первейшим военным народом Кавказа», им соответственно больше всех и досталось⁴⁷. Даже когда чеченцы, отступившись от Шамиля, массами переходили на сторону русских, дагестанцы продолжали сопротивляться. И тем не менее — несмотря на эту страшную историческую память — сегодняшний Дагестан с автономией согласился.

Может быть тогда сталинская депортация? Но Сталин ведь депортировал многие народы — и ни один из них не поддавался чеченскому искушению. Исламская традиция? Но ведь вокруг Чечни десятки столь же «исламских» народов — балкарцы, черкесы, лезгины, аварцы, карачаевцы, кабардинцы, — но никто не пожелал отделяться от России. Я не говорю уже, что как раз чеченцы всегда были куда менее других религиозны, оттого, собственно, с Шамилем и поссорились, что не приняли его ортодоксально исламскую идеологию.

Может быть, нефть? Но она ведь есть и у соседней Адыгеи, а в Татарии ее куда больше, чем в Чечне. Стратегическое расположение? Но Башкирия вообще расположена в сердце России...

С какой стороны к вопросу ни подходи, только одно есть у Чечни отличие от всех остальных. Это — персона ее правителя. Романтического генерала, российского Каддафи, если угодно, пришедшего к власти посредством военного переворота и задним числом попытавшегося легитимизировать свою власть выборами, в которых даже на мощной сепаратистской волне 91-го приняла участие лишь горстка избирателей.

Нелегитимность Дудаева привела к тому, что целые районы Чечни, по сути, отделились от Грозного, экономика республики перестала функционировать как единое целое. Да что там, она перестала функционировать, точка. Как писала Галина Ковальская, «она не то чтобы безграмотно управлялась — вообще не управлялась... рассыпалась, разваливалась, растаскивалась»⁴⁸. Хуже того, под водительством Дудаева Чечня превратилась в «воровскую малину», в «малый, но гордый бандитский притон», во всероссийский центр коррупции и терроризма. По словам того же Жуховицкого, «в течение трех лет в Чечне практически ежедневно убивали до тридцати человек, по сути шла гражданская война. Гибли мирные люди, в чьи планы не входило умирать за Дудаева»⁴⁹.

Результат — катастрофическое падение популярности президента. От него отвернулись не только влиятельные в республике политики, вроде Руслана Хасбулатова, или технократы, как Саламбек Хаджиев, но и вся чеченская интеллигенция. В случае новых

свободных выборов в Чечне шансы Дудаева на переизбрание были нулевыми.

Знали об этом в Москве практически все — от Сергея Степашина, заявившего в интервью, что «после того, как Дудаев окружил себя уголовниками, после разгона парламента и расстрела митинга от него большинство отвернулось»⁵⁰, до Егора Гайдара, который без колебаний признал, что в начале 94-го Дудаев висел в Грозном на ниточке, и до Жуховицкого: «Недовольство растущей нищетой, некомпетентностью и самодурством команды Дудаева вызрело. Яблоко готово было упасть»⁵¹.

Если этот диагноз точен, то никакой проблемы Чечни не существовало. Была проблема Дудаева. Свободные выборы тотчас сняли бы угрозу «югославской горной лавины в России», о которой предупреждал Кондрашов. Но как их провести в условиях военного режима?

С самого начала было очевидно, что нейтрализация этого режима политическими средствами, т. е. переговоры с самим Дудаевым об устранении Дудаева, — затея бессмысленная. Реально приходилось выбирать лишь между двумя путями: силовым и демократическим.

В Москве сторонников применения силы была тьма — в первую очередь в кремлевском СБ, не говоря уже о силовых министерствах. И опять-таки очевидно было с самого начала, что раньше или позже они непременно захотят воспользоваться проблемой Дудаева для собственного самоутверждения. Удивительным было совсем другое: отсутствие приверженцев демократического решения. Свободные выборы в Чечне не только не стали лозунгом либеральной России, что могло и, честно говоря, непременно должно было случиться задолго до кризиса 7 декабря, но и вообще не рассматривались ею всерьез в качестве демократической альтернативы силовому решению.

Почему? Не знаю. Может быть, сама идея представлялась демократам утопической? Может, никто в Москве не слышал об успехе свободных выборов в Никарагуа? Может, народное волеизъявление сочли почему-то недопустимым именно в Чечне, хотя президентские и парламентские выборы рутинно проводятся во всех других республиках Федерации? Или отпугивала неизбежность сильной и эффективной международной инспекции на российской территории, без которой, как и в Никарагуа, невозможно было бы обойтись?

Словом, готовое упасть яблоко все не падало — а планов легитимного, демократического и, главное, бескровного способа выйти из тупика не существовало.

Посмотрите, как видоизменяется наша задача в ходе анализа. Обозначившись сначала как проблема Дудаева, она затем свелась к проблеме свободных выборов и, следовательно, к принципу национального самоопределения Чечни.

Но не попадаем ли мы здесь в заколдованный круг? В самом деле, как заставить военный режим согласиться на новые выборы, не

говоря уже о международной инспекции? Как устранить непопулярного генерала, если это невозможно без свободных выборов, которые, в свою очередь, невозможны без его устранения?

Но выход из заколдованного круга был. Требовалось поставить Дудаева в такое положение, чтобы он вынужден был обратиться за помощью к международным организациям, в частности, к ОБСЕ. Наверняка, ему бы не отказали. При одном условии. Если он согласится на выборы под контролем наблюдателей.

И события первой половины декабря 94-го показали, что заставить Дудаева прыгнуть в ловушку можно. Первое, что сделал он, едва российские войска начали концентрироваться на границах Чечни — задолго до кровавой бойни в Грозном, — было именно обращение за помощью к международным организациям, включая, конечно же, и ОБСЕ. Если б она тотчас ответила письмом Ельцину и Дудаеву — с предложением воздержаться от ввода российских войск в обмен на свободные выборы под ее наблюдением — весь узел проблем мог быть распутан немедленно и бескровно. Но такое решение, естественно, заранее должно было быть у нее под рукой. А либеральная Россия его так и не предложила.

В результате международные организации ответили на обращение Дудаева лишь невнятным гуманитарным лепетом. Происходящее в Чечне — внутреннее дело России, заявили они, развязав тем самым руки «партии войны». Так же повели себя и западные правительства. Ясно, что и они к внезапному обострению кризиса готовы не были, ответ их был лишь растерянной бюрократической отпиской. Что же касается западной интеллигенции, которая и впрямь могла бы развернуть кампанию за предотвращение войны, то ее ведь никто не приглашал — «менторы нам не нужны», — да и консолидироваться ей было не на чем. Демократической альтернативы войне демократическая Россия не выдвигала.

Невыносимо тяжело было видеть эту интеллектуальную кому русского либерализма. Никакой конструктивной роли для себя в чеченском кризисе он не увидел. Противопоставил он «партии войны» лишь то, что заведомо не имело решения: те самые бессмысленные переговоры с Дудаевым об устранении Дудаева.

Трагический урок преподнесла нам вся эта история. Три года кризис тлел себе и тлел, предвещая неминуемый пожар. Но никто о последствиях возможного чеченского взрыва просто не думал — ни в России, ни на Западе. В результате к концу 94-го на повестке дня оказалась лишь одна альтернатива: переговоры или война. А поскольку бесплодность переговоров доказана была исчерпывающе, что, спрашивается, оставалось?

Гражданская война, хуже которой никто и придумать ничего не мог, вспыхнула только потому, что некому было задуматься. Никто за предотвращение пожара не отвечал.

Рискуя показаться монотонным, я все же попрошу вообразить на минуту, что то самое политическое «совместное предприятие», тот международный Форум, за который я уже пять лет безуспешно агитирую российских и западных политиков, — существует. И что у этих, на равных собравшихся, высших интеллектуальных авторите-

тов России и мира, соединяющих исчерпывающее знание российской реальности с мощной политической экспертизой, нет никакой иной цели, кроме предвидения и предотвращения политических взрывов, способных похоронить российскую демократию. Разве можно себе представить, что не забил бы он тревогу по поводу тлеющего чеченского кризиса задолго до того, как «партия войны» изготавилась им воспользоваться? Что не решил бы он интеллектуальную задачу, которая, как мы только что видели, оказалась не по зубам либеральной России? Не противопоставил воинственным аргументам демократическую альтернативу? Не договорился заранее с международными организациями и правительствами о ее поддержке? Козырев вопрошал, что конкретно могут они для нас сделать. Кровапролития в Грозном не случилось бы — вот что могли они для нас сделать.

Слепому видно, что Россия бредет по минному полю. Так ведь и будут взрываться у нее под ногами все новые и новые кризисы — и вовсе не только этнические, — откуда нет никого, обязанного их заблаговременно распознавать и обезвреживать. Не принимать же всерьез бухгалтеров из МВФ, хоть они, к собственному изумлению, и оказались в роли ангелов-хранителей российской демократии. Посмотрите: когда тысячи мирных людей стали гибнуть под бомбами в Грозном и начался лихорадочный поиск злодеев, все пальцы уткнулись в Ельцина. Ну, а западные правительства, которые на протяжении трех лет не удосужились присмотреться к тлеющему кризису хотя бы из собственных шкурных интересов? А, наконец, западные разведки? Они могли пройти мимо надвигающейся гражданской войны где-нибудь в джунглях Руанды. Но проморгать ее в ядерной сверхдержаве, в особенности учитывая террористический потенциал дуаевских преторианцев?

Проморгали. И завтра, случись что, проморгают. Потому что — ну, не парадокс ли? — никто в мире не отвечает сегодня за предотвращение всемирного кризиса, которым несомненно обернется гибель гадкого утенка.

Теперь вспомним, что перед либеральной Россией стояла еще и вторая — политическая — задача.

Не сумев использовать против московской «партии войны» принцип национального самоопределения Чечни, демократы практически уступили ей инициативу. Хуже того, они позволили ей монополизировать и принцип территориальной целостности страны тоже. Здесь нельзя уже сказать, что о такой опасности либералы не подозревали. Генерал Волкогонов предупреждал их в «Красной звезде», что абсолютно необходимо «исходить из интересов целостности России при всех вариантах развития событий в Чечне»⁵². Генерала не услышали. Вместо этого стали доказывать, что «Грозный не стоит войны»⁵³. Или даже, как Константин Боровой, потребовали «немедленно признать независимость республики Чечня».

И никто из демократов даже не вздрогнул от этой больше чем политической безграмотности. Ведь этот самый антидемократический из всех возможных вариант равносильен тому, чтобы **отка-**

зять чеченскому народу в праве на самоопределение, отдать его на съедение Дудаеву. В устах человека, полагающего себя демократом, такое полное пренебрежение правами этнического меньшинства звучало чудовищно. К сожалению, посыпались и еще более радикальные предложения. Например, вообще уйти с Кавказа: «Никакой Ельцин [не может] остановить исторический процесс. Северный Кавказ за сто с лишним лет так и не стал органической частью России. [Он] обречен на отделение. Речь тут могла идти только о сроках»⁵⁴.

Одним словом, продремав все три года кризиса, демократы вдруг очнулись на ничейной земле, беспомощно повиснув между обоими священными принципами, в недоумении, какой предпочесть. Не сумев опереться на принцип самоопределения чеченцев, они заклинились на бесперспективных переговорах с Дудаевым. Пренебрегши принципом целостности России, они обрекли себя на подмену политического действия пацифистскими декларациями. Позиция, политически полностью стерильная: и чеченскому народу не помогли, и себя отшвырнули на обочину российской политики. А уж в психологической войне вообще подставились страшно, открывшись для стандартной «патриотической» демагогии относительно «ножа в спину солдатам, умирающим за родину».

Слов нет, бомбить мирных людей — злодейство, государственный разбой. А если речь еще вдобавок о российских детях, гибнущих под российскими бомбами, протестовать против этого — долг каждого порядочного человека, независимо от его политических убеждений. Однако, для демократов свести всю свою реакцию на политический кризис к антивоенному протесту означало подмену политики моральным негодованием. Но самый благородный протест неспособен остановить кровопролитие, тогда как политическое действие, опирающееся на священный принцип, — способно.

Это правда, что самый замечательный из русских либералов Александр Герцен страстно протестовал против штурма восставшей Варшавы в 1863 г. Но Герцен был диссидентом, а русские демократы сто тридцать лет спустя — полноправные участники политического процесса, несущие ответственность за его результаты. И поэтому можно преклоняться перед доблестью Сергея Ковалева, обрекшего себя на «сидение в Грозном» под русскими бомбами, можно восхищаться мужеством прессы, резавшей правду-матку несмотря на рычание Кремля — и в то же время понимать, что их ситуация в 1994-м несопоставима с ситуацией Герцена в 1863-м.

Диссидент Герцен не мог влиять на формирование российской политики. Он мог лишь протестовать против действий начальства. Такова судьба всякого диссидента. От профессионального же политика, особенно работающего в условиях психологической войны с непримиримой оппозицией, требуется много больше, нежели благородный протест. Он обязан не только **предвидеть** официальный курс и не только **участвовать** в его формировании, но и **предлагать политический план**, рассчитанный на поражение противника «при всех вариантах развития событий», как и советовал Волкогонов.

Из каких элементов должен был состоять этот план, при условии, конечно, что реальная демократическая альтернатива войне у либеральной России была?

Рассмотрим три таких элемента — важнейшие.

Первый из них — цель: предотвращение силового курса в отношении Чечни. Не нужно было долго мучиться в поисках этой цели: она буквально кричала о себе сама. Последние сомнения в том, что война назревает, должны были испариться уже в июле, когда либеральная бюрократия в Кремле вдруг зашевелилась, пытаясь преодолеть чеченский кризис единственно доступными ей бюрократическими средствами. Достаточно было хоть просто спросить себя, с чего это вдруг так заинтересовались Чечней такие несомненные либералы в президентской администрации, как Эмиль Паин или Сергей Филатов? Почему ни с того ни с сего отбыл вдруг в Чечню с «миротворческой», а на самом деле очевидно антидудаевской миссией Руслан Хасбулатов? Чем объяснялся внезапно начавшийся поиск «здоровых сил» в республике?

Даже издалека было видно: что-то заваривается на кремлевской кухне. И Филатов, как и другие, стоящие у самой, так сказать, плиты, первыми испытывают на себе мощное давление. Как отчаянно они сигналили либеральной публике, что больше не в состоянии удерживать форт своими силами! Их действия на протяжении лета и осени и впрямь напоминали акт отчаяния: они, по сути, пытались предотвратить внутрироссийскую гражданскую войну посредством развязывания внутричеченской.

Для того ведь и был создан в районах, отделившихся от Грозного, оппозиционный Временный Совет. Для того был он снабжен российским оружием. А уж когда этот Совет объявил о своем намерении штурмовать Грозный, стало окончательно ясно: план был бюрократический и потому — мертворожденный. Мало того, он практически сдавал «партии войны» последний козырь, в котором она нуждалась. Ибо если антидудаевская оппозиция в Чечне бессильна устранить мятежного генерала, а переговоры с ним не более плодотворны в 94-м, нежели в 91-м, то как еще прикажете остановить в России «горную лавину югославского типа»? Я готов пари держать, что именно этим аргументом и дожала «партия войны» колебавшегося президента, гарантируя ему блицкриг, а в конце осени смогла уже выйти со своими намерениями и на публику. Как иначе, в самом деле, можно было толковать хвастливое заявление Грачева, что с одним парашютно-десантным полком он в три дня наведет в Чечне конституционный порядок?

Второй элемент плана — пользуясь тем, что «партия войны» выложила карты на стол заранее, побить их, одну за другой. Можно ли было на протяжении нескольких месяцев найти для этого веские аргументы? Почему же нет? Ведь «партия войны» высказалась достаточно для обвинения в кощунственном попрании не только принципа самоопределения чеченского народа, но и принципа целостности России. Очевидно было, что вторжение в Чечню немедленно превратит осточертевшего чеченцам Дудаева в национального героя, а локальный политический конфликт с российским Каддафи — в

жестокою и разрушительную войну против этнического меньшинства. Но ведь добрые отношения с чеченским народом ничуть не менее важны для целостности России, нежели устранение Дудаева. Если бы в этот момент демократы предложили стране и президенту решение, способное обеспечить и то и другое, т. е. свободные парламентские и президентские выборы в Чечне, все доводы в защиту силового курса тотчас бы обесценились.

Ну, а обещанием блицкрига «партия войны» вообще открылась для политического нокаута. Ведь она обманывала президента, подставляла его. Силовое решение было не только политически безграмотным, оно было по сути предательским. Ибо никакого блицкрига в Чечне быть не могло. Любая беспристрастная экспертиза показала бы, что страну ожидает затяжная и кровавая гражданская война. Единственное, на что способен был силовой курс — это прибавить к чеченскому кризису два новых: политический бунт в Москве и кризис доверия на Западе. Он обрекал президента на то, чтобы показать себя миру либо мясником, либо безвольным пленником «клики». Он радикально подрывал его шансы на переизбрание в 1996-м. Одним словом, силовой курс был, совершенно очевидно, курсом антиельцинским.

Согласитесь, что это были сильные аргументы. Но чтобы пустить их в дело, требовалось включить в план еще один элемент — весьма специфический: открыть президенту глаза на предательскую сущность курса «партии войны».

Кто мог взять на себя такую смелость? Но не говоря уже о возможности свободной прессы, которая — вместо ерничанья и зубоскальства по адресу запутавшихся чиновников — могла развернуть мощную «антисиловую» кампанию, разве мало было у демократов потенциальных союзников из числа тех же теснимых либеральных бюрократов? Все, кто имеет доступ к президенту и к чьему суждению он прислушивается, тот же Батурин, тот же Филатов, тот же Козырев, тот же Волкогонов, все они вместе, наконец! В самом крайнем случае в резерве оставался еще Ал Гор, который ведь все равно навещал Ельцина в больнице.

«Партия войны» никак не могла обойтись без концентрации войск на границах Чечни. И шансы на то, что это заставит хитрого, но совсем недалёковидного Дудаева прыгнуть в ловушку, обратившись за помощью к той же ОБСЕ, были превосходны. А это открывало возможность нанести поражение одновременно и ему, и «клике».

Разумеется, ОБСЕ следовало подготовить к этому заранее, а чеченскому народу объяснить, что войска концентрируются на границах республики не для «второго завоевания Чечни», но лишь затем, чтоб преторианцы Дудаева не помешали ему свободно выразить свою волю. Всего-то и требовалось для этого командировать Козырева в Вену, а Ковалева в Грозный...

Вот она, разница между диссидентством и профессиональной политикой. Можно **обижаться** на послеавгустовский режим, но можно и **пользоваться** им как инструментом в борьбе против «мафии». Можно **упрекать** президента в том, что «мафия вас переиг-

рала», как писала в открытом письме Ельцину Елена Боннер⁵⁵, но можно и самим **переиграть** «мафию». В конце концов, они там тоже не Талейраны.

Трагический чеченский экзамен доказал, что — несмотря на все мужество, проявленное ими в момент кризиса — ни российская демократия, ни либеральная пресса готовы к нему не были. Практически все их ходы оказались диссидентскими. Они дали возможность «мафии» сплести в единый узел проблему Дудаева и проблему Чечни — вместо того, чтобы надежно отделить их одну от другой. Они расплевались с либеральной бюрократией — вместо того, чтобы впрячь ее в свою работу. Они ополчились на Ельцина — вместо того, чтобы поссорить его с «партией войны». Они махнули рукой на Запад — вместо того, чтобы втянуть его в психологическую войну на своей стороне.

В результате они сами лишили себя возможности выиграть важнейший раунд психологической войны, а быть может, и предотвратить кровопускание в Грозном — со всеми последствиями того, что журнал «Нью-Йоркер» назвал «постыдной победой»⁵⁶.

«Период обучения жизни» для них не только не закончился, он, оказалось, и не начинался.

После экзамена

Урон, нанесенный чеченской катастрофой «гадкому утенку», может оказаться невосполнимым. Не только репутация — сама судьба его стоит теперь на кону. Риск ничуть не меньше, чем в августе 91-го или в октябре 93-го. Стивен Эрлангер так объяснил это читателям «Нью-Йорк таймс»: «От м-ра Ельцина и его правительства требуется теперь фундаментальное решение — какого рода страной собирается стать Россия»⁵⁷.

На кону стоит и судьба демократических политиков, подвергающихся не менее жестокой критике, нежели «партия войны». Враги — само собой, но и союзники в них разуверились. Вот что писали, например, в разгаре кризиса либеральные «Куранты»: «Отношения президента и демократов уже давно напоминают улицу с односторонним движением. Демократы все время требуют: “Дай!”, “Защити!”, “Сокруши!”, не давая ничего взамен — ни политической, ни моральной поддержки. А периодически и вообще угрожают: “Ну, президент, погоди!”»⁵⁸.

Мрачные перспективы рисовала и не менее либеральная «Коммерсантъ-Дейли»: «Альянс демократов старого закала с либеральной бюрократией и крупным капиталом может не выдержать кризисного напряжения, и бюрократы с капиталистами предпочтут жесткий государственный прагматизм устаревшему, с их точки зрения, демократическому идеализму. Либерально-консервативный альянс может распасться на либералов западного толка, тяготеющих скорее к лево-пацифистским идеалам и склоняющихся под знамена Григория Явлинского, и консерваторов-государственников, могущих найти понимание... даже у Сергея Бабурина»⁵⁹.

Редко соглашаюсь я с Прохановым, признанным рупором имперского реванша, но что же тут возразишь: «В новом типе общества, в который перерастает Россия “позднего ельцинизма”, не найдется места бестолковым либералам, поддержавшим [в октябре 93-го] расстрел конституции, а сегодня жалко и растерянно сопротивляющимся бойне в Чечне... Скорее всего первые шляпы и головы полетят с плеч либералов, чья бестолковая плюралистичность стала в тягость угрюмым политикам»⁶⁰.

До начала войны в Чечне казалось, что «оккупационная» истерия достигла крайней точки. Но выяснилось, что это не так. Есть еще порох в пороховницах у реваншистов. «Кому же выгодно такое разрастание конфликта?— негодовала в разгар чеченского кризиса “Правда”.— Только тем, кто хотел бы решение чеченского вопроса сделать началом балканизации России. Им мало распада Союза, им нужна бессильная Россия»⁶¹. А Проханов, не мудрствуя излишне, прямо обвинил Запад в развязывании чеченской войны.

Реваншисты знают, что момент, когда Запад выйдет, наконец, из своего интеллектуального столбняка и решится принять непосредственное участие в российской психологической войне, станет для них роковым. Парализовать Запад, связать ему руки, запугать его, как они уже запугали и администрацию, и судей, и телевидение, и евреев России — вот в чем смысл этой истерии.

Ну, а что бы вы стали делать на их месте? Мы же видели, что главная из многочисленных их проблем заключается в том, что они **не доверяют антизападничеству своего народа**. Дважды, в 1990-м и 91-м, шли они на выборы со своей антизападной программой — и дважды проиграли. И в третий раз, уже после всех потрясений 92-го, имея на руках непобиваемый козырь — катастрофическое обнищание масс, они снова потерпели поражение на апрельском референдуме 93-го. Даже декабрьские выборы выиграли вовсе не глашатаи антизападничества, не Русский Собор и не Фронт национального спасения, но хитрый Жириновский, который, в противоположность им, предпочел рассматривать Ельцина как потенциального Гинденбурга, а не безвольную марионетку Запада.

Сколько угодно могут они провозглашать, что «русское сопротивление нарастает, обещая нынешним оккупантам Кремля ту же участь, что и его оккупантам 1613 и 1812 годов»⁶². В глубине души их все равно гложет мрачное подозрение, что народ отказывается смотреть на Запад, как на своего врага.

Это наивные демократы не видели ничего страшного в «известной доле автаркии». Реваншисты смотрят на свои отношения с Западом жестко и точно. Смотрят, как на гонку: кто раньше? Им нужно переломить настрой в отношении Запада **раньше**, нежели его политики и эксперты очнутя от своего ступора. И если им это удастся, Запад окажется исключенным из игры в России навсегда, как оказался он вне игры в Сербии.

Пока что они явно впереди. Нет и намек на вмешательство Запада в роковую войну за умы и сердца россиян. Может, он и вправду попятился перед «патриотическим» блефом, отступился от своих

союзников в России — под истребительным огнем воскресшей геббельсовской пропаганды? Французские интеллектуалы ведут кампанию против геноцида в Боснии под лозунгом «Европа начинается в Сараево». И все словно забыли, что на самом деле Европа начинается в Москве. И что это русскую интеллигенцию, упрямую, гордую, наивную и ошибающуюся, оставляют они на растерзание реваншистским стервятникам, которые всячески подчеркивают, что победа у них в кармане.

В новой постчеченской реальности российским демократам грозит глухая политическая изоляция, с беспрецедентным единодушием говорят все критики. Или — что то же самое — обратное превращение в диссидентов. И чем упрямее будут они настаивать, что «это не наша власть», тем скорее это наступит⁶³.

Судьи, правда, и сами толком не понимают, что маргинализация демократов, их исключение из политического процесса сокрушит послеавгустовский режим. В отсутствие демократов «угрюмые политики» шаг за шагом превратят его в заурядный авторитаризм с Ельциным в роли Гинденбурга, готовым в критическую минуту вручить власть лидерам имперского реванша. И вместо сегодняшнего «гадкого утенка», пусть неказистого и мало привлекательного, получит Россия предбанник тоталитарного переворота. И если это, не дай Бог, случится, от бравых критиков останутся лишь рожки да ножи.

Но ведь они по сути правы. Не хотят демократы вести себя, как политики, брезгают, отказываются признать, что их августовское торжество было иллюзией, а в реальности имеют они дело с двуликим переходным режимом, и ни из чего не следует, что это именно переход к стабильной демократии. Как раз наоборот, все уже знакомые нам аналогии делают более вероятным, что окажется он переходом к новому тоталитаризму. Даже не к Пиночету, как в маленьком Чили с его мощной демократической традицией и без намека на имперский реванш в политической культуре, но к самому вульгарному фашизму.

Ну, в том, что события в Чечне развиваются по веймарскому, а не по боннскому сценарию, открытия для нас с вами уже нет. Однако, чеченский кризис — его предыстория, его формы, поведение всех действующих лиц — внесли в политическую реальность новые краски.

Чеченская война серьезно скомпрометировала послеавгустовский режим в глазах мира. Строительство мостов между Россией и Западом еще больше осложнилось и еще больше зависит теперь от российских либералов. Могу сказать, что, бросив в ходе кризиса смелый, хотя и неэффективный вызов «мафии», они пробудили на Западе сочувствие и восхищение, повышающие их шансы быть услышанными. Но толку не будет, однако, пока не расстанутся они с провинциальными грезами изоляционизма и не вступят, наконец, в тот самый «период обучения жизни», который накануне чеченской войны самонадеянно сочли законченным. Это непростой поворот. Он требует интеллектуального смирения.

Второй аспект — домашний. Сколько будут демократы рассматривать Ельцина и его переходный режим как ренегатов Августа, столько и будут они обречены по-диссидентски реагировать на его акции вместо того, чтобы формировать его политику. Однако после Чечни обижаться на Ельцина, подобно соблазненной и покинутой барышне, становится для них непозволительной роскошью. Принять постчеченскую реальность — значит, принять Ельцина каков он есть: не «бывший демократ» и не «свой человек в Кремле», но вполне адекватный переходный лидер, не прошедший никакой политической школы, кроме советско-партийной, одинаково открытый для влияния как «клики», так и демократов. Которое из них возобладает — будет зависеть не столько от него, сколько от политического искусства и компетентности конкурирующих сторон. И чем скорее научатся демократы использовать свое бесспорное интеллектуальное превосходство, тем выше и их, и наши общие шансы.

В конечном счете оба эти аспекта постчеченской реальности сводятся к одному и тому же. Окажись либеральная оппозиция вне игры, как ей предсказывают, она загубит не только себя, но и Россию. Следовательно, на этом она и должна сосредоточиться: как избежать политической изоляции. И от западной мысли и «школы обучения жизни», и от участия в российском политическом процессе.

Кто спорит, сегодняшний Ельцин совсем не тот, что стоял на танке 21 августа. Как и должно было случиться, выросла под его крылом гигантская коррумпированная бюрократия и — хуже того — «партия войны» (проигрывают, проигрывают либералы психологическую войну!). Но при всем том он еще далеко и не Гинденбург, каким мечтают его увидеть Жириновский и кремлевская «клика». Советником по национальной безопасности у него все еще либерал Юрий Батулин. И возглавляет президентскую администрацию все еще либерал Сергей Филатов. И министром иностранных дел у него все еще либерал Андрей Козырев. Я не говорю уже о его экономической команде, где тон задают такие бесспорные реформаторы, как Чубайс, Ясин и Лившиц. Короче, пусть Ельцин и не свой уже для демократов человек в Кремле. Но и не чужой.

Проханов, который тоже, в свою очередь, редко соглашается со мной, приходит к тому же выводу в своем «Завтра»: «... одна и та же группа советников (батурины, сатаровы, паины) обслуживает Ельцина и демократов»⁶⁴. Пора, значит, президенту сделать выбор: либо он сумеет нанести решительный удар по демократам, не повторив ошибки непоследовательных «гекачепистов», либо его сбросят, как Горбачева⁶⁵. Ельцина Проханов терпеть не может. Для него президент — предатель (не Августа, конечно, но мечты о великой империи). Однако, как видим, работать с «глиной» он, в отличие от демократов, не брезгает.

Веймарский сценарий суров, но он не делает фатальной политическую изоляцию реформаторов. Возможность избежать ее была в свое время и у японских, и у немецких демократов. Только вот воспользоваться ею не сумели ни те, ни другие.

Сумеют ли российские?

До Чечни я ответил бы на этот роковой вопрос скорее отрица-

тельно. Как раз накануне войны, видели мы, либеральная Россия особо усердствовала в повторении ошибок своих исторических предшественников. И все-таки война — великий учитель. В особенности та, что кончается «постыдной победой», т. е. не очевидным триумфом (который, несомненно, привел бы к милитаристскому ажиотажу, для чего «партия войны» ее и затевала) и не явным поражением (которое могло привести к цепной реакции распада страны). И если Запад война эта мало чему научила, то для российских демократов, заглянувших в бездну, она должна послужить страшным, переломным уроком. Другое дело, что в гуще страстей, внутри политической ситуации, прискорбно напоминающей броуновское движение молекул, им, наверное, трудно интерпретировать этот урок и осмыслить его как целое.

Позвольте мне, читатель, снова воззвать к вашему воображению. Какой совет мог бы сейчас, в опасной стремнине постеченской реальности, дать российским демократам международный политический форум, существуй он не только в моем проекте?

Прежде всего, наверное, — выработать четкую политику по отношению к президенту. В каком, например, случае имеет смысл присоединиться к коммунистам и требовать его отставки? Но только тут особо надо подумать, поскольку у коммунистов есть лидеры президентского калибра (тот же национал-большевик Зюганов или, скажем, Николай Рыжков), а у либералов их нету. И не будет, добавлю, — покада не сумеют, с помощью западной интеллигенции, перейти в контратаку в психологической войне.

Если в Августе вел их к победе над одряхлевшим коммунизмом харизматический лидер и политик Божией милостью Борис Ельцин, то пять лет спустя у них все еще нет никого, хотя бы отдаленно сопоставимого с ним — ни по калибру, ни по политическому профессионализму, ни по способности защитить их от неизмеримо более могущественной «патриотической» партии реванша. Никого, то есть, кроме того же Ельцина. Как с грустью отмечает Анатолий Приставкин, «Президент шагнул в бездну. Парадокс в том, что он объективно нужен — нет у нас, увы, другого лидера»⁶⁶. Но как перевести на язык политики это «объективно нужен»? Не прибавляют ясности и размышления Кондрашова: «Поддерживать такого Ельцина нельзя, оправдывать — тоже. Но не поддерживать, списать, как списали три года назад Горбачева, значит отдать российского президента окончательно в другой лагерь, в другую Россию»⁶⁷. Вы что-нибудь поняли? Поддерживать нельзя и не поддерживать нельзя — какое-то сплошное «Казнить нельзя помиловать». И уж полным туманом дышат рекомендации Любарского, выдержанные в стиле афанасьевского «сделай сам»: «Президент перестал быть гарантом Конституции и прав человека. Сегодня эта роль переходит к каждому из нас и мы должны с этим справиться»⁶⁸.

Возможны, наверное, лишь два крайних случая, когда демократам пришлось бы покинуть президента: а) если бы он и впрямь трансформировался в российского Гинденбурга и б) если бы он перешел на сторону имперского национализма. Во всех же остальных ситуациях демократам полезнее оставить диссидентскую риторику и

больше заниматься собой, чем президентом. Укрепить в себе активный, боевой дух, готовить контрнаступление — вместо того, чтобы нянчить старые обиды. Пришла пора отвоевывать улицу у «патриотов» и политическую инициативу — у «клики».

Поскольку никакой международный форум без их поддержки работать не сможет, они должны будут использовать свой новый статус в глазах мира для того, чтобы убедить западные правительства руководствоваться теми же критериями. Это особенно важно потому, что в западных столицах после чеченской войны соблазн отречься от Ельцина или, по крайней мере, «давить» на него может оказаться непреодолимым. Конечно же, там просто не понимают характера Ельцина, которого такое «давление» лишь толкает в объятия «мафии».

Если принять за аксиому, что главная цель либеральной России состоит в трансформации веймарского сценария в боннский, то другой стратегии, наверное, и быть не может. Шок чеченской войны должен вырвать ее, наконец, из будничной суеты и заставить задуматься о будущем страны, которое, как это ни печально, всерьез занимает сегодня, кажется, только аналитиков непримиримой оппозиции.

Через две зимы

Всего лишь две зимы прошло после октябрьского мятежа 93-го, а кажется — вечность. Так все вокруг изменилось.

Но как изменилось, к лучшему или к худшему? Вот вопрос-тест, которым при же-

лании читатель может испытать тех, с кем общается, на глубину понимания ситуации.

Зимой 92-93-го назревал и вот-вот должен был прорваться фашистский нарыв в России. Близилась к своему логическому завершению фаза путчей и мятежей, с которой фашизм в имперской державе всегда начинает свой марш к власти. Не всем это было понятно. На авансцене суетились совсем другие персонажи, и суета их вполне могла представляться зрителям «конституционным конфликтом между ветвями власти». И вовсе не фашисты произносили «патриотические» речи с парламентской трибуны, а бывшие демократы-«перебежчики», вроде Бабурина, Астафьева или Аксютчица. Но драться в осажденный Белый дом должны были прийти — и пришли — мальчишки Баркашова. И власть в нем де факто должны были взять — и взяли — черные генералы, как Ачалов со своим заместителем, бригаденфюрером СС Алексеем Веденкиным.

Интеллигентная Москва в ту зиму инстинктивно чувствовала приближение страшной опасности. Ее подсознательную тревогу и окрестил тогда Выжutowич «либеральным испугом».

Но сравнивать ситуацию с 1933-м в веймарской Германии, как я уже говорил, было еще рано.

По веймарской хронологии наступал тогда в Москве всего лишь 1923 год, и фашистское восстание, аналогичное тому, что заверши-

ло «горячую фазу» в Германии, было точно так же обречено и в России. Ибо покуда не сломан в массовом сознании барьер отвращения к «патриотической» диктатуре — последняя линия обороны скомпрометированного прото-демократического режима, — покуда публика не окончательно запутана и разоружена психологически, фашизму ничего не светит. Так было в Берлине, и так было в Москве.

После 1923 года Германия, как могло показаться, вступила в полосу стабилизации. Политические барометры перестали показывать шторм. Но на самом деле это просто была новая фаза психологической войны, более длительная и тягучая — фаза промывания мозгов, в ходе которой массовое отвращение к фашизму постепенно сменялось привычкой, а затем и сочувствием. Фашистские претензии на власть в стране мало-помалу переставали казаться смехотворными, фашистская фразеология перебиралась потихоньку с подмостков сатирических шоу на страницы либеральной прессы. Последний психологический барьер становился все слабее и наконец был сломлен.

Нечто похожее, как видно, происходило и в России между двумя зимами.

Канули в историческое небытие и Фронт национального спасения, и волновавшее публику «охвостье» первого российского парламента вместе с тогдашним громовержцем Хасбулатовым, затерявшимся впоследствии в лабиринтах провинциальной чеченской политики. Музейными экспонатами стали казаться и транзитный президент Руцкой, и министр обороны транзитного фашистского правительства Ачалов.

Однако, уходя с исторической авансцены, они, похоже, захватили с собой и «либеральный испуг» перед фашизмом.

Ну вот вам пример. В конце февраля 95-го появился, наконец, запоздалый президентский указ о борьбе с фашизмом. И что же? Как восприняла его либеральная публика? Как остывший суп, анахронизм, пережиток каких-то давно ушедших времен, выстрел по исчезнувшей мишени. А многие так и вовсе заподозрили президентскую администрацию в неуклюжей попытке отвлечь внимание страны от кошмарного ляпа ее чеченской политики. Какой там, извините за выражение, фашизм, когда вовсе не Баркашов с Жириновским, а сама президентская рать давит Чечню? Я своими ушами слышал, как один всеми — и мною — уважаемый либерал спрашивал: а не фашизм ли — бомбить беззащитных жителей Грозного?

Одним словом, то, что представлялось несомненным, когда с крыш московских домов стреляли снайперы, расплылось сегодня, затуманилось и стало казаться вроде бы несуществующим. Я тут все пытаюсь напомнить московской публике трагический опыт Веймарской республики, пережитый два поколения назад. А она уже, оказывается, успела позабыть свой собственный опыт, потрясший ее лишь двумя зимами раньше.

Я историк, я никого не стараюсь испугать, я лишь сравниваю факты, тенденции, вехи. И ясно вижу, что ситуация в России к 95-му стала куда серьезней, нежели была в 93-м.

Как было в Германии? Вспомним. До того, как страшный нарыв «патриотического» возбуждения прорвался в 1923 году незрелым фашистским мятежом в Мюнхене (где, как и в Москве, закончился он расстрелом мятежников), смертельная угроза режиму сосредоточена была вовне, в среде «непримиримых». А начиная с 24-го (у нас ему соответствует 94-й) «непримиримые» полностью изменили стратегию. И как ни странно, лишь когда фронтальный натиск на республику сменился позиционной психологической войной, и впрямь начал германский фашизм превращаться из либерального пугала в реальную политическую силу.

Оказалось, что путчи и мятежи, на которые он до того делал ставку, лишь консолидировали режим. Зато психологическая война размягчала его броню, обнажая в ней роковые трещины. Оказалось, короче говоря, что внутри самого режима было вполне достаточно элементов, высоко чувствительных к главным мотивам фашистской пропаганды — националистической истерии и враждебности к Западу.

На протяжении еще пяти лет после этого, между 1924 и 29-м, нацисты по-прежнему оставались силой скорее маргинальной (12 депутатов в Рейхстаге в 1928 г. против 54 коммунистов и 153 социал-демократов). Но решающих успехов добились они в этот период вовсе не на выборах. И вовсе не массы стали на самом деле первой жертвой их тотального психологического нажима. Наименьшую устойчивость проявила политическая элита. Именно в недрах президентской администрации, когда массы еще колебались, выросла влиятельная группа «патриотических» советников, склонных к силовому решению политических конфликтов и готовых сотрудничать с «непримиримыми».

А теперь посмотрим, что происходит у нас. Российские «непримиримые» после расстрела их мятежа тоже полностью изменили свою стратегию. Путчи им больше ни к чему. Зачем штурмовать Белый дом и стрелять с крыш, консолидируя власти против себя, если можно размягчить режим изнутри и делать свое дело руками вновь обретенных союзников в коридорах власти? И чеченская война показала, как великолепно работает эта новая стратегия.

Фашизм вовсе не стал анахронизмом в России 1995 года. Наоборот, теперь-то он и начал превращаться из маргинального движения в реальную политическую силу. И если кому-то, чтобы убедиться в этом, недостаточно раскола в президентской администрации, кровавой этнической войны, смятения интеллигенции, — то я готов напомнить выступление бригаденфюрера СС Алексея Веденкина на российском телевидении в конце февраля. Много было толков о том, кому мы были обязаны этим спектаклем. В самом ли деле представлял Веденкин международный фашистский капитал, избравший ядерную Россию главным полигоном своей «консервативной революции», или был подослан своими союзниками из президентской администрации? Об этом шло немало толков. Но какая разница? В любом случае публичный вызов, брошенный им, означает, что фашизм в России перешел в открытое политическое наступление. Ему уже

пора добиваться психологического разоружения государственной элиты, масс и интеллигенции.

Другой пример. В веймарской Германии стан «непримиримых» был расколот: «левые» (коммунисты) противостояли «правым» (фашистам). Эти же фланги есть и у российской оппозиции, но ее упорные попытки выступить против режима единым фронтом сглаживали во времена путчей и мятежей все противоречия.

Фаза психологической войны покончила с этой неразберихой. Оставаясь союзниками в борьбе против «западной» демократии, защищая по сути одну и ту же «патриотическую» платформу имперского реванша, «непримиримые» берут теперь режим в привычные веймарские клещи: «левые» (коммунисты) опять противопоставляют правым (фашистам). Но понимают ли «левые», что они расчищают путь не себе, что их победа окажется всего лишь прологом к победе «правых», к «консервативной» фашистской революции?

Несправедливо было бы утверждать, что московские либералы совсем не чувствуют коварства этого веймарского маневра. «Весна 45-го — конец фашизма. Весна 95-го — начало?» — горестно спрашивает Елена Ржевская в «ЛГ». Но выглядит она в Москве 95-го скорее всего поручиком, шагающим не в ногу со всей ротой. «Куранты», представляющие в этом случае либеральную роту, на ее отчаянный вопрос отвечают вопросом, который, по всей видимости, представляется им чисто риторическим: «Разве фашизм сегодня в России является опасностью № 1? Это скорее призрак, который может материализоваться или нет, а вот коммунисты явно перешли в наступление». И уж если что действительно грозит бедой, то именно это. Если коммунисты вернутся в Кремль, то «экономические последствия будут просто катастрофическими, начнется ревизия приватизации, экспроприация экспроприаторов. И можно не сомневаться, что коммунисты быстро доканают нашу и так слабую экономику и ввергнут всех в нищету и разруху».

Вывернутая из общеполитического контекста, эта удручающая картина выглядит даже слишком приукрашенной. Если, опираясь на голоса пенсионеров, коммунисты и впрямь каким-то чудом вернутся, нищетой и разрухой дело не ограничится. Разве «экспроприаторы» отдадут страну без боя? Десятки войн, куда страшнее чеченской, зальют ее кровью. Но главное — что потом? Кто придет на развалины? Кто всплывет на гребне новой антикоммунистической войны? Не демократов же позовут обратно!

Впрочем, когда нет полной картины, когда люди не понимают общего смысла происходящего, такое шараханье от одной «опасности № 1» к другой естественно и неизбежно.

Между тем и деградация правящего режима, и раздвоение «непримиримых» свидетельствуют ведь об одном и том же: веймарская метафора обрастает в России плотью. Исчезают последние сомнения в ее реальности.

Фашизм на марше. Интеллигенция и впрямь утратила ориентиры, если он видится ей призраком, примерещившимся с перепугу.

А может быть, все еще проще — она не знает, что это такое?

Ничего невероятного в этом предположении я не вижу. У подавляющего большинства в России представления о фашизме почерпнуты не из собственного, а из чужого опыта, запечатленного в рассказах очевидцев, книгах и фильмах. И мало того, что этот опыт не пережит, не прочувствован лично — он связан лишь с одним историческим прецедентом, с его неповторимой конкретикой, и это, очевидно, затрудняет опознание. Остановите на улице десять человек, спросите: что такое фашизм? — и девять из десяти, скорее всего, ответят: фашизм — это Гитлер.

А в самом деле: что такое фашизм? Откуда он берется? Какие обличья может принимать? Разобраться в этом становится срочной и насущной, как хлеб, необходимостью.

«Лестница Соловьева»

Немногие знают в России, а на Западе так и вовсе не подозревают, что главный родовой признак фашизма назван был еще в прошлом веке замечательным русским философом Владимиром Соловьевым. Предложенная им формула, которую я называю «лестницей Соловьева», — открытие не менее значительное, чем периодическая таблица Менделеева. А по силе и смелости предвидения даже более поразительное.

Вот как выглядит эта формула: «Национальное самосознание — национальное самодовольство — национальное самообожание — национальное самоуничтожение».

Начальные стадии этого перерождения Соловьев мог наблюдать изнутри. Он был славянофилом, он видел, как соскальзывают его единомышленники с первой на вторую ступеньку, и это заставило его покинуть их ряды. Переход от самодовольства к самообожанию еще не совершился, но знания человеческой природы в общем-то было достаточно, чтобы его предсказать. Но только гениальному провидцу мог открыться чудовищный потенциал национализма, явивший себя миру лишь два поколения спустя.

Однако, даже и теперь, через сто лет, когда каждому школьнику известна трагическая история Германии и Японии, «лестница Соловьева» не стала аксиомой. Массовое сознание сопротивляется, ему трудно связать воедино фашизм (или, на языке Соловьева, «национализм, доведенный до своего логического конца») и патриотизм (национальное самосознание). Ведь признавая такую связь, мы как бы компрометируем любовь к отечеству — чувство высоко положительное, безоговорочно уважаемое, столь же естественное в современном человеке, как, скажем, любовь к родителям или к детям, и столь же необходимое для его нравственной полноценности.

Но Соловьев и не покушался на высокий статус патриотизма среди других человеческих ценностей. Он лишь говорил о страшной опасности деградации, которую таит в себе сама природа этого чувства, направленного, в отличие от любви к близким — конкретным

людям — на некую абстракцию. Не существует ведь даже общепринятого определения — что такое нация. Потому, возможно, и подвержена эта эмоция самым противоестественным психологическим соединениям и деформациям.

Подобно родительской любви, настоящий патриотизм — переживание глубоко интимное и самодостаточное. Оно не кричит о себе со всех колоколен и тем более не требует признания. В самом деле, любишь — ну и люби, чем же тут хвалиться? Поэтому странным и настояраживающим должно казаться уже само стремление выставить это переживание напоказ, тем более — сделать его знаком своей особой доблести. Публичность, превращение священного чувства в средство самоутверждения — первый шаг к переходу с первой на вторую ступеньку «лестницы Соловьева».

Человек ограничен во многих своих проявлениях. Он не может дать волю самодовольству, он вынужден маскировать свою агрессивность. Если он будет кричать: я лучше всех, я самый великий, все другие в подметки мне не годятся, — его, чего доброго, сведут к психиатру. Если пригрозит убийством — пожалуются в милицию. Но стоит ему заговорить от имени нации, как все чудесным образом меняется. Можно делать себе любые комплименты, на какие только хватит фантазии. Можно угрожать расправой другим народам. И можно присвоить себе право контроля, обвиняя всех, кто не хочет заниматься тем же самым, в измене родине, пособничестве его врагам, а то и в принадлежности к какому-нибудь подрывному «малому народу», что спит и видит, как бы подороже продать отечество. Недаром Август Бебель назвал в свое время патриотизм «последним прибежищем негодяев».

Публичный агрессивный «патриотизм» — зародыш фашизма — абсурден с позиции элементарного здравого смысла. Если, допустим, ваша мама тяжело заболела, вы станете упрекать в этом врача (за то, что не предупредил), или себя (что не уберегли), или в крайнем случае — погоду. Но вам и в голову не придет обвинять в маминной болезни соседей, подозревать их в тайном заговоре с целью уложить ее в постель, а тем более уморить. Но зато это типичный ход мысли любого профессионального «патриота»: любое несчастье родины приписать проискам иноземных злоумышленников и их внутренних агентов.

Достаточно услышать, что человек свободно говорит по-английски, чтобы сразу заподозрить его в предательстве. Думаете, я преувеличиваю? Но вспомните, Виденкин проболтался сам, что в таких случаях первым делом он спрашивает себя: «Так кому они служат? На кого работают?» Конечно, в устах бригаденфюрера СС, обслуживающего международный фашистский капитал, это звучит особенно пикантно. Но и независимо от этой подробности получается черт знает что. Выходит, что только необразованные, не владеющие иностранными языками люди могут быть верны родине? Но как и любая психическая патология, «национальное самодовольство» не видит и не слышит себя со стороны.

«Некоторое государство нам высоко не бывало...»

Мало кто знает, что однажды Россия уже проходила лестницу Соловьева, все четыре ступеньки — от профанации патриотизма, через «национальное самодовольство» и «национальное самообожание» к национальной катастрофе. Случилось это четыре столетия назад, и провел ее по этому страшному пути царь Иван IV, известный больше как Грозный царь. Обычно он ассоциируется с крайней жестокостью и деспотизмом. А вот то, что роднит его с нашими крикливыми «патриотами», известно гораздо меньше.

Происходило все на фоне четвертьвековой Ливонской войны (1558-81 гг.) Как было в те времена заведено, все монархи именовали друг друга «братьями». И вот находим мы в самом начале войны, в 1558 г., в дипломатической ноте датскому королю странное замечание, что не к лицу ему «такого православного царя и всея Руси самодержца называти братом». Дания, между прочим, была тогда великой державой и дозарезу нужна была Москве в качестве союзницы. И вдруг такой афронт.

Два года спустя точно то же самое отписано было и королю Швеции. Не может, мол, великий государь терпеть такое панибратство со стороны какого-то шведа, «если нам только цесарь римский брат и иные великие государи, а тебе тем братом называтися невозможно». Швеция, естественно, оскорбилась, вмешалась в войну на стороне антирусской коалиции и отняла у Москвы Балтийское побережье. То самое, что пришлось впоследствии Петру с такими трудами отвоевывать обратно.

Но если в 1560-м еще признавалось, что помимо цесаря римского существуют в мире еще и какие-то «иные великие государи», которым называть нас братом дозволено, то еще через десять лет оказалось, что это чистая фикция, потому что число сократилось до двух: того же цесаря римского, да еще турецкого султана, которые «во всех королевствах першие государи».

В 1572-м, однако, в послании Грозного полякам в связи с притязаниями его сына на польский престол содержится уже прозрачный намек, что и самому цесарю в кругу «перших государей» не место: «Знаем, что цесарь и французский король присылали к вам, но нам это не в пример, потому что, кроме нас да турецкого султана, ни в одном государстве нет государя, которого бы род царствовал непрерывно через двести лет, потому и выпрашивают они себе почести. А мы от государства господари, начавши от Августа кесаря из начала веков». В ответ теперь уже и поляки присоединились к антирусской коалиции и отняли у Москвы сто ливонских городов, да еще и пять русских впридачу.

На исходе 70-х султан турецкий остался единственным, кому дозволялось с нами брататься, но и то небезоговорочно, ибо уже в силу своего басурманства он никак не мог быть причастен к «началу веков» и Августу кесарю. А уж о прочей коронованной мелкоте, вроде королевы английской Елизаветы, которая «как есть пошлая девица»,

и толковать было нечего, коль мы, оказывается, уже и Августу кесарю теперь не уступим.

Я несколько не утрирую. Именно таким языком заговорили вдруг московские дипломаты в конце жизни Грозного царя, на пороге катастрофы: «Хотя бы и Рим старой и Рим новой, царствующий град Византия, начали прикладываться к государю нашему, как мочно под которого из них поступится?» И чем меньше это величание подтверждалось жизнью, чем более безнадежным становилось положение обессилевшей страны, тем круче заносило Ивана. И уже перед лицом капитуляции, в 1581-м, утверждал он, что «Божиим милосердием некоторое государство нам высоко не бывало». Узнаете язык Баркашова?

Сделав все необходимые поправки — на стиль средневекового мышления, на ментальность самодержца, отождествлявшего страну со своей персоной, — мы четко увидим все четыре ступеньки. Превращение гордости в спесь, затем — в манию величия; самоослепление, утрата чувства реальности...

И неизбежный финал: неслыханный разгром, небывалое унижение, национальная катастрофа, от которой не оправилась Россия и столетие спустя...

Кто заказывает музыку?

Похоже, что ужас, в который Алексей Веденкин поверг московских наблюдателей и самого своего интервьюера угрозой «собственными руками» застрелить Ковалева и Юшенкова (остальную сотню тысяч изменников родины расстреляют — конечно, «под аплодисменты народа» — другие) отвлек их от других замечательных подробностей этого выступления. А ведь румяный бригаденфюрер сообщил нам массу интересного.

Он, например, особо подчеркнул, что расправа состоится, когда «мы» придем к власти. Олег Вакуловский даже не переспросил, кто это — «мы»? А разве не в этом вся соль?

Очевидно же, что речь шла не о Баркашове. Так Веденкин и сказал: «мы» поддержат Баркашова только в случае, если «он попрет». А если «попрет» Жириновский, «мы» поддержат его. Стало быть, и к Жириновскому «мы» не относится. Кто-то совсем другой, выходит, дергает за ниточки не только бригаденфюрера, но и вождей куда более крупного калибра. Так кто же он все-таки, этот кукловод, чью особу представлял Веденкин на Российском телевидении?

Растворилось бесследно в эфире и не менее интригующее заявление, даром что было повторено дважды — что Гитлер начал правиться со своими врагами лишь через шесть лет после прихода к власти. И опять Вакуловский выпустил собеседника сухим из воды. Какие, помилуйте, шесть лет, если уже на протяжении первых месяцев после прихода к власти Гитлер расправился с оппозицией внутри страны полностью? Пресса была очищена от всех нелояльных нацизму, евреи лишены гражданских прав, коммунисты и социал-демократы отправлены в концлагеря. Последними, от кого избавились

еще несколько месяцев спустя, в Ночь длинных ножей, были свои же, тогдашние баркашовцы, чернорубашечники.

Допустим, Веденкин, хоть и рекомендует себя с соратниками людьми эрудированными, в гимназиях не обучался и истории не знает. Но кукловод-то наверняка знает. Откуда же он взял эту цифру — шесть? Неожиданный свет на этот темный вопрос проливает фраза, брошенная бригаденфюрером мимоходом и опять-таки не подхваченная интервьюером, — что очень скоро европейские страны, в первую очередь Германия, заговорят по-русски. Вот теперь все становится на свои места. Ибо Гитлеру и вправду понадобилось именно шесть лет, чтобы заставить Европу говорить по-немецки — подготовиться к агрессивной войне, начать расправу над соседями.

Вот же какую будущность открывает перед нами кукловод устами своей болтливой марионетки! О войне он говорит. О новой Ливонской агрессии, на которую подбивает он Россию, обещая удовлетворить имперские притязания ее фашистских политиков. Какой грандиозный соблазн — на этот раз не какая-то там Прибалтика, но и Германия заговорит по-русски!

Что ж, очень своевременным оказался наш экскурс в историю. Кукловод говорит буквально языком Ивана Грозного, который тоже ведь писал, что коли б не изменники, подобные Курбскому, завоевал бы он с Божьей помощью не только Прибалтику, но и всю Германию. И другие всплывают ассоциации с Грозным, который вел себя в родном Новгороде, как чужеземный завоеватель, убийца и мародер, а иноземных государей третировал так же, как и собственных бояр: те рабы и эти рабы — и никого больше, кроме рабов. Тот же бред величия, та же утрата связи с реальностью, та же шовинистская паранойя... Похоже, что российская история отвечает нам на многие вопросы. Кроме главного: кто он, кукловод, невидимо возвышающийся над нашим доморощенным бригаденфюрером?

Но и этот вопрос при желании можно было прояснить с помощью документов, цитированных в передаче. А также не цитированного в ней московского журнала «Элементы» (как, впрочем, и десятков подобных журналов под тем же названием, издающихся во многих столицах мира).

Существует международный фашистский капитал, финансирующий «глобальную сеть правого экстремизма», как назвал ее в «Нью-Йорк Таймс» от 26 апреля 1995 г. Инго Хассельбах, фашист-расстрига и бывший руководитель этой сети в Германии. Вскользь был упомянут в передаче австралийский миллиардер Николас Оман, симпатизирующий, по словам Веденкина, Баркашову и друг Жириновского. Когда Хассельбах признается, что «практически все наши пропагандистские и учебные материалы переправлялись к нам из Бразилии», он имеет в виду американского миллиардера Герхарда Лаука.

Вот они, эти таинственные «мы»: финансовые столпы всемирной «консервативной революции», ставящей себе целью разрушение современной цивилизации и возвращение мира в средневековье.

Но всему финансовому могуществу этих «революционеров», всей их глобальной экстремистской сети грош цена в базарный день без

гигантского военно-политического тарана, способного вынудить к сдаче весь цивилизованный мир.

70 лет назад, когда после поражения в первой мировой войне Германия переживала то же самое, что переживает сейчас Россия, эти силы сделали ставку на Гитлера — и проиграли. Сегодня, пытаясь взять реванш, они ставят на мятущуюся Россию. Кто же, кроме ядерной сверхдержавы, способен совершить то, с чем в доядерную эпоху не справилась гитлеровская Германия? И где еще найдут они охотников пойти на риск национальной — и всемирной — катастрофы ради достижения их общих бредовейших целей? Где еще отыщется такое множество политических лидеров, вроде Жириновского или Стерлигова, уличных главарей, вроде Баркашова или Анпилова, и самозабвенных фанатиков империи, вроде Руцкого или Проханова?

Воистину Россия — дар небес для международного фашистского капитала, десятилетиями прозябавшего после эпохального поражения Гитлера на глухих задворках мировой политики.

Клио плачет

«Хотя вооруженный переворот возможен, самый первый путь к власти — путь выборов, путь внедрения нашей идеологии в широкие слои населения. Как в Германии — Гитлер к власти пришел путем выборов. Его народ выбрал, народ ему доверил. И Гитлер оправдал это доверие»⁶⁹.

Это Александр Баркашов нам обещает. И Владимир Жириновский, и Николай Лысенко, и Бог весть кто еще обещает нам это сегодня в Москве. А мы над ними только посмеиваемся. Ишь, чего захотели! Чтобы какой-нибудь уличный демагог, скандалист и маньяк, вроде Жириновского или Баркашова, оказался — да еще легитимным, законным способом — у руля великой культурной страны? И превратил ее в националистический орден, в Третий Рим и в военный таран, обрушил все здание международной политики? Не может этого быть! Так не бывает!..

Так было, — отвечает нам Клио.

Был уличный демагог, скандалист и маньяк, который оказался у руля великой культурной страны и превратил ее в националистический орден, в Третий Рейх и в военный таран, разрушивший здание международной политики...

И веймарские либералы тоже посмеивались, считали Гитлера клоуном и комедиантом, площадным крикуном, место которому на свалке истории. Так оно в конечном счете и случилось — но уже после того, как этот клоун сгноил этих высоколобых либералов в концентрационных лагерях и сжег в печах.

Судьба Карла фон Осецкого, самого блестящего из либеральных скептиков веймарской Германии, должна была, казалось, навеки излечить человечество от слепоты. Осецкий получил Нобелевскую премию мира в 1935 году, умирая в нацистском лагере. Ни ему, ни его либеральным единомышленникам не хватило политического воображения, чтобы представить, что невозможное — возможно. Им это,

однако, простительно: они были первыми. Но мы-то читали об этой страшной ошибке в десятках томов. Для нас трудились в поте лица исследователи, кропотливо выясняя, как именно это случилось. На нас работала Клио, ответственная за историческую память человечества. Все расписано, вычислено, объяснено. Теперь мы не можем ссылаться на недостаток политического воображения. При чем здесь воображение, если в руках у нас факты, оплаченные миллионами жизней?

Вот загадка, на которую у Клио едва ли есть ответ.

Снова гордо декламируют либералы: «Мы такие, какие мы есть, с многовековой привычкой к рабству и социальной апатии, [изредка] разряжающейся русским бунтом, бессмысленным и беспощадным... Мы должны найти в себе силы для прорыва в цивилизацию»⁷⁰. Декламируют — и не вспоминают, что точно такая же декламация Осецкого не спасла их немецких предшественников от гибели в фашистских концлагерях. По самой простой причине не спасла: на почве изоляционизма изоляционисты всегда сильнее западников. Хотя бы потому, что, в отличие от последних, опираются они на вековую антизападную имперскую традицию, на ту самую «привычку к рабству и социальной апатии», на которую ссылаются либералы.

И если даже находятся среди них люди, замечающие, как крот национализма подрывает бастионы западничества, их не желают слушать. Им не верят, их не понимают. Вот исповедь замечательного журналиста из «Собеседника» Дмитрия Быкова: «Я остаюсь убежденным демократом, но не могу не видеть, что моя страна отвергает эту идею, противостоит ей, тяготеет к радикальному поправению, ибо не может больше дышать разреженным воздухом полной свободы. Идеологи российской независимости, умеренные политики, ярые коммунисты, религиозные философы, православные публицисты объединяются сегодня на базе национальной идеи. Политик в сегодняшней России, не заигрывающий с национализмом, по-моему, обречен на провал. Самое что ни на есть крутое поправление неизбежно»⁷¹.

Никто из либеральных авторитетов не поднял, сколько я знаю, перчатку, брошенную Быковым.

Повторяется история. Клио плачет. Что ей еще остается?



2
ЧАСТЬ

ЛИДЕРЫ



Глава пятая

Феномен Жириновского

Первые президентские выборы в России 12 июня 1991 г. ознаменовались сенсацией поистине неслыханной. Никому до того не известный кандидат, служивший ранее обыкновенным клерком во второразрядном московском издательстве, да еще с неблагозвучной фамилией и неподходящим по «патриотическим» параметрам отчеством, пришел к финишу третьим, оставив далеко позади всех других кандидатов оппозиции. Лишь таким национального масштаба фигурам, как Борис Ельцин и бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков, удалось его опередить.

Непонятно — как, неясно — почему, но несомненно было — рождается новая политическая звезда.

Дебют

Шесть миллионов голосов были поданы за новичка, дилетанта, только вчера появившегося перед широкой публикой, у которого даже не было своей организации или доступа к телевидению. Шесть миллионов

избирателей предпочли человека, против которого работали на полную мощность все без исключения партийные машины страны, правые и левые, официальные и неофициальные, не говоря уже о центральной прессе.

— Так не бывает, — твердили эксперты всех профилей и калибров. Но так было.

Сейчас уже подзабылось, с чем дебютировал в большой политике Владимир Вольфович Жириновский. Что ж, перелистаем его предвыборную программу, которую, к слову, он получил возможность обнародовать лишь в одной-единственной центральной газете — «Красная звезда» (орган Союзного министерства обороны).

Стержнем программы была отмена деления страны по национально-территориальному принципу. Другими словами, все народы, населяющие Россию, кроме русских, утрачивали право на свою этническую государственность. Автономным республикам и национальным округам предстояло вернуться к безличному статусу губерний, как это было в царской империи¹.

Конечно, Жириновский, как выяснилось впоследствии, — человек малообразованный и к историческим медитациям не предрасположенный. Однако и ему должно было быть совершенно ясно, к чему приведет насильственное подавление этнической государственности малых народов.

Если оглянуться в прошлое, то во многом именно это подавление многочисленных нерусских народов и вызвало в 1917 году внезапный коллапс архаической империи царей. Если посмотреть вокруг, то именно под лозунгами завоевания этнической государственности проливают свою и чужую кровь в войнах и террористических акциях палестинцы на Ближнем Востоке и республиканцы в Ирландии, фламандцы в Бельгии и баски в Испании, корсиканцы во Франции и кашмирцы в Индии.

Что же могло последовать за подавлением **уже существующей** этнической государственности малых народов? Неслыханная по масштабам резня в сердце России, жесточайшая военная диктатура, по сути, тотальная милитаризация страны — как единственная возможность «усмирения» татар, башкир, кабардинцев, чеченцев и еще сотни малых народов, населяющих Россию.

Впрочем, почему только Россию? Программа Жириновского покушалась и на государственную идентификацию крупнейших народов на всей территории еще существовавшего тогда СССР. Допустим, Украинская республика должна была превратиться в Киевскую, Харьковскую, Херсонскую и Львовскую губернии. Война и, следовательно, военная диктатура угрожали бы всей восточной части евразийского континента.

Но и это еще не все. Границы СССР тоже были тесны для Владимира Вольфовича. Он замахивался на всю южную часть евразийского континента. Красиво звучит — Тегеранская губерния Российской империи или, к примеру, Стамбульская. Прямая дорога к мировой войне.

А раз так, то второй акцент в программе — открытая опора на армию. Лидер Либерально-Демократической партии Советского Союза даже вида не делал, что верит в либеральное, демократическое, даже вообще в политическое решение имперского кризиса. Ставка одна — на мощь вооруженных сил. «Надо немедленно остановить разрушение армии. Это последнее, что у нас есть, единственная здоровая сила. Она может остановить гибель государства, ибо политические силы компромисса не достигнут»².

В предвыборных выступлениях Жириновский обещал военным неслыханные привилегии: «...одержу победу — подниму денежное довольствие офицеров до 4 тысяч рублей» (деньги по тем временам, когда зарплата доктора наук и профессора не превышала 500 рублей, фантастические). Подкупая офицерский корпус, кандидат в президенты не только обеспечивал себе голоса на выборах — он заранее готовил главный инструмент диктатуры, которую предполагал первый пункт его программы.

Другое дело, что в отличие от высокопоставленных бюрократов старого режима, готовивших как раз в ту пору августовский путч, Жириновский вовсе не рассчитывал на армию как на орудие захвата власти в разгар кризиса. Он оказался умнее и проницательнее августовских авантюристов, которые, уже держа фактически власть в руках, не

смогли договориться с народом. Его замысел требовал, чтобы сама страна вручила ему власть. Как завоевать народную любовь? Естественно, обещаниями. Картинами изобилия продуктов и товаров, сказочно выглядевшими на фоне продовольственного и товарного дефицита, уже начавшего доводить народ до белого каления. Но как заставить людей уверовать в этот резкий подъем благосостояния и жизненных стандартов, если ресурсы для него в стране отсутствовали, и всем это было известно, а расчеты на непопулярную иностранную помощь не совпадали с имиджем, который Жириновский себе создавал (он даже внешние долги, подобно большевикам, грозился не возвращать)?

Это, конечно, было самое шокирующее место в программе Жириновского: все, в чем нуждается Россия — отнять у более благополучных стран. Взять и ограбить их. Вот так: побряцаю ядерным оружием — и все появится. За 72 часа. А уж дешевую водку — гениальная предвыборная находка! — мы как-нибудь сами произведем.

Естественно, никто не мог публично выступить в поддержку таких планов. Даже всерьез обсуждать их казалось нелепостью. Само участие в выборах подобного кандидата их дискредитировало, придавая им оттенок фарса...

Но откуда же тогда взялись эти отданные за него миллионы голов? Кто они, избиратели Владимира Вольфовича? Неужели у политика такого толка есть в России столь внушительная политическая и социальная база?

Недоумениям не было конца. И только очень немногим наблюдателям, которые уже тогда рассматривали развитие событий в России сквозь призму веймарской гипотезы, метеорный взлет Жириновского представлялся совершенно естественным. По меркам сценария он даже, пожалуй, несколько запоздал. Если перед нами и впрямь веймарская Россия, то она обречена раньше или позже обрести своего Гитлера. Вот она его и обрела. Те самые слои населения, которые в веймарской Германии голосовали за Гитлера, должны и в «веймарской» России составлять заметный процент.

Ни сам Владимир Вольфович со своим немногочисленным тогда окружением, ни тем более его оппоненты, воспитанные на противостоянии коммунизму, а вовсе не гитлеризму, — никто из них тогда, в 1991 году, эту его истинную функцию не понимал. Но что с того? Исторические сценарии имеют свойство раскручиваться помимо намерений и воли главных действующих лиц.

«Я снова к вам приеду»

Когда во время многолюдного митинга на Тракторном заводе в Челябинске в июне 1991 года будущие избиратели хором кричали Жириновскому: «А мы все равно будем голосовать за Ельцина!», он спокойно им ответил: «Голосуйте. Вы хотите еще раз дать ему и другим шанс. Но они уже доказали свою беспомощность, свою некомпетентность, управляя вами. Через пять лет будут новые выборы, и я снова приеду к вам. А вот они уже не приедут, им нечего будет вам сказать»³.

И ведь как в воду глядел! Из шести тогдашних кандидатов в президенты четверо и впрямь канули в политическое небытие. Уцелели на национальной сцене лишь Жириновский и Ельцин. Но пяти лет еще не прошло, и большой еще вопрос — приедет ли в Челябинск Ельцин в июне 1996-го. А вот Жириновский, который на 15 лет моложе соперника, заверил меня, что не преминет приехать и напомнить тракторостроителям свой ответ.

Теперь, я думаю, каждый принял бы эти его слова всерьез. А до декабря 1993 г., до выборов в Думу, его и слушать бы не стали. Феноменальный успех Жириновского не то чтобы забылся, но перешел в разряд анекдотов, которыми разбавляются суховатые политические комментарии. Все дружно сошлись на том, что это фигура случайная, эфемерная: еще немного попоаясничает, а потом окончательно надоест всем и исчезнет. Запад же вообще пребывал все это время в счастливом неведении. Там просто игнорировали феномен Жириновского, словно бы июньской сенсации никогда и не было.

Поразительно, но даже в самом обстоятельном американском исследовании возможных исходов московского кризиса («Россия 2010» Даниела Ергина и Тана Густафсона), опубликованном два года спустя после его фантастического дебюта, Жириновский упомянут лишь вскользь, посвящены ему всего четыре строчки, и даже в них авторы умудрились все перепутать, обозначив его партию как ответвление «Памяти». Я не говорю уже о более поверхностных работах, как, скажем, «Черная сотня» Уолтера Лакера, где Жириновский представлен обыкновенным уличным скандалистом, непонятно чем обаявшим миллионы избирателей.

Декабрьские выборы опровергли старую мудрость о снарядах, не падающих дважды в одну воронку. Русский Гитлер вовсе не исчез с политической сцены. Мало того, он окреп, его электорат вырос в два с половиной раза (с 6 до 15 миллионов). И даже сама российская Конституция, столь дорогая сердцу президента Ельцина, не имела шанса пройти на референдуме без поддержки Жириновского: из 58 процентов отданных за нее голосов 24 принадлежали ему.

Ельцин и Жириновский — дистанция между ними казалась неизмеримой. А теперь Владимир Вольфович может публично заявлять на каждом углу, что он лучший друг президента, что он постоянно гостит у него на даче в Завидово, что они играют в шашки и после этого вместе парятся в бане. И никаких попыток пресечь это неприличное амикошонство зарегистрировано не было. Что должно это означать, кроме того, что Ельцин не может позволить себе роскошь бросить открытый вызов своему бывшему — и будущему — сопернику?

Да, похоже, что роли действительно переменялись. Мысль, что этот человек и в самом деле может стать президентом России, уже не кажется дикой. Вскоре после выборов в Думу даже были предложены поправки к только что принятой Конституции, предусматривающие либо отсрочку, либо вообще отмену новых президентских выборов. Уже сам ранг выступивших с этой идеей политиков (Михаил Полторанин, Владимир Исаков — председатели парламентских комитетов) дает представление о глубине охватившей их паники.

А вот западные аналитики теперь вступили как раз в ту самую фазу постижения проблемы, в которой до декабря 93-го пребывали их российские коллеги. Теперь уже они объявляют успех Жириновского случайным и эфемерным — в один прекрасный день он просто развеется, как дым.

Существует, оказывается, лаг между российским и западным восприятием феномена Жириновского, и это очень опасно. Если он сохранится, то к трезвому осознанию угрозы на Западе придут как раз к июню 1996-го — к новым президентским выборам. А тогда может оказаться поздно предпринимать что бы то ни было. Как поздно было предпринимать что-либо по поводу феномена Гитлера после января 1933-го, когда он ошеломил мир, в один день сделавшись канцлером Германии.

Одинокий волк

На московском оппозиционном Олимпе, куда вознесли Жириновского выборы 1993-го, он в сущности очень одинок. Начните разговор с любым из лидеров российской «патриотической» оппозиции — хоть с «белыми» националистами Сергея Бабурина, хоть с «красными» империалистами Геннадия Зюганова или с «коричневыми» штурмовиками Дмитрия Васильева, даже с бывшим министром безопасности в теневом кабинете самого Жириновского, «национал-большевиком» Эдуардом Лимоновым — и ни один не удержится от брезгливой гримасы при упоминании его имени.

Для «коричневых» он, естественно, неприемлем уже по причине своего подозрительного отчества. «Владимир Вольфович, — высокомерно заявил в беседе с журналистами тот же Васильев, — любит называть себя русским, но, говоря откровенно, никакой он не русский. Если бы он был честен, то перестал бы скрывать свою национальность». Но и сверх того: «коричневые» считают Жириновского не более чем авантюристом без собственной политической философии — как изящно формулирует Васильев, «без глубинного понимания всемирного сионистского заговора»⁴.

Даже Лимонову, восхищающемуся Жириновским как политиком («это его и наше несчастье, что он нерусский»), с ним не по пути: «нет, не пустим мы его [в президенты националистической России]. Нельзя. Владимир Вольфович, талантливый, дорогой — нельзя! Это же совсем будет извращение. За то, что вы отказываетесь от своей нации — пусть вас мучит совесть, а ее — стыд за вас. Сами разберетесь. Но человек, в течение нескольких лет сменивший три идеологии, доверия не заслуживает»⁵.

Коммунисты не переносят Жириновского, конечно, совсем по другим причинам. Да и как, право, любить им человека, публично заявляющего, что «сейчас — мы в бане. Мы смываем эту коросту... эту заразу, то сатанинское, что было запущено в центр России с Запада, чтобы отравить страну, подорвать ее изнутри — через коммунизм»⁶.

А у «белых» на него — свой зуб. Один из крупнейших идеологов этого движения с репутацией самого коварного сказал мне в порыве откровенности: «Не сомневайтесь, Жириновского мы уберем!»

Никто не любит Владимира Вольфовича!

Ну, а в противостоящем «патриотам» либеральном лагере его просто единодушно презирают — за вульгарность, за полубразованность, за претенциозность, за неинтеллигентность и, конечно, за откровенный ультраимпериализм. Даже перешедший сейчас в оппозицию Гавриил Попов, человек достаточно циничный, говорит, что все его базисные идеи означают войну⁷. Да и как, на самом деле, может нормальный европеец относиться к политику, который на всех перекрестках клянется в верности плюрализму и многопартийной системе, без ложной скромности рекомендует себя «человеком с космическим мышлением, как минимум, с планетарным»⁸, и тут же, не переводя дыхания, заявляет: «Я за авторитарный режим»⁹?

Но выше всех разногласий, выше презрения — страх. И для «патриотического», и для либерального лагеря Жириновский воплощает в себе угрозу, которую их лидеры затрудняются точно сформулировать (обвинения в неарийском происхождении и в идеологической всеядности не в счет), но чувствуют всей кожей. Даже Леонид Кравчук, бывший президент Украины, в публичных дискуссиях со своими строптивыми парламентариями использовал имя Владимира Вольфовича как пугало: «Вы хотите, чтобы вместо России Ельцина нам пришлось иметь дело с Россией Жириновского?»

Страшное подозрение, что несмотря на всю их браваду, на пороге стоит Россия Жириновского, парализует и «патриотов», и либералов, затуманивает их мышление и лишает свободы маневра.

Но и Владимир Вольфович не любит никого.

Его положение в сегодняшней России — классическая ситуация аутсайдера, самозванца, если угодно, всегда возникающего в пучине смуты словно бы ниоткуда — в момент, когда силы, борющиеся за власть, теряют доверие электората. Зачем ему такие союзники?

Подобно Гитлеру, Жириновский высокомерно отвергает все претензии и конвенции «истеблишмента» — и либерального, и «патриотического», всех, кого фюрер презрительно именовал «парламентскими фокусниками, критиканствующей партийной сволочью»¹⁰.

Подобно Гитлеру, бесцеремонно вторгается он в их святая святых, ломая все общепринятые правила игры и не уставая демонстрировать, что король, мягко выражаясь, голый. Он обращается непосредственно к публике — через голову «партийной сволочи». И при всем своем презрении к парвеню, истеблишмент — как либеральный, так и «патриотический» — страдает от мучительной неуверенности в лояльности публики к этим самым правилам игры, так откровенно попираемым самозванцем.

Три маленьких примера того, как Жириновский решает «проклятые» вопросы российской политики, демонстрируют это лучше, нежели любые рассуждения.

Вот первый пример. Все лидеры оппозиции одинаково яростно протестуют против возвращения Японии островов Южно-Курильской гряды. Они собирают многолюдные митинги протеста. Они произносят в парламенте речи. Но метят при этом исключительно в прави-

тельство и президента, чтобы заставить их изменить официальную позицию России. Жириновский поступает по-другому. Он обращается напрямую к японцам: мало вам Хиросимы и Нагасаки? Хотите пережить еще одну ядерную катастрофу? Нет? Так забудьте про острова¹¹. И все, вопрос закрыт.

Другой пример связан с последствиями афганской войны. Оппозиция протестует против задержки советских военнопленных, которые, предположительно, содержатся в Пакистане. Оппозиционные парламентарии опять-таки атакуют Кремль, грозно требуя, чтобы он усилил дипломатический нажим на Карачи. А у Жириновского совсем другой план: «Я вызову посла Пакистана и дам ему 72 часа. Если через 72 часа наши ребята не будут в Шереметьеве, я пошлю тихоокеанский флот к берегам Пакистана. И он для начала сметет с лица земли Карачи. Это для начала, а потом и все другие города Пакистана, и мы встретимся с нашими друзьями индусами в Ганге»¹².

Это правда, что в таком «политическом решении» нет ни такта, ни даже элементарного здравого смысла. Но в провинциальных российских аудиториях заглазывают его, не поперхнувшись. Более того, встречают овацией. Российский Гитлер дает отчаявшимся, не уверенным в себе, махнувшим рукой на правительство людям именно то, что им нужно — он воскрешает в них полузабытое ощущение государственной мощи за их спинами. Мы всех заставим считаться с собой! Достаточно поманить униженных, затравленных нуждой и преступностью россиян в это их старинное убежище от всех мыслимых невзгод — напомнить о величии сверхдержавы, крикнуть: «Россияне, гордый народ, двадцать первый век все равно будет нашим!»¹³ — и у них расправляются плечи, и можно вести их в огонь и в воду, не говоря уже об избирательных участках. Удивительно ли, что на этом красочном фоне все остальные лидеры оппозиции выглядят вялыми болтунами?

Третий пример. Босния. Ультиматум НАТО. Российская оппозиция опять скандалит в парламенте. А Жириновский едет в Белград. Он заявляет от имени сверхдержавы, что бомбардировка авиацией НАТО артиллерийских позиций сербов вокруг Сараево будет рассматриваться как объявление войны России. И что вы думаете? Немедленно задвигались ржавые механизмы российской дипломатии. И президент Ельцин смиренно послал своего представителя к открытым противникам своего режима, сербам — и добился от них того, чего не удалось добиться Западу за два кровавых и унижительных года замешательства: сербы снимают осаду Сараево.

Кто еще среди лидеров оппозиции был бы способен говорить в чужой стране от имени России, да так, чтобы ему кричали «ура!» на площадях? Зюганов? Стерлигов? Бабурин? Васильев? Лимонов? И уж тем более — не Гайдар, не Явлинский, не Шахрай, не Попов и не любой другой лидер противостоящего «патриотам» лагеря. Достаточно поставить этот вопрос, чтобы стало совершенно ясно: на президентских выборах 96-го у Ельцина не будет сильных соперников — кроме Жириновского.

Ядерный Робин Гуд

Если б меня попросили суммировать в одной фразе отличие Владимира Вольфовича от толпы истеблишментарных оппозиционеров, я процитировал бы его собственный символ веры: «Надо сплачивать нацию на базе внешнего врага»¹⁴.

Не то, чтобы эта идея была чужда «патриотическим» политикам, чьи инвективы против «внешнего врага» — будь то «мондиализм», или просто Запад, или «всемирный сионистский заговор» — ничуть не слабей по непримиримой ярости заявлений Жириновского. Даже, пожалуй, покруче. Разница в том, что для них проповедь вражды к миру — идеология, а для Жириновского — практическая политика. Они заняты пропагандой в психологической войне, а он делом.

Может быть, это только слова — что он приступит к завоеванию Юга и к ядерному шантажу Запада на следующий день после того, как его изберут президентом? Нет. Я говорил с этим человеком, и у меня нет ни малейшего сомнения, что он исполнит все, что обещает.

Тем более не могут усомниться в нем многолюдные толпы на митингах. Ведь он вкладывает в каждое слово такую искреннюю силу убеждения, такую веру, такую мощь излучает его несомненная харизма! Он бесконечно убедителен, особенно для людей, не искушенных в профессиональной политической демагогии. Им и в голову не приходит, что это может быть обман.

Страх истеблишментарных политиков закономерен. Народ и впрямь может уверовать, что «последний бросок на юг», к нефтяным полям Ближнего Востока, и ядерный шантаж Запада есть кратчайший путь к преодолению российского кризиса. Почему же нет?

Вспомним, как на президентских выборах Жириновский обещал избирателям накормить страну за 72 часа. Как? «Очень просто: введу войска в бывшую ГДР, полтора миллиона человек, побряцаю оружием, в том числе ядерным — и все появится»¹⁵. Этаким новоявленным Робин Гуд с ядерными ракетами: ограблю сытый Запад — и накормлю голодных в России.

А новая Хиросима? А «стирание с лица земли» Карачи? А превращение Турции в Стамбульскую губернию Российской империи?

Все ссылки на международное право, на общепринятые законы политической игры звучат жалким лепетом. Для Робин Гуда, как для всякого разбойника, нарушение всяких правил и есть главное правило. И именно на этом собрал он в 1991 г. шесть миллионов голосов, а в 1993-м — пятнадцать.

Это наивные западные политики могут уверять себя и своих избирателей, что ядерный кошмар, полвека нависавший над нами, кончился и мир отныне свободен от угрозы мгновенного самоуничтожения. На самом-то деле, по крайней мере до 2003 года, сверхмощные советские СС-18 могут быть в любой момент перенацелены на любой объект на Западе. И Жириновский это знает. Он рассчитывает стать президентом России задолго до истечения этого срока. А с этого момента все договоры станут пустыми бумажками.

«Такой я вижу Россию. У нее будет самая сильная в мире армия, войска стратегического назначения, наши ракеты с многозарядными

установками. Наши боевые космические платформы, наш космический корабль «Буран» и ракеты «Энергия» — это ракетный щит страны. Полная безопасность, у нас нет конкурента»¹⁶.

Что с того, что конвенциональный Ельцин обещал нацелить эти ракеты на мировой океан? Жириновский не намерен исполнять его обещания, когда станет президентом. Он вообще не намерен придерживаться ни одной международной конвенции, основанной на «ядерном паритете» или «взаимном сдерживании». «Сдерживание» занимает его ничуть не больше, чем Гитлера — судьба Локарно. В отличие от конвенциональных политиков, российских или западных, он готов рисковать взаимным уничтожением.

Именно эта его готовность к смертельному риску, эта полная свобода от морали или политических условностей и развязывает ему руки в конвенциональном мире. Он может делать то, на что никогда не решится ни один истеблишментарный политик, запутавшийся, по мнению Жириновского, в паутине международных договоров, оторвавшийся от реальности ядерного века и не способный поэтому использовать убийственный политический потенциал оружия, которым он располагает.

И когда оппоненты думают припереть его к стенке обвинениями в элементарном шантаже, они просто не понимают, что Жириновский, подобно Гитлеру, творит совершенно новую политическую вселенную, где царит обнаженное насилие и побеждает решимость рисковать не только собственной судьбой, но и судьбою мира. В эту новую вселенную, точно отражающую состояние его страны — состояние тотального цивилизационного коллапса — Жириновский намерен втиснуть весь остальной мир.

Это президенты западных стран, упоенные победой в холодной войне, могут толковать о «новом мировом порядке». Как их предшественники после первой мировой войны не приняли в расчет феномен Гитлера, опрокинувший все их реформы и планы, — так и они забывают сегодня о феномене ядерного Робин Гуда. А Жириновский между тем уверен, что самим фактом своей безнадёжной конвенциональности они сдали ему все козырные карты. И потому может он блефовать в свое удовольствие, брать их на слабо, взрывая условности цивилизации. Он заговорит с ними на своем, никогда ими не слыханном языке. Во сколько вы оцениваете Токио? — спросит он. А Карачи? А Лондон? А Лос-Анджелес? Сколько готовы вы заплатить, чтоб я не стер их с лица земли ракетами и боевыми космическими платформами? Сомневаетесь? Хотите проверить? С чего начнем?

Именно таким, похоже, будет Новый порядок, который Владимир Вольфович, вопреки всем расчетам западных политиков, навяжет миру, едва переступит порог Кремля как президент ядерной сверхдержавы. И что самое интересное, он будет совершенно уверен в своем праве. Ибо цель его — воссоздание «предательски разрушенной» Российской империи — не только справедлива, но и священна, с его точки зрения.

И границы он уже точно определил, в каких должна она быть воссоздана, чтобы Новый порядок утвердился прочно и никаким врагам не удалось «погубить нацию окончательно»¹⁷. Для этого тесны границы 1914-го, несмотря даже на то, что включали они, как мы с вами по-

мним, Польшу и Финляндию. Тесны даже границы 1865 г., включавшие, сверх того, и Аляску. Нет, покада новая Российская империя не встанет «ногою твердой» на берегах Индийского океана и Средиземноморья, не включит в себя мусульманские земли — и нефть! — Ближнего Востока, — ее нельзя будет считать воссозданной, а только это «сразу решает все проблемы, потому что мы обретаем спокойствие»¹⁸.

И карту новую он уже вычертил. «Мы обретаем четырехполосную платформу. Когда мы будем опираться на Ледовитый океан с севера, на Тихий океан с востока, на Атлантику через Черное, Средиземное и Балтийское моря и, наконец, на юге огромным столпом мы обопремся о берега Индийского океана, — то мы обретаем и спокойных соседей. Дружественная Индия. Тихая спокойная русско-индийская граница»¹⁹. Это на юго-востоке. А на юго-западе — такая же тихая и спокойная граница с «дружественным Ираком». Ну, а все, что между Ираком и Индией — Афганистан, Турция, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и Эмираты — наше, как залог того, что мы «обезопасили себя раз и навсегда»²⁰.

И как эта новая империя будет устроена, он уже продумал: «Господство русского языка, русского рубля, главенствующее место русской армии, как наиболее боеспособной... и это исторически естественно, не какая-то выдумка, не фантазия. Это реальность»²¹.

Запомним последнее слово.

Даже не читавшим, а только слышавшим о «Майн Кампф» приходит в голову эта параллель. Сопоставление же текстов создает эффект поистине головокружительный. Начнем хотя бы с той же проблемы границ.

Двойники

«Требование восстановления этих границ — политическая бессмыслица и притом такая, которая по своим размерам и последствиям равна преступлению... Требование вернуться к границам 1914 г. вполне соответствует узости кругозора нашего буржуазного мира. Полета ума для будущего у этого мира не хватает. Он живет только в прошлом»²².

«Интересы нашего будущего требуют величайших жертв, независимо от соображений политической мудрости, ради одних этих жертв надо поставить себе действительно достойную цель»²³.

«Мы будем неуклонно стремиться к тому, чтобы наш немецкий народ получил на этой земле такие территории, которые ему подобают... мы сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе»²⁴.

Только слово «немецкий» и дата — 1914 год — не позволяют ошибиться в авторстве. Да еще направление «последнего броска»: Гитлер планировал двигаться не на юг, как Жириновский, а как раз на восток. «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, разумеется, можем иметь в виду только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены»²⁵. Остальное совпадает полностью: мотивы, аргументы, пафос. Рассказывают даже, что первоначально Гитлер намеревался свою книгу назвать «Последний бросок на Восток».

И по Гитлеру, и по Жириновскому земли, подлежащие колонизации новой великой империей, населяют варвары, недочеловеки, не способные ни к государственной самоорганизации, ни к созданию своей культуры. Народы эти обречены на вечную вражду и ненависть друг к другу, на постоянную войну — покада не войдут в состав новой империи, которая призывает их, наконец, к порядку. В обоих случаях великая империя, будь то германская или русская, выступает спасительницей цивилизации, избавляет мир от вечного сидения на пороховой бочке.

Говорит Гитлер: «Сама судьба указывает нам перстом... Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях. Теперь это ядро истреблено. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут собственными силами скинуть ярмо евреев, так и евреи не в силах держать в своем подчинении огромное государство. Оно неизбежно обречено на гибель. Конец еврейского господства будет также концом России как государства. Судьба предназначила нам быть свидетелями такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было подтвердит безусловную правильность нашей расовой теории»²⁶.

Говорит Жириновский: «Мы стоим на юге, но он рыхлый, он огнедышащий, он бунтующий... Все это — не стабильно. Все это — в состоянии открытой войны, враждебности. И поскольку эти народы часто воевали, у них уже — кровная месть, они уже не могут успокоиться, будут воевать всегда... война на Ближнем Востоке — она не закончится, и в конечном счете может стать причиной третьей мировой войны. Поэтому последний бросок России на юг еще и исключит третью мировую войну. Это не только решение внутренней проблемы России и успокоение народов этого региона от Кабула до Стамбула. Это решение и глобальной задачи планетарного значения»²⁷. Мечта Жириновского — «чтобы любой взвод русских солдат мог навести порядок на любом пространстве!»²⁸

Если же великий народ смалодушничает, гибель его неминуема. Жириновский искренне убеждал меня, например, что без воссоздания великой империи и ликвидации этнической государственности нерусских народов «русские везде станут национальным меньшинством, медленно утичтожаемым, это будет медленное убийство русской нации... Если мы пойдем таким путем, русский народ погибнет»²⁹. У Гитлера находим идентичный пассаж: «Право на приобретение новых земель становится не только правом, но и долгом, если без расширения своих территорий великий народ обречен на гибель»³⁰. И к рассуждениям Жириновского о невозможности оставаться мировой державой, потакая «малым народам», находим у Гитлера точную рифму: «Мы ни в коем случае не возьмем на себя роль защитников пресловутых «малых народов». Наша роль — роль солдат своего собственного народа. Германия либо будет мировой державой, либо этой страны не будет вовсе»³¹.

Лишнего ни один из двойников на себя не берет: он — всего лишь исполнитель великого замысла Бога, или природы, от чьего имени как бы и действует. Каждому народу суждено свое место на земле и в истории. Если этот порядок нарушается, его необходимо

восстановить. Жириновский, правда, — пока — не решается так открыто и высокомерно прокламировать этот примитивный расизм, как это делал Гитлер: «В особенности, если дело идет не о каком-нибудь негритянском народце, но о великом германском народе, которому мир обязан своей культурой»³². Но и он уже приближается к этому: «С миром ничего не случится, если даже вся турецкая нация погибнет... Никакой турецкой культуры нету... Мы должны понять, наконец, кто принес цивилизацию в этот мир»³³. Да, представителям «высшей расы» не нужно специально обосновывать свое презрение к «черным», неважно, кого под ними понимать — африканцев, как Гитлер, или мусульман, как Жириновский, виртуозно эксплуатирующий закипающую в России расовую ненависть к южным народам. И так же свободно, оказывается, можно заменить в этих концепциях один избранный народ, «принесший цивилизацию в этот мир», другим: для Гитлера это были арийцы, для Жириновского, естественно, — русские.

«И на этом новом пространстве — до берега Индийского океана все будут говорить по-русски... тюрко-язычные и фарси-язычные, славяне и греки, курды и арабы... Индийский океан — а дальше на север бескрайние просторы России. И гарнизоны русской армии, как маяки, предупреждающие об опасности братья за оружие»³⁴.

Что же это — плагиат? Но когда оригинал настолько общедоступен, плагиатор старается избежать хотя бы явных, дословных совпадений. Поэтому вполне вероятной кажется другая версия: воспроизводясь в полном объеме, исторический сценарий выводит на сцену двойника, который несет те же идеи и выражает их в тех же формулах. И это страшнее. Значит, в германском нацизме не было ровно ничего уникального. Значит, он — естественный продукт распада имперского сознания. И значит, «веймарская» Россия — это не только моя метафора.

Три ответа Зсладу

А ведь смелая, согласитесь, мысль — установить свое господство на Ближнем Востоке. И не только смелая, но и вполне резонная. Соединить тюменскую нефть на севере России с иранской и ближневосточной — и все, дело сделано. Не нужно даже идти войной против Запада — он и так окажется в наших руках. Диктуя ему монопольные цены на нефть, мы и так завладеем его богатствами. Угрожая при малейшем неповиновении перекрыть нефтепроводы и арестовать танкеры, мы и так становимся хозяевами его судьбы. Трогательные картины «замирения» на континенте, во вторую очередь, а прежде всего — именно эта точно выстроенная перспектива служит конечной целью «последнего броска».

Ну, а Запад? Что ж, так и будет он сидеть, сложа руки? Так и будет беспомощно наблюдать, как перерезают ему жизненные артерии?

Это хороший вопрос. Но Жириновский к нему готов. Не сомневайтесь, у него в запасе есть несколько сильных ответов.

Прежде всего, говорит Владимир Вольфович, наш ядерный щит наготове. Помните «наши ракеты с многозарядными установками»?

«Наши боевые космические платформы»? Так он все это и называет: «ракетный щит страны». Этот щит обеспечит нам невмешательство Запада, что бы мы ни вытворяли на юге. Именно в этом смысл туманной и полуграмотной его фразы: «Единственно, кому бы это могло не понравиться — Америке, но она не станет вмешиваться. Слишком тяжел другой вариант развития событий для нее, если она вмешается, слишком много отрицательных последствий будет, если она станет препятствовать установлению южных границ России»³⁵.

Называя вещи своими именами, Владимир Вольфович открыто рассчитывает на новый Мюнхен. На то, что в последний момент Америка, а следовательно Запад, так же предадут Турцию в каком-нибудь 1997-м, как за полвека до этого Англия и Франция предали Чехословакию.

А вы уверены, что какое-то западное правительство пойдет на смертельный риск из-за Пакистана и Турции, не говоря уже о фундаменталистском Иране? Если сейчас они этого не понимают, то тогда уже обязательно поймут, что имеют дело с ядерным Робин Гудом, которого угроза взаимного уничтожения не остановит.

Ведь и без всякого щита: что делали великие европейские державы, когда армии Гитлера захватывали одну европейскую страну за другой? Да ровно ничего. Отсиживались за линией Мажино. А до того? Англичане не принимали Гитлера всерьез ни в 1930-м, когда его партия впервые набрала 20 процентов голосов на выборах, ни в 1933-м, когда он стал канцлером, ни в 1937-м, когда они уступили ему в Мюнхене Чехословакию, ни даже в сентябре 1939-го, когда он ворвался в Польшу. Все это время сэр Уинстон Черчилль, который в одиночестве кричал о смертельной опасности, нависшей над Британией, ходил у сограждан в поджигателях войны. Только в мае 1940-го, когда армии Гитлера вторглись во Францию, когда их собственный экспедиционный корпус был прижат к Ламаншу и беспощадно разгромлен в Дюнкерке, поняли, наконец, англичане, что Британия и впрямь на краю гибели, и поджигатель войны Черчилль чудесным образом превратился в спасителя отечества.

Вот эти характерные черты западной ментальности — нежелание смотреть в глаза опасности, уверенность, что чем страшнее, тем менее она вероятна, — это и есть козырный туз Владимира Вольфовича. Он уверен, что Запад так и будет отсиживаться за этой своей невидимой психологической стеной, покуда не станет слишком поздно вмешиваться в российскую политическую битву. Что поймет он реальную угрозу, лишь когда уже будет крепко взят за горло.

Принимает Жириновский в расчет и более тонкие материи. Ориентируя свой геополитический план на юг, а не на запад, Жириновский апеллирует к тревогам и опасениям самого Запада, к его собственному страху перед распространением исламского фундаментализма и фанатизма. «Разве пан-исламистские идеи способствуют улучшению миропорядка? Разве они не представляют угрозу для человечества?»³⁶ — невинно спрашивает Жириновский.

И продолжает: «Большинству человечества выгодно, чтобы был рассеян мусульманский мир. Нужно исключить мусульманскую опасность... Со всех точек зрения поход русской армии с выходом на берег Индийского океана и Средиземного моря — это... исключение

возможной войны между Ираном и Ираком, между Афганистаном и Таджикистаном, между Пакистаном и Индией... Наконец, мы предотвратим термоядерную войну» (между Израилем и арабами?)³⁷ Слепому, короче, ясно, что «плюсы при осуществлении данной операции значительно перевешивают минусы»³⁸.

И это не оригинальная спекуляция. Жириновский опять вторит Гитлеру. Тот тоже, как известно, эксплуатировал страх Запада перед коммунизмом. И тоже изображал свой «бросок на Восток» как великую историческую миссию, предначертанную судьбами Германии и мировой цивилизации. Тогда Запад клюнул на эту приманку. И то же, не сомневается Жириновский, произойдет и сейчас.

«Россия только сделает то, что [ей] предначертано, выполнит великую историческую миссию, освободит мир от войн, которые начнутся всегда на юге... Это чисто российский вариант, он выработан самой ее судьбой, иначе не сможет развиваться, погибнет сама Россия... взорвется и уничтожит всю планету. Этого допустить нельзя. Поэтому нужно всем договориться, что Россия должна установить свои границы в новом регионе»³⁹.

Однако не во всем Жириновский вторичен по отношению к Гитлеру. Есть у него собственные, принципиальные, как он считает, геополитические открытия. Сводятся они к тому, что новый передел мира выгоден не только Западу в целом, но и каждой великой державе в отдельности. Всем сестрам по серьгам: у любой из них есть естественная сфера влияния, свой колониальный хинтерланд, свой, одним словом, юг. Туда они могут «бросаться» сколько угодно, Россия не станет вмешиваться, если они не будут препятствовать российскому «броску». Именно это новый фюрер называет «региональным сотрудничеством по принципу север — юг»⁴⁰.

Давайте честно признаем, обращается он к великим державам, что XX век ничего хорошего миру не принес. Давайте согласимся, что распад колониальной системы, холодная война и конфронтация сверхдержав, не говоря уже о двух мировых войнах, были временной aberrацией. Давайте договоримся перевести стрелку исторических часов на столетие назад, к временам до первой мировой войны, и поделим мир снова — теперь уже навсегда. Без псевдогуманистических иллюзий, без фальшивой заботы о судьбах «малых народов», которым сама судьба предназначила быть нашими колониями, то бишь губерниями. Поделится — и интересы великих, т. е. в первую очередь ядерных держав практически никогда и нигде не будут пересекаться. А это в свою очередь исключит возможность ядерного конфликта.

«Нужно договориться, и пусть это будет мировой договор, что мы разделяем всю планету, сферы экономического влияния и действуем в направлении север — юг. Японцы и китайцы — вниз на Юго-Восточную Азию, Филиппины, Малайзию, Индонезию, Австралию. Западная Европа — на юг — африканский континент. И, наконец, Канада и США — на юг — это вся Латинская Америка. И это все на равных. Здесь нет ни у кого преимуществ... Поэтому расклад по такой геополитической формуле был бы очень благоприятен для всего человечества... Был бы установлен и мировой порядок в целом»⁴¹.

Понадобится Соединенным Штатам что-нибудь сделать с Кубой,

Франции с Ливией, а японцам ну хоть с Сингапуром — пожалуйста! Всем — карт бланш, Россия и бровью не поведет. Но уж если ей понадобится выкрутить руки, скажем, Турции или Ирану, то и вы, господа хорошие, не лезьте. Не ваше собачье дело, дипломатическим языком выражаясь.

«И экологически мы бы тоже спасли планету. Меньше летало бы самолетов. Ведь сейчас из Стамбула летят в Африку, а они могли бы лететь в основном к нам, на север, и здесь получить то, что нужно»⁴². И уже тем более каждая великая держава получит «то, что нужно» для спокойствия. Даже Германия, которую Жириновский подозревает в тайных, еще с давних времен сохранившихся намерениях: и она «получит возможность восстановить Восточную Пруссию за счет территории Польши — части ее. Может быть, часть Моравии от Чехии. И немцы успокоятся, больше не будут двигаться никуда на Восток»⁴³.

Жириновский ведет себя точь-в-точь как дьявол — запугивает, но одновременно и соблазняет. Так же, как он обещал своей стране накормить ее за 72 часа, обещает он миру тишь да гладь, да Божью благодать, да еще, в случае нужды, и помощь... «Но лишь при одном условии — сперва Россия получает то, что ей надо... и последнее слово будет за русскими»⁴⁴.

Последнее слово

Вот теперь, когда геополитический план Жириновского очерчен достаточно подробно, и поговорим: насколько он реален? Я думаю, у читателей вряд ли могут быть сомнения в том, что хотя в общих чертах план этот заимствован у Гитлера, тем не менее он очень тщательно и грамотно адаптирован к геополитическим реалиям ядерного века. Здесь узнается почерк стратегов советского Генштаба. Владимир Вольфович предвидит главные вопросы и возражения, которые могут возникнуть у его оппонентов, и вполне как будто бы убедительно на них отвечает. План по-своему строен, и в нем, по существу, нет логических прорех.

Недостатки плана — те же, что были у Гитлера, т. е. скорее экзистенциальные.

Целое поколение российской молодежи должно будет стать пущечным мясом во имя расширения империи и завоевания нефтяных полей Ближнего Востока. Запад есть Запад. Но Восток — есть Восток. Смертельный вызов 800-миллионному мусульманству, естественно, вызовет ответный огонь гигантского, по сути, всемирного джихада и терроризма. Не для того же, в самом деле, боролись столько лет палестинцы за свою автономию, чтобы оказаться еще одной российской провинцией! А террористический потенциал афганского или иранского фундаментализма? Вместо того, чтобы успокоить огнедышащий, по собственной оценке Жириновского, Юг, российский «бросок» раздует вселенский пожар, толкнув умеренных мусульман в объятия фундаменталистов.

Но даже принеся эти неслыханные жертвы, Россия не расцветет. Она без остатка растворится в мусульманском море. Чтобы удержать его в берегах, она неминуемо должна будет превратиться в

жандарма Центральной Азии и Ближнего Востока, положить все силы на исполнение полицейских и карательных функций в чуждом ей культурном мире. Значит, и ее внутривластительное устройство придется организовать соответственно — по полицейскому, тоталитарному принципу.

Режимы Гитлера и Сталина побледнеют в сравнении с Новым порядком Жириновского. Он принесет с собою не только гибель русской культуры, но в конечном счете и национальное самоубийство. Выбрать Жириновского президентом — первый шаг России к пропасти.

Но все эти роковые экзистенциальные последствия Нового порядка, как в случае с Гитлером, проявятся, лишь когда сделать ничего уже будет нельзя. Как мы знаем из исторического опыта, свернуть с этого погибельного пути с таким президентом она уже больше не сможет.

Сколько уже убедил Жириновский, что «последний бросок на Юг, выход России к берегам Индийского океана и Средиземного моря — это действительно задача спасения русской нации»⁴⁵? Что никакого другого пути спасения нет? Скольким внушил, что «все наши действия в направлении Юга хорошо продуманы, у них есть геополитическое, национальное, идеологическое обоснование»? Скольких заставил поверить, что «нас поймут во всех столицах мира»⁴⁶?

Обезумевший национализм XX века опять пытается навязать свои условия еще не успевшему залечить старые раны миру.

Откуда берутся такие политики? Как формируется в их умах эта фатальная для их страны, а быть может, и для планеты политическая философия, подчиняющая их себе, как рабов? И интеллектуальная база, на которой зиждется план Жириновского, то, что он сам называет его «идеологическим обоснованием»: каковы они на самом деле?

Сначала попытаемся прояснить жизненные условия, в которых формировались этот характер и эта философия.

«Я был каким-то лишним...»

Интимные вопросы были неуместны в нашем политическом диспуте с Владимиром Вольфовичем в июне 1992 г. Пришлось обратиться к другим источникам.

Есть две более или менее полные биографические справки. Явная ангажированность одной компенсируется откровенной ироничностью другой. Первая, можно сказать, официальная, т.е. авторизованная и опубликованная в партийном журнале «Либерал», написана партийным журналистом С.Плехановым. Автор второй, иронической биографии — независимый журналист В. Назаров. Я также побывал в Институте Азии и Африки (бывшем Институте восточных языков Московского университета), где с 1964 по 1970-й учился Жириновский, беседовал с его бывшими сокурсниками и с руководителями института. Наконец, у нас есть и нашумевшая книга самого Жириновского, построенная по образцу «Майн Кампф» — смесь исповеди, автобиографического трактата и партийной программы.

Родился Владимир Вольфович 25 апреля 1946 г. на окраине советской империи, в Алма-Ате, столице Казахстана. Первые 18 лет, которые он там провел, оставили в его психике глубокую травму.

Скажем сразу: как в «Майн Кампф», в автобиографии Жириновского преобладает мотив жалобы на жизнь. И так же, как у Гитлера, концентрируется эта жалоба вокруг двух сюжетов: бедности, неудач и разочарований («в результате я по-настоящему так и не полюбил никого. И впоследствии, на протяжении всей моей жизни я так и не встретил ту необходимую мне любимую женщину»⁴⁷) — и национального вопроса («национальный гнет я испытывал с самого детства»⁴⁸).

Ни одного светлого воспоминания о своих ранних годах наш герой не сохранил: «У меня с детства было ущемление во всем... я рос в такой обстановке, где не было никакой теплоты, ни с чьей стороны — ни со стороны родственников, ни со стороны друзей и учителей. Я был каким-то лишним всегда, мешал всем, был объектом критики»⁴⁹. Маленький Жириновский был шестым ребенком в семье, родившимся после трех сестер и двух братьев, о которых — никто еще не разгадал этой загадки — ни его биографы, ни он сам не сообщают нам ровно ничего. Как, впрочем, и об отце. Первый ответ Жириновского о его этническом происхождении («Мама — русская, а отец — юрист») вошел в анналы советского анекдота. Надо полагать, вопрос это для него болезненный, и о нем поэтому надо говорить отдельно.

Но Бог с ним, с отцом. Он умер еще до рождения сына. Однако, и с живыми братьями и сестрами Жириновский не дружит. И вообще ни с кем не дружит. И никогда, как он сам с некоторым надрывом признается, не дружил: «Мне не везло в жизни, потому что близкого друга, я считаю, не было... такова уж была моя судьба, что я по-настоящему не испытывал ничего ни в любви, ни в дружбе»⁵⁰. И не потому, что не хотел, наоборот, очень хотел, но просто не умел — ни дружить, ни любить: «Мне так хотелось влюбиться в кого-то, но не получилось, не смог я»⁵¹. Даже его «первые попытки вступить в половой акт были неудачны»⁵². Далее следует подробное изложение неудачного опыта, которое мы с вами, читатель, пожалуй, опустим.

И действительно, трудно представить себе кого-то рядом с Жириновским — не только на политической арене, но и в личной жизни (хотя у него есть жена и сын). Я сначала подумал, встретившись с ним, что это мое субъективное впечатление. Но оказалось, что и соратники по партии воспринимают его точно так же. «Он очень одинокий человек», — сообщает Эдуард Лимонов⁵³. «Как человек он очень и очень одинокий», — подтверждает бывший министр культуры в его теневом кабинете Сергей Жариков⁵⁴.

Нужда и одиночество — подробности, роднящие Жириновского и Гитлера.

«Всю жизнь нищета, — жалуется Владимир Вольфович. — У меня не было денег ни на что»⁵⁵. Правда, еда, хоть и скудная, в доме была, работать в детстве не приходилось. Гитлеру, который остался сиротой в возрасте, когда Жириновский еще учился в школе, пришлось труднее. Он вспоминает это время как годы «тяжелого горя и лишений... я сначала добывал себе кусок хлеба как чернорабочий, потом как мелкий чертежник, я жил буквально впроголодь и никогда не чувствовал себя сытым»⁵⁶.

Еще интересней — и важнее, — что и на того, и на другого лишения оказали одинаковое психологическое воздействие — они привели к раннему и острейшему пробуждению имперского национализма. Вину за голодное и безрадостное детство оба возложили не на окружающих и даже не на социально-политический строй в стране, где они росли, а на нацию, ее населявшую. Гитлер — немец, родившийся в Австрии, — проникся идеей, что «упрочение немецкой народности требует уничтожения Австрии»⁵⁷. Жириновский — русский, или наполовину русский, родившийся в Казахстане — взрастил в себе точно такую же ненависть к Казахстану. А заодно, конечно, и ко всем остальным национальным республикам Средней Азии. «Я сам родился в Средней Азии», — горячился он, доказывая мне, что «мы считали это Россией, а не Средней Азией. И жили там (первоначально) одни русские, и русские несли цивилизацию»⁵⁸. Но их унизили, сделали гражданами второго сорта. Этническая государственность сделалась в его глазах источником всех бед. В том числе и его личных.

С молодых ногтей он страдал, чувствуя себя «периферийным русским», одним из тех, кого превратили в квалифицированную службу «коренных наций», сосредоточивших в своих руках землю, ее продукцию, распределительные функции и власть⁵⁹. И с детства в нем рос протест против того, что «на земле хозяйничают казахи, азербайджанец, грузин... а русского, фактом своего рождения отринутого от обладания землей, в любой момент могут сдвинуть с насиженного места ветры вражды». Русских в национальных республиках он называет «гастарбайтеры»⁶⁰.

Я знаю многих русских, родившихся в республиках СССР, моя жена выросла на Кавказе, я сам провел детство в Средней Азии, но никогда не встречал, по крайней мере, во времена, описываемые Жириновским, такой обнаженной остроты имперского мироощущения.

Детские обиды не забылись, они стали основой его мироощущения, а затем и политической философии. И когда говорит он сегодня, что Казахстан должен «вернуться в Россию на правах губернии», означает это лишь одно: в той империи, которую он намерен воссоздать, гражданами второго сорта будут казахи. Русские будут в ней хозяевами. И то же самое имеет он в виду, излагая свой взгляд на боснийских мусульман и их право на национальное самоопределение (Словения, январь 1994 г.): «А кто такие эти мусульмане? Я их в упор не вижу. Пусть будут Великая Хорватия и Великая Сербия»⁶¹.

Так и Гитлер уже в отрочестве содрогался от мысли, что «в несчастном союзе молодой германской империи с австрийским государственным призраком заложен зародыш мировой войны и будущего краха»⁶². Правда, он вовсе не считал австрийцев нацией. Для него это была лишь искусственно отделенная от молодой империи часть ее народа. Совсем иное дело — Казахстан, другая, по существу, страна, населенная другим народом. Жириновский же считает его исконной частью России, на том основании, что в прошлом веке территория эта была завоевана и колонизована царской армией — и оказалась частью империи. Его, Владимира Вольфовича, родной империи, которой на этом же основании принадлежат и Финляндия, и Польша, и даже Аляска, и уж тем более Прибалтика.

В последующие годы не произошло ничего, что могло бы смягчить

юношескую фрустрацию. В надежде «выпрыгнуть за пределы уготованного ему социального статуса», прорваться в политику, Жириновский приехал в Москву. Где же, как не в сердце его империи, мог он этого добиться?

Стоял год 1964-й, год свержения Хрущева, начала эры политической стагнации. Для Жириновского, однако, этот год принес единственную, пожалуй, в его жизни — до участия в президентских выборах — грандиозную удачу. Он попал (как впоследствии выяснилось, случайно) в привилегированный Институт восточных языков Московского университета. Но и здесь оказался он одинок. Элитарные институты были в те времена оккупированы московской «золотой молодежью». Естественно, что «выходец из бедной семьи, обитавший в общевитии, кое-как сводивший концы с концами благодаря скромным переводам от матери, не мог рассчитывать на то, чтобы подружиться с бонвиванами»⁶³.

На четвертом курсе произошло событие, о котором Жириновский рассказывает так туманно, что без расшифровки и не понять. Элитарные институты, в особенности готовившие специалистов для работы за рубежом, были не только заповедниками бонвиванов, но и кузницей кадров для КГБ. За одинокими малообеспеченными провинциалами, как Жириновский, охотились специально. Их можно было завербовать за небольшую прибавку к стипендии, не говоря уже об обещании прописки и жилья в Москве, на которое они покупались практически все. К невоздержанным же на язык применялись еще более простые методы.

Сам Жириновский сообщает следующее: «Уже в январе 68-го года — первый политический удар. Мне не утверждают характеристику для поездки переводчиком на один месяц со спортивной делегацией в Турцию — как политически неблагонадежному»⁶⁴. Удар действительно сильнейший, и последствия он должен был иметь катастрофические: как минимум — исключение из университета, но еще вероятнее — арест. С «политически неблагонадежными» в СССР никогда не церемонились.

С Жириновским же, судя по его собственным словам, произошло нечто совершенно невероятное. «Я приложил максимум усилий, чтобы мне все-таки утвердили характеристику. В апреле 1969 г. я впервые поехал в капиталистическую страну»⁶⁵. Что же это были за такие чудодейственные усилия? И где, интересно, он их прикладывал? Любому, кто хоть сколько-нибудь знаком с обстановкой в Московском университете (я сам закончил его в 1953-м), абсолютно ясно, что произошло. Парня завербовали. И в Турцию он поехал уже в этом качестве.

Первый блин оказался комом. В Турции с Жириновским произошли какие-то загадочные неприятности, ему даже пришлось посидеть в тюрьме (чего он, как сразу догадывается читатель, до сих пор не простил туркам). Но все материалы, связанные с этим приключением, почему-то исчезли из его личного дела. Там не осталось ни характеристики, добытой такой дорогой ценой, ни объяснительной записки, которую полагалось написать по возвращении. Вообще ничего, пусто. Ясно, что искать эти материалы нужно не в университетском архиве, а в той организации, которая его в «капиталистическую страну» посылала.

Карьера оборвалась, не успев начаться. Для турок Владимир Вольфович стал нежелательным иностранцем. Он не мог туда ездить, а значит не мог и работать по специальности — ни в системе МИДа, ни КГБ, который пустил его в «свободное плавание», как это тогда называлось, т.е. временно потерял к нему интерес. «Опять не повезло. Постоянно какие-то удары судьбы, постоянно», — комментирует Владимир Вольфович⁶⁶. Он еще пытался как-то барахтаться, поступил на работу в Комитет защиты мира, окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ. Но все это никуда не вело. Прорыв в политику не состоялся. Как пишет его официальный биограф, «тусклая бескрылая жизнь тянулась десятилетиями»⁶⁷.

И он, похоже, с этим смирился. «Долгие годы, — повествует тот же источник, — он обретается на ампула юрисконсульта издательства «Мир». К сорокалетнему рубежу подходит без каких-либо достижений — ни дачи, ни машины сноской... Если б не перемены, начавшиеся после 1985 г., Жириновскому, как и миллионам подобных ему средних интеллигентов, была уготована незавидная судьба, а венцом жизненного пути оказалась бы стодвадцатирублевая пенсия плюс огородный участок размером в шесть соток»⁶⁸.

Но не было бы этих неудач — не было бы, наверное, и Жириновского-лидера.

«Мое — мое и твое — тоже мое»

До сих пор многим кажется неправдоподобным — как это из тусклого, ничем не примечательного сорокалетнего чиновника мог вдруг вылупиться самый популярный оппозиционный политик страны? Но после знакомства с его биографией многое проясняется. Всю жизнь человек копил в себе горечь нереализованных амбиций. От полного обид и унижений детства до рухнувших надежд на карьеру и «бескрылой жизни», из которой для него не было выхода, — все это привело его в состояние сплошной, наглухо закупоренной фрустрации. При Брежневле на этот товар не было спроса. Перестройка создала для него рынок.

Разумеется, брежневский режим заставил фрустрировать все население империи, и в особенности — интеллигенцию. Однако страдания Жириновского не были похожи на переживания большинства интеллигентов. Те не могли смириться с несвободой, с полицейским режимом, с однопартийной диктатурой и преступлениями партии. Империю они воспринимали как одно их самых отвратительных проявлений этой диктатуры.

У Жириновского же с годами выработался особый, не свойственный этому большинству взгляд на советскую империю. Прежде всего, его ненависть к ней была не гражданственной, а личной: это империя обрекла его на прозябание, отняла перспективу, разбила все честолюбивые мечты. И наложилась эта глубоко личная обида на еще более ранние переживания, на связанное с обстоятельностью детства чувство национальной ущемленности. Поэтому его ненависть относилась не к империи как таковой, но лишь к ее мистифицированной советской форме, когда «коренные нации» забывают свое место, а русские перестают быть хозяевами на собственной земле.

В этом причудливом сплаве детских обид и дорогих сердцу мыслей — зародыш всех политических концепций, которыми Владимир Вольфович ужасает одних и воспламеняет других. И главной среди них — концепции колониальной империи.

Ни на минуту не задумавшись, он подтвердил это в нашей беседе:

— *Вы, значит, оправдываете колониализм и колониальную политику?*

— *Конечно оправдываю, а что? Вы не поняли, куда пришли что ли?.. Все было нормально с колониями, хорошо было, правильно было.*

— *То есть ваше представление об империи включает в себя понятие колоний?*

— *Конечно. Это нормально*⁶⁹.

Должно было, однако, пройти время, чтобы Жириновский понял это свое отличие от ординарных либералов, бунтовавших вместе с ним в 1989 г. Хотя В.Назаров, его второй биограф, и не докапывался до биографических истоков этих его расхождений и последующего сближения с имперской элитой, он, в общем, точно передал политическую траекторию Жириновского. «Вначале он предпринял попытку сблизиться с демократами, ходил на их собрания, митинги. Но, видимо, сообразил, насколько нелепо выглядит рядом с умными, интеллигентными, воспитанными людьми. И конечно же смертельно обижало Жириновского, что они не только не собирались дискутировать с ним, но и руки старались не подать. Понял — чужие. Вот тогда-то послушайте, как заговорил этот либеральный демократ... Из интервью литовской газете "Республика": "Прибалтика — это русские земли. Я вас истреблю. В пограничной зоне Смоленской области начну копать ядерные отходы, и вы, литовцы, будете умирать от болезней и радиации. Русских и поляков вывезу. Я — господь, я — тиран! Я буду играть, как Гитлер..." Подобными выступлениями Жириновский приобрел мощных покровителей среди руководителей КПСС, КГБ, "ястребов" из союзного и российского парламентов»⁷⁰.

И сразу же всплыл первый курьезный парадокс в феномене Жириновского, проливающий неожиданный свет на всю его дальнейшую карьеру.

Как мы помним, он стоит на том, что нет ровно ничего дурного в том, чтобы, «побряцав оружием, в том числе ядерным», пограбить зажиточных соседей. Он планирует «бросок» на Юг, предполагающий беззастенчивый захват десятков государств Центральной Азии и Ближнего Востока. Здесь для него не существует понятий легитимности, собственности или права: «весь мир должен считать, что раз России так надо, то это хорошо»⁷¹. Здесь есть лишь ядерный кулак бывшей супердержавы, есть готовность нагло шантажировать соседей, есть убежденность, что они не посмеют, когда дойдет до дела, пойти на смертельный риск взаимного уничтожения. И этого достаточно.

А вместе с тем, начиная еще с юношеских его воспоминаний, во всех рассуждениях сквозит совершенно иное представление о праве и собственности. В них Жириновский показывает себя отчаянным легитимистом, для которого право собственности священно, ненарушимо и неизменно. Принадлежали когда-то Российской империи Казахстан, Финляндия или Аляска? Принадлежали. Следовательно, и сейчас принадлежат. Ибо собственность вечна и неотчуждаема.

Казалось бы, между двумя этими взглядами на собственность — пропасть. Неримиримое противоречие. Согласовать между собою две эти яростно опровергающие одна другую максимы — неприкосновенность собственности и право на грабеж — невысказано. Но в том-то же все дело, что это парадоксальное совмещение как раз и составляет ядро политической философии Жириновского. Более того, ровно никакого парадокса для него здесь нету. Просто в одном случае речь идет о **его** имперской собственности (и здесь он безусловный легитимист), а в другом — о **чужой** (и здесь он откровенный грабитель).

Этот образ мышления не нов. Для средневековых баронов и императоров само собою разумеющимся было так думать — и продолжалось это столетиями. Но даже тогда, в темные века, вслух такие мысли предпочитали не высказывать. Их не возводили в ранг политической философии, не упоминали в высоких договорах. Только мир, стоящий по ту сторону закона, — мир преступников и люмпенов — позволял себе открыто их провозглашать. Что мое — мое, что твое — тоже мое: афоризм, как мы знаем, из законов ГУЛАГа.

Логика блатного, извращенная ментальность люмпена, поправшего все конвенции цивилизованного мира, — вот корни официальной имперской политики Жириновского.

Этот же логический парадокс составлял ядро политической философии Гитлера. Как и у Жириновского, базировалась она на двух, хотя и родственных, но разных постулатах: о воссоединении немцев под сенью Третьего Рейха и о праве великой нации завоевывать и насиловать другие. Та же, короче, люмпен-философия: что твое — тоже мое. Тогдашние европейские политики не имели о ней ни малейшего представления, потому-то и удалось Гитлеру так их запутать.

Пытаясь предотвратить новую мировую войну, готовы были они согласиться с первым постулатом Гитлера. Несмотря даже на то, что он предполагал оккупацию суверенной Австрии и аннексию чехословацких Судет, населенных немцами. В глазах западных политиков, в этих акциях присутствовала хотя бы тень легитимности. Можно было представить Гитлера наследником Бисмарка, завершающим воссоединение немцев. Но за пределами их воображения оказалась люмпенская логика Гитлера, видевшего в этом воссоединении лишь прелюдию к реализации второго постулата — к открытому насилию и грабежу других народов, ничего общего с немцами не имевших. Западные политики просто не могли ничего подобного себе представить.

Однако феномен Жириновского включает в себя не только личность этого человека, какой бы она ни была, как и феномен Гитлера не исчерпывался характером, идеями и устремлениями фюрера. Лидером национального масштаба и того, и другого сделали миллионы уверовавших в них людей.

Нет ничего удивительного в том, что такой могучий отклик нашли личные обиды, пережестывающие у Жириновского через край: его слушали люди, пережившие аналогичные драмы, не меньше него обиженные и разочарованные.

Но как могли они принять эту разбойничью философию? Почему согласились пойти за человеком, открыто призывающим к насилию и грабежу?

Такое же тяжелое недоумение вызывали и немцы — великий, культурный европейский народ, мгновенно усвоивший извращенную люмпенскую логику своего фюрера, его грабительский двойной стандарт.

Что произошло с тогдашним народом Германии, а теперь происходит и с русским народом?

Почему?

Дети подземелья

По существу это тот же самый вопрос, который мы уже рассматривали в несколько видоизмененной форме: почему великие имперские державы, подобные России или Германии, не могут самостоятельно трансформироваться в демократии.

Самое трагическое следствие затяжных драматических кризисов — люмпенизация массового сознания.

Столько всего сваливается на голову! Внезапный коллапс империи (и сопровождающее его унижительное чувство зависимости от внешнего мира); разрушение экономики (попросту, не на что становится жить); распад самой стабильной из единиц всякого общества — семьи (сотни тысяч родных внезапно оказываются по разные стороны новых государственных границ); беспомощность власти, хаос, чудовищное увеличение преступности. И все — одновременно!

Это страшное потрясение. Оно вызывает моральную деградацию общества — и в элитарных слоях, и в менее культурных, одинаково. Достойные люди, привыкшие дорожить своим положением, мнением окружающих, превращаются в люмпенов — если и не по образу жизни, то по образу мыслей.

Людей, которые говорят, как Жириновский, думают и чувствуют, как он, сегодня в России много. Счет действительно идет на миллионы. И пока длится кризис, усугубленный политической нестабильностью и стремительной социальной поляризацией, их будет становиться все больше. В особенности за счет тех, кто, подобно самому лидеру, родился на территориях нерусских республик или испытал натиск предприимчивых «черных», т.е. нерусских южан.

Это и есть те самые избиратели, которые, ощутив в нем родную душу, проголосовали за Жириновского в июне 91-го и снова — в декабре 93-го.

Западные обозреватели успокаивают публику, шокированную исходом парламентских выборов в России: не надо паники, далеко не все, голосовавшие за Владимира Вольфовича, думают так же, как он. Многие лишь выразили таким способом протест против катастрофического ухудшения жизненных условий, угрозы безработицы, взрыва организованной преступности, и всех других кризисных явлений. Но ведь точно те же аргументы были в ходу и у русских обозревателей в период кратковременной паники летом 1991 г. И демократические политики, надо полагать, утешали себя теми же соображениями, что их и обезоружило — и позволило Жириновскому преподнести им два с половиной года спустя драматический сюрприз.

Наверное, и вправду какая-то часть избирателей проголосовала за Жириновского, не разделяя его взглядов, а как бы «назло» тем, в ком она видит виновников кризиса, хотя и не совсем понятно, что это

уточнение нам дает: так ли уж важно, в конце концов, по каким мотивам выбирают люди Жириновского — или Гитлера, — если он получает таким образом мандат на власть?

Но и прямых, убежденных сторонников у Владимира Вольфовича достаточно, не надо тешить себя иллюзиями. Кризис углубляется — и явления люмпенизации прогрессируют. Два голосования за Жириновского дают нам уникальную возможность измерить скорость этих процессов. За два с половиной года непрерывного кризиса она, оказывается, набрала внушительные обороты.

Люмпенизированное сознание полностью солидарно со своим лидером в том, что все беды России — от «черных». И оно тоже готово на все ради немедленного чуда, и так же жаждет насладиться унижением своих врагов. Оно уже сейчас готово к внезапному «броску» в прекрасное будущее — к самоутверждению и благополучию за чужой счет. Это оно устами Жириновского высказывает свои затаенные мысли: «Мы живем в коммуналке. Русские врачи, русские инженеры. Мучаемся. Казах получает отдельную квартиру — только потому, что он казах. Квартиры — им, работа — им, поездки — им... Дискриминация русских, национальный гнет повсюду, подавление везде — в экономике, в культуре, в юриспруденции... Мы изувечили нашу страну»⁷².

Не у одного Жириновского детские обиды, зависть, оскорбленная гордость переросли в имперскую политическую философию. Разве что разрабатывать стройные геополитические планы дано не всем. «Разбой нацменов»⁷³ оправдывает любые ответные меры. «Это я видел мальчиком, как начиналось. У меня был внутренний протест заложен в душу. Приезжаю в Москву и что вы думаете, опять вижу нацменов. Живу в общежитии — они там вовсю гудят, шикуют: деньги, вино, девочки»⁷⁴.

Только у люмпена в ушах могут звучать райской музыкой беспардонные заявления Жириновского: «Если я буду президентом, я долги отдавать не буду»⁷⁵.

Как заметил еще в 1991 г. в «Известиях» советский историк Виктор Кувалдин, «в считанные дни превратившись из неизвестного политика в звезду первой величины, он наглядно показал, какой опасный потенциал таится в российском обществе»⁷⁶. Когда Жириновский, ликоуя, заявляет: «Сотни россиян целуют мне руки»⁷⁷, — это как раз тот несчастный случай, когда он говорит чистую правду.

Чем хуже, тем лучше

Похоже, что Владимир Вольфович — единственный из нынешних российских политиков, кто действует не вслепую. Он точно знает, из кого состоит его массовая политическая база, и сознательно строит свою стратегию в расчете на нее. И он — единственный, кому кризис, беспрерывно

генерирующий новых люмпенов, торит дорогу к власти.

Мы встретились с Жириновским в начале июня 1992 г. в штаб-квартире его партии в Рыбниковом переулке и проспорили больше часа. С политической философией Жириновского и с его люмпенской психологией знаком я был задолго до нашей встречи и на дополни-

тельную информацию не рассчитывал. Другое интересовало меня: как будет он защищать свои позиции в интеллектуальном, философском, если угодно, споре, где нельзя выпаливать первое, что взбредет на ум, как на митинге или в интервью, но приходится слушать возражения собеседника и хоть как-то на них реагировать.

На митингах достаточно темпераментно выкрикнуть: «Америка, отдай Аляску!», или «Финляндия принадлежит России!», или «Не забывайте о нашем последнем оружии — ядерном шантаже!» И все, никто не спросит, как это сделать практически — заставить Америку распрощаться с Аляской, или присвоить далеко не беззащитную страну, или вынудить другие державы покориться шантажу. И в интервью нетрудно оставить за собой последнее слово. Мне дали как-то прослушать записанный на пленку диалог Жириновского с одним датским журналистом. Там был пассаж о 30 миллионах турецких курдов: стоит нам немножко помочь им, и мы возьмем Турцию голыми руками. Владимир Вольфович повторил это несколько раз, а журналист ограничился тем, что вежливо записал услышанное... Не переспросил: почему же в этом случае не курды составляют большинство населения в этой стране? Общая численность известна — на момент, когда проходила эта беседа, она составляла 56 миллионов человек. И известно, что 90% из них — турки. 30 миллионов турецких курдов, откуда они взялись? Никто никогда не попросил Жириновского объясниться.

Да и вообще до нашей встречи никто с Жириновским всерьез не спорил. Над ним потешались, о нем рассказывали анекдоты. Его без конца цитировали — кто со смехом, а кто и восхищаясь его смелостью и находчивостью. После августовского путча, с которым он поначалу солидаризировался, москвичи плевали ему в лицо. Казаки грозились его выпороть. В Минске, был случай, его и вправду побили. Во время кремлевского шоу в ночь с 12 на 13 декабря 1993-го, когда он голым прохаживался между столиками, грозя пальцем оцепеневшим демократам, мне запомнились глаза знаменитой актрисы Натальи Фатеевой — огромные, полные смертельного ужаса. Все было. Кроме серьезного спора.

Никто никогда, насколько я знаю, не пытался поговорить с ним, как говорят с политиками — серьезно и подробно, нащупать интеллектуальную основу движущих им убеждений, разглядеть, что же у этого айсберга там, в подводной части. Я пришел к нему за этим.

Жириновский меня разочаровал. В подводной части у него не обнаружилось ничего, кроме плохо переваренного мифа имперского либерализма, уже второе столетие бродящего в русской националистической среде, — что я и попытаюсь показать в дальнейшем.

Но я был полностью вознагражден за потраченное время одним совершенно уникальным, неслыханным чистосердечным признанием. Ничего подобного я не ожидал. Что бы я ни думал о нем раньше, но все же не мог предположить, что он не станет камуфлировать свое политическое родство с опустившейся, деградировавшей, морально искалеченной частью советского общества. Я не сомневался, что он будет отпираться, уходить от прямого ответа, но хотелось посмотреть, сколько изворотливости при этом проявит. Ну не признается же, право, даже самый бесшабашный из американских демагогов, что он представляет, скажем, торговцев наркотиками и их потерявших чело-

веческий облик клиентов из городских трущоб и что его прямой интерес, следовательно, состоит в том, чтобы их ряды из года в год росли!

Но я переоценил свою проницательность — и недооценил Жириновского. С чарующей прямоотой он признался: да, он опирается на люмпенство. И — да, он рассчитывает на дальнейшую деградацию своего народа.

Вот соответствующий фрагмент нашего диспута, зафиксированный в стенограмме.

— *Давать людям такие обещания легко. Есть громадная люмпенизированная масса, которая на это клюнет.*

— *Вот и клюнет!*

— *Но ведь не все население страны люмпенизировано. Есть и люди, сохранившие здравый смысл.*

— *Есть. Они голосуют против, но их будет меньшинство.*

— *Но пока что их значительное большинство. Вы рассчитываете на разложение масс, на их деградацию*

— *Да, да, да!*

— *Это ваше кредо? То, что страна будет люмпенизироваться?*

— *Да, да, да!*

— *Ой, да вы же получите такую страшную страну, которая вас проглотит. Вы обещали изменить все за 72 часа, но на семьдесят третья она же вас съест!*

— *История покажет.*

Нет, я не Гитлер, я другой!

Ну что ж, мы достаточно поговорили о бесспорном сходстве Жириновского и Гитлера, о тождественности их люмпенской философии, преемственности их агрессивного национализма, о полном совпадении их социальной и экономической ориентации («у нас не было социализма, не будет и капитализма. Нам нужна здоровая экономика»⁷⁸, — сказано одним из них, но мысль принадлежит обоим). Пора поговорить и о различиях между ними — для понимания феномена Жириновского это не менее важно.

Жириновский называет свою партию либерально-демократической. Те, кто считает это полнейшей профанацией, не совсем правы. Он объявляет себя «безусловным сторонником многопартийности»⁷⁹. Декларирует: «Мы против всякой диктатуры вообще»⁸⁰. В своей книге пусть тривиально, но вполне грамотно пытается обосновать принципиальную неприемлемость однопартийной системы: «Однопартийный режим сам по себе порочен, потому что нет конкуренции идей... Однопартийная система нежизнеспособна»⁸¹.

Разве так говорил Гитлер, бесстрашный тоталитарий, искренне презиравший демократию, не говоря уже о многопартийности, и считавший ее «одним из важнейших элементов разрушения государства и общества»⁸²?

Гитлер открыто признавался: «Если мы принимаем участие в парламенте, то лишь затем, чтоб взорвать его изнутри и в конце концов уничтожить»⁸³. А Жириновский считает для себя честью быть депутатом.

Либеральные критики Жириновского в Москве к этим оттенкам не присматриваются. Они не считают их обозначением политической позиции: нечего тут анализировать, одна пустая риторика, демагогия, предвыборный треп. Российский журналист Вилен Люлечник не колеблется: «Жириновский, как Гитлер... не либерал и тем более не демократ. Жириновский — это война! Война гражданская, война межгосударственная и в конце концов мировая»⁸⁴. Сказано сильно, но явно без расчета на возможное возражение. Демагогия демагогией, но Гитлер ведь тоже боролся за голоса избирателей, в том числе и симпатизирующих либерализму и демократии, но он никогда и ни при каких обстоятельствах не прибегал, в отличие от своего нынешнего двойника, ни к либеральной, ни к демократической риторике.

Сам Владимир Вольфович тем более в такие тонкости не вдается. Только огрызается: «Заявляют, что Жириновский — современный Гитлер. Ну нельзя же так! Пишите, у Жириновского имперские амбиции. Пожалуйста, это не оскорбление». И заключает: «Обычная политическая борьба. Грязь. А что им еще делать?»⁸⁵.

«Патриоты», как мы уже знаем, считают, что у Жириновского вообще нет никакой идеологии — ни либеральной, ни фашистской. Эдуард Лимонов, например, иронизирует: «За Владимиром Вольфовичем не успеет и самый резвый политолог. Если раньше он менял идеологию единожды в год (активист еврейского движения в конце 80-х... с 1990 г. — либеральный демократ, в 91 — 92 гг. — авторитарный популист), то теперь меняет ее раз в сезон»⁸⁶. Хронология не точна. Если полагаться на цитаты, приведенные тремя абзацами выше, то и к концу 91-го Жириновский не чужд был демократии. А в своей книге, изданной ровно через год после этих разоблачений Лимонова, он по-прежнему восклицает: «Нужен плюрализм, нужна многопартийность!»⁸⁷.

Нет, ничего не получается ни у «патриотов», ни у либералов с серьезным истолкованием феномена Жириновского, и даже понятно — почему. И те, и другие бессознательно отрывают его политическую философию от ее корней в истории русского национализма. И для тех, и для других он — случайная, изолированная, неведомо откуда свалившаяся на Россию фигура, говоря словами Пушкина — «беззаконная комета в кругу расчисленных светил». А между тем, как бы ни сбивало нас с толку его ошеломляющее сходство с Гитлером, вырос Жириновский на почве мощной русской традиции. И он куда ближе к историческому славянофильству, нежели все его «патриотические» оппоненты (так же, замечу в скобках, как Гитлер был ближе к историческому тевтонофильству, чем современные ему германские «патриоты»).

Больше могу сказать. Исследуя эволюцию русского национализма за полтора столетия, я, к своему ужасу, вычислил неизбежный приход Жириновского. Дело было в 1980-е, предугадать имя и прочие подробности я, разумеется, не мог, он же, занятый в то время переключиванием бумажек в своем издательстве, тем более не подозревал о скорых переменах в своей судьбе. Но место для него уже было предуготовано, нам обоим оставалось лишь немного подождать.

Тень отца

Почти три десятилетия назад серьезный американский историк Р.Е.Макмастер порядком намучился с аналогичным парадоксом. Писал он, однако, вовсе не о современности, но о политической философии крупнейшего идеолога русского национализма прошлого века Николая Данилевского. И тем не менее биться Макмастеру приходилось по сути над тем же орешком, какой сегодня не могут разгрызть российские оппоненты Жириновского.

Данилевский призывал к имперской экспансии, к последнему «броску на юго-запад», в терминах нашего героя, а по-другому — к созданию великой «всеславянской» империи, от Ледовитого океана до Средиземного моря, что, естественно, означало европейскую войну. И он же проповедовал то, что назвал я в книге «Русская идея и 2000-й год» имперским либерализмом.

«Россия не может занять достойное себя и славян место в истории, иначе как служа противовесом всей Европе», ибо самой судьбой ей предназначено стать «восстановительницей Восточной Римской империи», доказывал Данилевский⁸⁸. Но при всем том это был голубой воды либерал. Он считал, что «отсутствие гласности и конституционных гарантий прав человека препятствуют реализации национальной задачи»⁸⁹. Он негодовал по поводу государственной цензуры и вообще был за всяческую свободу. Объяснить этот парадокс Макмастеру оказалось не по силам. В 1967 г. он в своей книге «Русский тоталитарный философ»⁹⁰ поступил примерно так же, как в 1994-м Вилен Люлечник в своем эссе «Либерал ли господин Жириновский?»: исключил из рассмотрения то, что нарушало стройность позиции. Феномен русского имперского либерализма испарился. Данилевский означал для исследователя, как и Жириновский для Люлечника, только войну.

А между тем именно этот мыслитель вывел тот странный гибрид экспансионизма с изоляционизмом, который после него стал знаменем вырождавшегося славянофильства. Вот вам и соединительное звено между агрессией и либерализмом: изоляционизм по Данилевскому. И по Жириновскому, применительно к сегодняшнему дню. Он же говорит то же самое: став после своего «броска на Юг» гигантской империей — от Ледовитого до Индийского океана, Россия надежно закроется от мира, «заперев свои границы на замок»⁹¹. И тогда сможет позволить себе какой угодно плюрализм и какую угодно гласность.

Будучи, в отличие от Жириновского, серьезным, европейски образованным мыслителем, Данилевский вполне солидно обосновывал свои теории. Концепция имперского либерализма исходит из представления, что «политические требования русского народа в высшей степени умеренны, так как он не видит во власти врага и относится к ней с полной доверенностью»⁹². Другими словами, политическая оппозиция несовместима с характером русского народа. Если она все-таки появляется, то это «зависит от вторжения иностранных и инородческих влияний»⁹³.

Вывод простой: надо исключить иностранные влияния и элиминировать, сгладить инородческие, а если прибегнуть к менее изящной, но более точной лексике Жириновского — запереть границы на замок и поставить на место «черных». И вы тотчас убедитесь, что в русском обществе «противогосударственный, противоправительственный интерес вовсе не существует»⁹⁴.

Зависимость, стало быть, прямая: чем больше изоляционизма во внешней политике и политической дискриминации по отношению к национальным меньшинствам, тем больше либерализма может позволить себе Россия. А уж за настоящим железным занавесом русское правительство может вообще совершенно доверять своему народу.

Так учил Данилевский. Политическая индифферентность общества была, по его мнению, признаком великой «исторической нации», которой принадлежит будущее. Но мир, увы, не настолько совершенен, чтобы состоять из одних «исторических наций». Есть и еще две категории государств. Первая — это бывшие «исторические нации», не сумевшие сохранить свою драгоценную политическую индифферентность. Они постепенно «гниют» и пополняют собой, как Данилевский это обозначил, «этнографический материал» — низшую категорию народов, лишенных способности к государственной самоорганизации и предназначенных поэтому служить лишь сырьем в строительстве «исторических наций».

Европу Данилевский относил к первой категории. Она «гнила», будущее было для нее закрыто. А весь остальной мир был, на его взгляд, этим самым «этнографическим материалом». Единственной «исторической нацией» была для него Россия, и будущее принадлежало ей одной, и святая лежала на ней обязанность — толково распорядиться «сырьем».

Зачем Жириновскому Гитлер, если дома у него был такой превосходный учитель?

Раскол «коричневых»

Еще в 80-е, анализируя рождение и развитие политических доктрин русской националистической философии, я набрел на поразившую меня закономерность: каждая фаза вырождения славянофильства, оказывается, была несколько запоздалым и чуть более либеральным повторением

аналогичной фазы вырождения тевтонофильства⁹⁵.

Русское либеральное славянофильство 1830 — 50 гг., впервые обожествившее нацию, лишь на пару десятков лет отстало от взрыва германского тевтонофильства 1810-х. Сменивший его панславизм Данилевского был своего рода либеральной версией империалистического пангерманизма. Первое протофашистское движение («Союз русского народа») возникло в России, в 1905 г., но оно было лишено элементов либерализма и захлебнулось на русской почве. Я сравнивал, и сам собой напрашивался зловещий вывод: если последним аккордом вырождавшегося тевтонофильства стал гитлеровский мессианизм, то, значит, и Россию могло ожидать — с разрывом в несколько десятилетий и в либеральной модификации — прохождение той же трагической фазы.

На чем же держится эта роковая связь?

Истории было угодно, чтобы две великие державы с глубоко укорененной имперской ментальностью и феодально-автократической традицией опоздали со своей либерализацией в XIX веке. По разным причинам. Германия — из-за не преодоленной до последней трети столетия раздробленности, Россия — как раз наоборот: из-за мерт-

вящей деспотической централизации. Это был все более явный анахронизм, и обе великие страны вошли в XX век как воплощение политической отсталости. Обе смертельно ревновали к опередившему их Западу. Обе искали кратчайшие пути, чтобы вырваться вперед, и вынуждены были работать в догоняющем режиме. Обе попытались в ошеломительном «броске» достичь неведомой им либерализации — Россия в 1917-м, Германия в 1918-м. Обе оказались не готовыми к ней. И обе провалились в тоталитарную яму.

Однако в ярости своей националистической реакции Германия опять на несколько десятилетий опередила Россию, где затянувшийся интервал псевдоинтернационализма отсрочил переход «Русской идеи» в последнюю, «коричневую», фазу. Отсрочил, но не отменил.

То, чего я так опасался в 80-х и о чем мир, загипнотизированный холодной войной с коммунизмом, так упорно не желал слышать, все-таки произошло. В рядах сегодняшней «патриотической» оппозиции, как мы знаем, сколько угодно наследников Гитлера — и «Союза русского народа». Я уже называл их лидеров и идеологов, но повторить не мешает. Это вождь «Памяти» Дмитрий Васильев, евангелием которого стали «Протоколы сионских мудрецов», это бывшие его ученики, вышедшие из лона той же «Памяти», — Александр Баркашов, герой бойни 4 октября, Николай Лысенко, лидер «Русского легиона», ныне депутат Государственной Думы, Александр Дугин, эстетствующий проповедник фашистского евразийства, связанной европейской «новой правой» в Москве.

Вот уж они точно копируют Гитлера — вместе с его принципиальным антисемитизмом и фанатической верой во «всемирный сионистский заговор». Это — «коричневые» консерваторы, фашисты скорее германской, нежели русской закваски, оторванные от отечественной националистической традиции. Их идеологические корни уходят не дальше «черной сотни» 1905 г. Они страшноваты, но не слишком опасны: шансов возглавить массовое движение в России у них, я думаю, нет.

Совсем другое дело Жириновский, унаследовавший от Данилевского как имперскую спесь и милитаристский экспансионизм, так и либеральный пафос.

Конечно, он тоже «коричневый», конечно, его политическая технология, методы пропаганды в борьбе за массы, даже техника партийного строительства заимствованы у Гитлера. Когда Сергей Путин, заведующий идеологическим отделом Либерально-демократической партии России, заявляет, что «ЛДПР — партия лидера. Есть Жириновский — есть партия, нет Жириновского — нет партии»⁹⁶, он просто по скромности своего образования не подозревает, что принцип «партия лидера» сформулирован был впервые Гитлером. И назывался он в оригинале «принципом безусловного авторитета вождя», по-немецки *Führerprinzip* («деградации роли вождя мы не допустим»)⁹⁷.

То же самое и с другим гитлеровским принципом, взятым на вооружение Жириновским: «Будущее нашего движения больше всего зависит от фанатизма и нетерпимости, с какими его сторонники защищают свое учение»⁹⁸.

Оттого-то и уклоняется, надо полагать, Владимир Вольфович от серьезного диалога, от философского и исторического спора, предпочитая скандальные монологи с трибуны и хлестаковские интервью.

Оттого, я думаю, ускользнул он и от телевизионного диспута со мною, который предложила ему газета «Московские новости» в январе 1994 г. «Авторитет вождя», как черт от ладана, шарахается от логического анализа. Политик он хорошо обучаемый и первой нашей встречи не забыл. Да, соблазнительно бесплатное телевизионное время, но как бы не обошлось себе дороже: очень сильно может пострадать «фанатизм движения», если на глазах у изумленных почитателей их кумир перейдет от монолога к диалогу.

Зато во всем остальном Жириновский совершенно от Гитлера независим, ибо все остальное заимствовал он у Данилевского. Читал он внимательно его труды или знаком с ними понаслышке (что вероятнее), но главное в них усвоил прекрасно.

Долгожданные слова

Это те самые идеи, которые, наложившись на имперские страдания его собственной юности, придают его речам огромную убедительность. Именно вековая националистическая традиция объясняет ту готовность, с какой проглатывают каждое слово «патриотические» массы. Тем и отличается Жириновский от Васильева или Баркашова, что он глубоко и тонко чувствует эту традицию и говорит своим слушателям то, что они хотят от него услышать.

Они хотят слышать, что «черные» — не более, чем «этнографический материал», или «племена», в популярном изложении их вождя. Только обезумевшие коммунисты могли обращаться с ними, как с «историческими нациями». «Напринимали в институты полуграмотных и неграмотных совсем жителей аулов. Приезжают в город, кошмы трясут, чего только в этих кошмах нет. Люди совсем другой культуры, а их втягивают в городскую жизнь»⁹⁹.

Массы хотят слышать, что «племена» совсем по другому устроены, нежели мы, русские — историческая нация. «Там все территории спорные, — уверяет их Жириновский, — там вечно воюют. Афганистан, Иран, Ирак, курды»¹⁰⁰. Он даже меня пытался убедить, что «на Кавказе не было государств, там было дикое пространство»¹⁰¹. И во все не было это предвыборной риторикой. Ручаюсь, что Владимир Вольфович совершенно искренне верит во всю эту расистскую чепуху, включая государственную неполноценность мусульман. Настоятельно искренне, что голос его временами возвышается до поистине гитлеровского пафоса. Он говорит об **окончательном решении** мусульманского вопроса. Более того, он убежден, что «черные» и сами «ждут окончательного решения проблемы»¹⁰².

Еще больше хотят слышать «патриотические» массы о нашем превосходстве над «племенами». И Жириновский исполняет это желание: «Россия — платформа, буфер, стена, оперевшись на которую каждый народ сможет спокойно существовать и не претендовать на создание своего «великого» государства... Уберите Россию как стабилизирующий фактор — и там война»¹⁰³.

Да, такую уж роль назначила судьба русскому народу, — и это уже словно бы сам Данилевский нам говорит, чудесным образом воскресший: быть «сдерживателем, чтобы исключить столкновения меж-

ду христианами и мусульманами, между тюрко-язычными и фарси-язычными, между шиитами и сунитами... Поэтому Россия должна спуститься и выйти на берег Индийского океана. Это не моя блажь. Это — судьба России. Это — рок. Это подвиг России. Мы должны это сделать, ибо у нас нет выбора. Наше развитие требует этого. Как ребенок, переросший какой-то костюм, должен надеть новый»¹⁰⁴.

Но зато, когда создадим мы эту гигантскую «закрытую» империю, когда захлопнемся от мира на замок, спокойно, под прикрытием своего «ракетного щита», наблюдая, как Запад постепенно превращается в подлежащий освоению «этнографический материал», — вот тогда сможем мы позволить столько плюрализма и многопартийности, сколько душа пожелает. И как ни странно, это тоже хотят слышать «патриотические» массы.

Они не хуже других. Они тоже хотят жить, как люди. Если на то пошло, они — «историческая нация». И у них своя гордость. Тут ведь, по сути, то же самое, что и с собственностью: презирая свободу «племен», себе они в ней отказывать не желают.

Вот чего не в состоянии понять «коричневые» консерваторы — наследники Гитлера. И вот что выстрадал в своем одиноком детстве — и интуитивно подхватил в русской националистической традиции — имперский либерал Жириновский, наследник Данилевского.

Нет сомнения, у этой идеологии тоже есть свои противоречия. Были они у Данилевского, есть и у Жириновского — те же самые, что у учителя. Но относятся они скорее к области моральной, нежели геополитической. Как совместить, например, «свободу» для подчиненных империи народов, которой требует их либерализм, и «колониальный» статус, которого требует их империализм? Вот, скажем, Жириновский заявляет: «Мы все должны жить свободно в этом регионе — от Кабула до Стамбула»¹⁰⁵. Или: «Здесь на юге мы создадим равные условия для всех народов»¹⁰⁶. Как, однако, связать это с отчаянным его презрением к «черным», не говоря уже о том, что «колонии — это хорошо»?

Спросите об этом Владимира Вольфовича, и он, я уверен — может быть, не сразу, но если его хорошенько потрясти, — ответит, что для «черных», для неспособных к государственной самоорганизации «племен», колониальный статус и есть свобода. Свобода от племенной вражды, от кровной мести, от нескончаемых войн — свобода, купленная ценой подчинения России. И «равные условия для всех народов» — тоже формула не бессмысленная. Действительно, для имперской нации все ее «свободные» колонии равны — как все граждане равны перед законом...

Только законом для них будет Россия Жириновского.

Вклад в американскую дискуссию

Русскому читателю, редко имеющему возможность следить за развитием американской дискуссии о России, будет, надеюсь, интересно, как поворачивается она после выхода Владимира Вольфовича на авансцену российской политики.

В последнее время драматически упало доверие к посткоммунистической России. Весной 1994 г. 64% американцев, 77% немцев и 80% японцев заявили, что «совершенно не до-

веряют России». Этот взрыв негативизма Жириновский имеет полное право отнести на свой счет¹⁰⁷. Торжественное начало российской демократии, Ельцин на танке, романтическое видение общей победы над «империей зла» — все, практически, забыто. Безразличие и раздражение занимают место радостного сочувствия. Общественное мнение полностью запутано.

Если эти настроения закрепятся, даже импотентная веймарская политика помощи России вполне может лишиться массовой поддержки, а уж запоздавшая на несколько лет кампания по спасению новорожденной демократии от националистической контрреволюции тем более станет затеей безнадежной.

К сожалению, аналитики в последнее время скорее сгущают туман, нежели рассеивают его. Нет между ними согласия даже по главному вопросу: будет ли «Россия Жириновского» представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов?

Прозвучал одинокий тревожный голос престарелого Никсона. «Те, кто полагает, — предупреждал он, — что из-за своих проблем Россия не должна более рассматриваться как великая держава, забывают неприятную, но неопровержимую истину: Россия — единственная страна, способная уничтожить Соединенные Штаты. И поэтому остается она наивысшим приоритетом нашей внешней политики»¹⁰⁸.

Зато молодые редакторы вашингтонского журнала «Нью Рипаблик» придерживаются иной точки зрения, которую они без ложной скромности называют «Наш рецепт»: «Да, Россия простирается на целый континент и имеет много ядерного оружия. Но, оставляя в стороне безумие Жириновского, не существует обстоятельств, при которых оно может быть использовано против нас. Ее деморализованная армия неспособна представить угрозу для западного оппонента, а ее ржавеющее вооружение может быть сброшено со счета»¹⁰⁹.

Наверняка можно розыскать в старых архивах номера какого-нибудь лондонского журнала за 1930, примерно, год, а в них — статьи тогдашних молодых редакторов, заявляющих, что «оставляя в стороне безумие Гитлера», потенциальная угроза германской армии (тогда еще и вправду ничтожно малой, лишенной современного вооружения и совершенно деморализованной скандальными политическими неурядицами) может быть спокойно «сброшена со счета». Это было мнение многих европейцев — даже после того, как «безумие Гитлера» стало законом в Германии, — продолжавших разоблачать Уинстона Черчилля как поджигателя войны. Но что даст нам такое доказательство? Разве отступит перед ним это бравое и тупое невежество?

Что до самого Владимира Вольфовича, то он прекрасно осведомлен о прискорбном состоянии русской армии и ее вооружений. Он уверен, что армия вырождается, «просиживая сроки своей службы в казармах, в глубинах России, не зная, где враг»¹¹⁰. Только в отличие от редакторов «Нью Рипаблик» и в полном согласии с Гитлером, здраво оценивает мобилизационный потенциал националистической контрреволюции. Ибо знает, что нужно для возрождения армии — «цель, задача... Наши вооруженные силы могут возродиться только в результате боевой операции». Он верит, что именно его последний бросок на Юг и «возродит российскую армию», тем более что «это будет способ выживания нации в целом»¹¹¹.

И «ржавеющие вооружения» его не особенно огорчают. У него нет ни малейшего сомнения, что гигантский военно-промышленный комплекс, оставшийся России в наследство от советских времен, может быть возрожден в ходе националистической контрреволюции еще быстрее, чем армия, и вполне способен на протяжении месяцев превратить страну в гигантскую боевую машину, оснащенную по последнему слову техники. А заодно снабдить современным вооружением курдов (чтобы подорвать изнутри Турцию), азербайджанцев (чтобы расколоть Иран) и пуштунов (чтобы развязать гражданскую войну в Пакистане).

Конечно, Жириновский может ошибаться, и Россия не консолидируется вокруг его «броска на Юг», как консолидировалась Германия вокруг гитлеровского «броска на Восток» (и на Запад). И все-таки «ржавеющее вооружение» едва ли дает основание американским политическим стратегам сбрасывать со счета феномен Жириновского. 15 миллионов голосов, отданных за Владимира Вольфовича, наглядно продемонстрировали скорость процесса люмпенизации российского общества — свидетельство того, как быстро созревает для националистической контрреволюции, с Жириновским или без него, еще одна великая имперская нация.

Как подчеркивают Ергин и Густафсон, одна из главных опасностей в процессе демократической трансформации заключается в «проигравших, нашедших свой политический голос»¹². Владимир Вольфович определенно звучит так, словно бы он и стал этим найденным голосом.

Для многих участников дискуссии привычно думать, что суть российского кризиса в экономике, а не в политике и тем более не в сфере социальной психологии. Перед нами же политический лидер, намеревающийся возглавить великую державу, не имея за душой какой бы то ни было экономической программы. В его книге нет ни слова об экономической реформе. Дешевая водка — кажется, это была единственная заявленная им экономическая акция. Как и Гитлеру до него, Жириновскому глубоко чужда мысль о том, что имперский кризис вообще может быть разрешен внутри страны и средствами экономики. И при всем том его партия набирает больше голосов, нежели ее соперницы, озабоченные преимущественно экономикой. Похоже, что ущемление имперской гордости и жажда реванша начинают преобладать в сознании люмпенизированных масс над переживаниями бедности и неустроенности.

Для российских оппозиционных лидеров совершенно необычна связность и последовательность идей Жириновского. Другие, как, скажем, Николай Лысенко, могут ненавидеть «черных» дома и вполне белых американцев за границей. Или, как Александр Дугин, евреев дома и «мондиализм» за рубежом. Но что, спрашивается, общего у московских евреев с «мондиализмом»? У Владимира Вольфовича объект один — везде: «черные». Их он ненавидит одинаково — в Москве и в Казахстане, в Боснии и в Турции. Именно эта ненависть и становится железной осью, скрепляющей его внутреннюю и внешнюю политику. И его избиратели, идентифицирующие «черных» с торговцами на местном базаре и преступным миром, чистосердечно разделяют эту его расистскую ненависть.

Это новая струя в общем течении европейского неофашизма. Жириновский предлагает российским люмпенам сделать выбор между ним и «коричневыми» консерваторами с их традиционным антисемитизмом.

Знаменательно, что даже такой опытный политик, как Никсон, не заметил этого различия. Он усомнился в президентских шансах Жириновского именно из-за того, что Владимир Вольфович не убежденный антисемит. «Для Гитлера антисемитизм был верой: для Жириновского — это циничная попытка эксплуатировать популярный предрассудок»¹¹³.

Такова, к сожалению, мощь стереотипа, что Никсон даже не спросил Жириновского о его отношении к «черным» и из-за этого так и не узнал, что у Владимира Вольфовича тоже есть своя вера, ничуть не менее истовая и далеко ведущая, чем у Гитлера.

Наконец, есть еще один стереотип, пожалуй, для нас более опасный. В формулировке Ергина и Густафсона звучит он так: «Сегодня Россия занята не столько своим международным влиянием и властью, сколько внутренней реконструкцией»¹¹⁴. Даже в самом худшем из их сценариев будущего, который они называют «Русский медведь», «политические репрессии не основаны на классовой ненависти и воинствующей идеологии и поэтому не перерастают в демоническую сталинистскую истерию»¹¹⁵. Что касается внешней политики, то «как бы ни был он агрессивен в пределах бывшего Советского Союза, “Русский медведь”, хотя и не дружелюбен, не имеет глобальной миссии и не обязательно агрессивен за этими пределами»¹¹⁶.

Как и редакторы «Нью Рипаблик», Ергин и Густафсон оставляют в стороне «безумие Жириновского», т.е. националистическую контрреволюцию, способную питаться расовой ненавистью — ничуть не менее демонической, чем классовая. Жириновский ясно показал всем, кто хочет видеть, что если мы действительно позволим ему овладеть Кремлем, «Русский медведь», ни в коем случае не ограничится «пределами бывшего Советского Союза». Его амбиции и его миссия глобальны.

Непостижимо, как могли американские ученые, тесно связанные с нефтяными компаниями, просмотреть во всех своих сценариях, что главной целью «Русского медведя» как раз и будет нефть? И не только где-нибудь в Казахстане, но именно в районе жизненно важных интересов Запада — на Ближнем Востоке.

И впрямь, как подчеркивают сами авторы, «сюрпризы случаются там, где люди уверены, что они никогда не случатся»¹¹⁷.

Просчитаем шансы

Завершая свою ироническую биографию Владимира Вольфовича, В. Назаров пишет: «Даже если сам Жириновский исчезнет завтра в пучине бурной политической жизни в СНГ, “феномен Жириновского” не уйдет со сцены вместе с Владимиром Вольфовичем. Его место вполне может занять другой — более умный, более интеллектуальный, более сдержанный, русский по национальности. От предшественника он унаследует лишь фашистскую программу да имидж своего парня. Он придет и скажет: “Не верьте им. Верьте мне. Только я знаю выход из тупика”. И тут уставший от невзгод россиянин вполне может заглотить крючок»¹¹⁸.

Я думаю, Назаров неправ. Не так-то просто создаются репутации национального масштаба. 1990 — 91-е революционные годы, когда Жириновский создавал свою, были в этом отношении уникальны. С другой стороны, более умных, более интеллектуальных, более сдер-

жанных и русских по национальности сегодня пруд пруди в оппозиционной Москве. Чем плохи, скажем, Николай Лысенко или Сергей Бабурин, Александр Проханов или Геннадий Зюганов, Виктор Аксюциц или Александр Стерлигов? Каждый из них идеально отвечает описанию Назарова. И ни один не идет в сравнение с Жириновским. Почему?

Да именно потому, что ни у кого из них нет люмпенской бесшабашности, несдержанности, бестактности, неинтеллигентности и харизмы Владимира Вольфовича. И, добавим, феноменального сочетания либерального пафоса Данилевского с политической технологией Гитлера. Боюсь, что именно эти качества, а вовсе не сомнительное отчество, определяют шансы Жириновского в предстоящие годы.

Впрочем не только они. Судя по всему, Россия сейчас где-то в 1930 г. по веймарскому календарю. Есть смысл вспомнить, что происходило в Германии в те последние роковые три года, прежде чем правительство возглавил Гитлер. Быть может, это приоткроет наше будущее.

Успех партии Гитлера на выборах 1930-го был ошеломляющим. Но он вовсе не означал, что через три года вождь нацистов автоматически станет канцлером. Президент Гинденбург, потомственный аристократ и фельдмаршал, между прочим, терпеть не мог рвущегося к власти уличного демагога и капрала. Понадобилось сложнейшее переплетение нескольких (можно даже точно сказать — семи) условий, чтобы припертый к стене президент переступил через себя.

Перечислим эти условия.

Во-первых, мир переживал великую депрессию, она бесперебойно генерировала все новые и новые пополнения люмпенской армии Гитлера. Не было сил и у Запада, чтобы серьезно вмешаться в политическую и — что еще важнее — психологическую войну в веймарской Германии.

Во-вторых, без боя сдалась немецкая либеральная интеллигенция. Она не смогла организовать мощное демократическое контр наступление, единственное, что способно было остановить Гитлера. Она не сумела привлечь на свою сторону, мобилизовать, если угодно, интеллигенцию мирового сообщества. Лучшие умы человечества так до самого конца и не осознали, что угроза фашизма вовсе не локальна, что надвигается не только диктатура в Германии, но мировая война. На план этой войны, черным по белому изложенный в «Последнем броске на Восток», то бишь в «Майн Кампф» Адольфа Гитлера, до первых выстрелов смотрели как на бред безумца.

В-третьих, все без исключения веймарские парламенты оказались «гнилыми». В них никогда не формировалось устойчивое большинство. Его заменяли хрупкие, практически неработоспособные коалиции, взлетавшие на воздух при первом серьезном кризисе. Беспомощность представительной власти — главного символа демократии — подорвала авторитет обеих.

В-четвертых, влиятельным советником президента Гинденбурга — и это стало еще одним прямым следствием дискредитации парламента — удалось убедить его в преимуществах «просвещенного» авторитаризма перед недееспособной демократией. Было введено прямое президентское правление. Республика разрушила собственную институциональную основу.

В-пятых, ни одно из трех авторитарных, по сути, правительств, назначенных президентом между 1930 и 1933 гг., не сумело приостановить экономический распад и психологический хаос, характерные для Великой Депрессии. Интеллектуальные ресурсы страны истощились. В распоряжении правительства были одни лишь старые, не оправдавшие себя идеи. Новыми и не опробованными были только идеи Гитлера.

В-шестых, германские денежные мешки, финансировавшие его предвыборные компании, остались верны Гитлеру до конца.

В-седьмых, наконец, ему удалось сколотить большую националистическую коалицию, единый правый фронт. Интеллектуальные и издательские ресурсы Националистической партии Альфреда Гугенберга и таких мощных организаций, как «Стальной шлем» и «Пангерманская лига» (аналоги современных российских «белых» и «коричневых» консерваторов) были поставлены ему на службу.

День, когда в результате раскола между социал-демократами и Народной партией Густава Штреземана рухнуло последнее коалиционное правительство, — 27 марта 1930 г. — иногда рассматривается как день падения Веймарской республики. Но это поражение не было окончательным и бесповоротным. Если б хоть одно из перечисленных выше обстоятельств приняло иной оборот, вся связка могла разрушиться, и не видать бы Гитлеру канцлерства, как своих ушей. Но каждому из семи звеньев хватало прочности, и через три года президентское правление сменилось фашистской диктатурой.

Годится ли эта модель для нашего анализа и прогноза? Поскольку веймарская гипотеза до сих пор подтверждалась в сегодняшней России дословно, я думаю, что да. Если так, те же самые семь условий определяют шансы Жириновского.

Пять из семи, можно считать, уже у него в кармане. Развал экономики, равнозначный Великой Депрессии. Слабость либеральной интеллигенции. Веймарский парламент. Советники, убеждающие президента, а заодно и раздраженное этим парламентом общественное мнение в преимуществах «просвещенного» авторитаризма. Коалиционное — если не по названию, то по сути — веймарское правительство, работающее в условиях жесточайшего интеллектуального дефицита. И, наконец, поддержка денежных мешков — как российских, так и зарубежных.

Но вот два условия, первое и последнее, еще не выполнены, и определенности на их счет нет.

Слава Богу, ни великой, ни даже заурядной депрессией мир сейчас не страдает. Следовательно, возможность и ресурсы для серьезного вмешательства в российскую психологическую войну у мирового сообщества имеются. Отсутствует, как мы видели, другое — трезвое понимание характера и масштабов угрожающей ему опасности, без чего никакие ресурсы не спасут. Тем не менее — никто не сказал, что это чисто субъективное препятствие неустранимо. Пусть не очень большая, но сохраняется вероятность, что мир все-таки поднимет перчатку, брошенную ему русским фашизмом.

Не создан пока в России и единый правый фронт, и способность Жириновского хотя бы на время привлечь под свои знамена «белых», «красных» и «коричневых» консерваторов остается проблематичной.

Более того, как давно уже понял читатель, пока у оппозиции нет объединительной идеологии, сплотиться — задача для нее почти неразрешимая, а вокруг Жириновского — тем паче.

Как посмотришь — ну, никому не по пути с Владимиром Вольфовичем! Может ли разделить его антимусульманский пафос евразиец Александр Проханов, проповедующий славяно-мусульманское единение как основу будущей Российской империи? Может ли вынести его антикоммунистическую риторику Геннадий Зюганов, официальную идеологию которого Жириновский величает «сатанинским злом», да еще вдобавок — можно ли оскорбить «патриота» ядовитее? — «запущенным в Россию с Запада»? Простит ли его либеральные шалости такой патологический враг демократии, как Игорь Шафаревич? Сoglасится ли с его самоубийственным «броском на Юг» умнейший из оппозиционных идеологов Сергей Кургинян? Смирится ли с его неарийским отчеством Александр Баркашов? Переварят ли его «колониальную» политическую философию ортодоксальные наследники Льва Гумилева, для которых русские лишь на одну четверть славяне, а в остальном — те же «черные»?

И самое, возможно, главное: кто из этих в высшей степени амбициозных честолюбцев добровольно примет роль второго плана в «партии лидера»?

Тут тысяча вопросов, ответа на которые пока нет. Положение «одинокое волка» на оппозиционном Олимпе может смешать Жириновскому все карты, и он, не сомневаюсь, это понимает. Чтобы преодолеть эту роковую политическую изоляцию, нужны меры поистине чрезвычайные. Как, например, инспирированная им в феврале 1994 г. амнистия для октябрьских мятежников. Расчет, надо полагать, был на Александра Руцкого, на то, чтобы сделать его не столько соперником, сколько важнейшим фактическим союзником. Пусть, используя свой символический авторитет и генеральские ухватки, экс-вице-президент консолидирует всю разношерстную оппозиционную публику. А там — посмотрим...

Конечно, в таких комбинациях есть риск. Но, как мы уже знаем, ядерный Робин Гуд — парень рисковый...

Итак, шансы на победу у Жириновского пока не стопроцентные. И все же не случайно именно с него я начал портретную галерею лидеров оппозиции и именно его портрет постарался нарисовать наиболее подробно.

Думаю, что точно так же поступил бы на моем месте известный московский психиатр, президент Российской психоаналитической ассоциации Арон Белкин, написавший в своей книге о Жириновском: «Стать хозяином России — для него лишь начальный, предварительный этап. Трамплин, который позволит перейти к главному — продиктовать условия всему беспокойному, запутавшемуся в противоречиях миру и навести в нем, наконец, порядок»¹¹⁹.

Теми же глазами смотрит на моего героя и Егор Гайдар: «Жириновский как президент — мысль апокалипсическая... Это была бы самая серьезная угроза мировой цивилизации за всю ее историю»¹²⁰.

Нет, он еще не президент. Но Россия и мир должны, наконец, понять, что перед ними тот самый человек, который **может** еще раз доиграть до конца трагический веймарский сценарий.

Глава шестая

«Последний солдат империи». Александр Проханов и московская «партия войны»

Хочу предупредить читателя: картина, которая возникает из анализа идей и высказываний Проханова и его однопартийцев, может произвести поначалу странное, чуть ли не комическое впечатление. В Москве, однако, никто над Прохановым не смеется. Даже те, кто потешается над Жириновским. Почему? Потому что Проханов — главный редактор центрального органа российской «партии войны», своего рода «Нью-Йорк Таймс» непримиримой оппозиции (знаменитой газеты «День», после октябрьского мятежа сменившей имя на «Завтра»)? Потому что он — один из самых зловещих кардиналов русского евразийства, самый, без сомнения, красноречивый в стране проповедник имперской идеи? Отчасти. Но есть и более веские причины. Он неколебимо уверен в победе оппозиции. Его проекты больше, чем проекты Жириновского, отвечают требованиям той искомой объединительной идеологии, которая сплотит все разнокалиберные партии реваншистов. И наконец, в отличие от Владимира Вольфовича, он свой человек на Олимпе оппозиции, и там он представляет ее главное течение, а не побочное русло.

Кто написал для августовских путчистов 91-го года их скандально известное «Слово к народу»? Проханов. А кто публично отрекся от «кукольного путча», когда он провалился? Тоже Проханов. Он мог изменять падшим звездам оппозиции, но отклонялся неизменно вместе с ее генеральной линией. Ни на шаг не отпуская от себя «патриотического» читателя, вел его не туда, куда тому хотелось бы пойти, но туда, куда, по мнению Проханова, идти ему следовало. Согласно знаменитому британскому философу Эдмунду Берку, это и есть исчерпывающее определение политического лидера.

В Москве одно время упорно циркулировали слухи, главным образом среди бывших литературных коллег Проханова, что никакой он не вождь оппозиции, а просто человек, обремененный большой семьей, которую легче по нынешним временам прокормить, зная, где лежит ключ к сердцу — и к карману — военно-промышленного комплекса. Так ли это? Едва ли. Слишком уж серьезную для озабоченного семьянина игру затеял этот человек.

Под властью моноидеи

В склонности к эстрадным эффектам Александр Андреевич ничуть не уступает Владимиру Вольфовичу. Всегда играет на публику, обожает ее эпатировать. С годами — все больше. Только его стихия — не живое, на митинге, а печатное слово. Зато в камерных аудиториях и в интеллектуаль-

ном споре Жириновскому до него далеко.

Еще в конце 91-го он публично исповедовался в антикоммунизме, писал о «разрушении империи свирепым Интернационалом», о «белом движении, изрезанном лезвиями красного террора», о «коммунистической квазиимперии». И тут же, не переводя дыхания, признавался, что до самого Августа «патриотическое движение упало на союз с РКП, на ее структуру, организационный опыт ее искушенных лидеров, на ее связь с рабочими и крестьянством»¹. Парадокс?

Но то еще были цветочки. В конце 92-го антисталинист Проханов ошеломил либеральную публику в Колумбийском университете, провозгласив себя сталинистом. В Москве антифашист Проханов шокировал либеральную прессу, объявив, что если для возрождения империи понадобится фашизм, он проголосует за фашистов.

Что означают все эти парадоксы? И парадоксы ли это, эпатаж ради эпатажа? Ничуть. Просто Проханов — человек моноидеи. Обыкновенные люди могут любить свободу, стихи, природу, родину, наконец. Проханов влюблен в империю. Империя — его романтическая мечта, его страсть, его земля обетованная. И что хорошо для империи, хоть белой, хоть красной, хоть сталинской, хоть фашистской — то хорошо и для него. Правильно, законно, оправдано. Он готов простить Сталину или Муссолини все — и свирепый террор, и коварство, и манию величия — за то, что были они властелинами державы, железными государственниками.

Подозреваю, что Проханову очень нравятся эпитеты, которые подбирает для него единственный пока что биограф и апологет, а также заместитель по должности Владимир Бондаренко: «великий авангардист», «герой русского национального сопротивления», «последний солдат империи». Для обоих это высший комплимент. «Уверен, — развивает его Бондаренко, — таким же он был бы и сто лет назад, верно служа Государю-Императору, таким он будет при любой власти... В этом смысле он не идеолог, не политик, и больший плюралист, чем все нынешние демократы»².

Ну, насчет плюрализма заместитель, кажется, пошутил. Человек моноидеи не может быть плюралистом. Разве лишь в том смысле, что ему все равно, какому императору служить — Николаю, Иосифу или Бенито. Плюрализм означает свободу, а не службу. А Проханов к идее свободы глух. Вот как бывают люди без музыкального слуха, так и у него нет слуха к свободе. Более того, он уверен, что на самом деле никакой свободы не бывает, что это выдумка врагов империи.

Страх, только страх, ничего, кроме страха

Должен признаться, что понял я это не сразу. Еще в декабре 1991 г. я вполне серьезно спорил с Прохановым. Я думал тогда, что у нас есть точка соприкосновения — величие поднимающейся из-под обломков военной империи свободной России. Ну, не может же человек желать

своей стране гибели! А никакой другой исход просто невозможен, если начнет сбываться мечта о возрождении империи. Я чувствовал себя готовым отразить любой довод, какой только мог быть против этого выдвинут, потому что опирался на многократно проверенные и давным-давно доказанные факты.

Империя в конце XX века — анахронизм, мечты о ней опоздали на столетие. Разве крушение Российской империи в 1917-м было исторической случайностью, результатом германских или еврейских, или большевистских козней? И разве было случайностью крушение империи советской три поколения спустя? Нет же, конечно! Основанные на подавлении свободы, они были крепки и монолитны в свое время, но стали внутренне непрочны, неустойчивы в современном мире. Что будет, если вполне безумное на пороге третьего христианского тысячелетия намерение восстановить империю начнет осуществляться? В случае неуспеха приведет оно к гражданской войне, сеющей смерть и ненависть между русскими и украинцами, русскими и грузинами, русскими и татарами. Но еще губительнее стал бы в этом случае успех. Он неизбежно обернется новой вспышкой глобальной ядерной конфронтации, которой истерзанная страна просто не выдержит.

Я просил Проханова, а потом и Владимира Бондаренко объяснить, почему они не считают возможным выходить из этого страшного тоннеля, где оказалась запертой Россия, **вместе** с украинцами, с грузинами, с американцами, наконец? Вместе с миром, а не против него? Зачем объявлять себя наследниками царей и большевиков, когда наконец-то открылась возможность жить своим умом — без самодержавного кнута, без крови и террора? Жить с другими народами как равные с равными?

Я оказался непростительно наивным, ожидая, что в ответ на мои аргументы собеседники выдвинут свои и дальше дискуссия пойдет обычным путем. Разговор, который я, точности ради, воспроизвожу по газетным публикациям, принял совершенно иное направление.

«Мы с вами давнишние оппоненты, — отвечал мне Проханов. — Удивительное у вас ощущение мира как царства организованной свободы. Я ощущаю мир как непрерывную борьбу, как огромный, гигантский конфликт, в котором заложены тысячи других конфликтов.

Япония нависла над русским Дальним Востоком. Политизированный ислам устремился сквозь республики Средней Азии на Нижнюю и Среднюю Волгу. Германия смотрит на Балтику, на остатки кенигсбергских соборов. Америка по-хозяйски рассаживается в обеих [наших] столицах — в коридорах власти, в банках и военных конструкторских бюро... Ныне и Россия — не Россия, и Москва — не столица, но

за летящими обломками... высветляется **идея Евразии**, отрицающая Америку, размыкающая змеиные кольца, что захлестнули российско-го Лаокоона и его сыновей... Распад СССР — это напалзающие враждебные континенты, сламывающие хребет Евразии. Будто тектонические могильные створки хотя бы сомкнутся над шестой частью суши. Мы переживаем геополитическую трагедию. Мы — опрокинутая, побеждаемая, плененная цивилизация, попавшая в петли, раскнутые цивилизацией чужой, совращенная манками, уготовленными над волчьей ямой»³.

Если вы не знаете, что такое моноидея, то вот он, прекрасный образец, перед вами. Человек не слышит вопросов, не улавливает смысла сделанных ему возражений. Словно бы погруженный в транс, от твердит свое, не столько даже мысли при этом высказывая, сколько давая выход теснящимся в его воображении видениям.

Его словно бы действительно душат, ему как-будто и вправду переламывают хребет. Жизнь — трагедия. Мир полон неразрешимыми коллизиями, кругом — враги.

На этом, мне кажется, и произошла имперская моноидея — на неизбывном, не подчиняющемся разуму страхе. Как смешно пошутил один из его соратников, «если у кого-то комплекс неполноценности или зависти, у Проханова свой комплекс — военно-промышленный». Но ведь и правда, бряцание оружием — хорошая защита от страха, а непроницаемые имперские границы — надежное укрытие от враждебного, со всех сторон наступающего мира. Военная империя — самая точная проекция задавленного страхом сознания.

Сказав о Проханове, что он «не хочет, чтобы Россия повторила путь Византии»⁴, Бондаренко помог мне уловить еще одну причудливую, скажем так, особенность мироощущения нашего с ним общего героя. Сначала я подумал, что это просто неудачный образ: ну, не в XIII же веке мы, в самом деле, живем, когда за каждым кустом могла мерцать тень завоевателя! Но потом, сверившись с многочисленными текстами, понял — нет, сказано абсолютно точно. Истории для Проханова не существует, время не значит для него ничего. Тринадцатый, девятнадцатый, двадцать первый век — какая разница? Геополитические трагедии вечны и неисчерпаемы, и не исчезают со сменой эпох враги. Они все так же непримиримы и беспощадны и так же вездесущи — не только «наползают» со стороны, но и проникают сюда, к нам, используют демократический камуфляж, который скрывает их «трансцендентную чуждость» и делает их «своими» в глазах большинства, как и то, что они ходят по той же земле⁵.

Мне трудно разобраться, откуда идет этот страх и почему он отлился у Проханова именно в имперскую идею. Может быть, как и у Жириновского, все началось с раннего детства — родился на окраине империи, на чужой земле, которую он, русский, с болезненным упорством хотел считать своею, а взгляд на мир воспринял от старообрядцев, среди которых рос — раскольничья вера больше имеет дело с жестоким и коварным дьяволом, чем с милосердным Богом. Но объяснять, как формируются такие характеры и такое мироощущение, больше пристало психоаналитикам. Наша задача — добраться до рационального стержня прохановской моноидеи.

«Естественное право»

Снова приходит нам на помощь Владимир Бондаренко. Я не знаю точно, какую роль играл он в редакции газеты "День". Простого партийного пропагандиста, искренне увлеченного теориями шефа? Политкомиссара, приставленного к увлекающемуся Проханову лидерами «партии войны»? В любом случае под его пером моноидея обрастает неким подобием рациональных аргументов.

Давайте вчитаемся.

«Еще со времен Великого Новгорода и древнего Киева живет в русском народе одержимость идеей государственности... При сменах общественных формаций, при перемене господствующих классов видоизменялась, но вновь оживала идея... Вот почему газета "День" активно публикует монархистов и коммунистов, русских предпринимателей и православных священников, эмигрантов и генералов. Это не идеологическая путаница. Это четкая и взвешенная идеология государственного самосознания.

[За последний год] государственная идея у Проханова, наконец, обрела и фундаментальную основу, объединяющую все наши народы вокруг русского центра — концепцию евразийства. К этому шел Александр Проханов годами, если не десятилетиями... Да, Проханову изначально присуще имперское русское сознание, и значит — отсутствие национального эгоизма. Народы региональные, не имперские, обычно более заражены шовинизмом, ярко выраженным национальным эгоизмом. Имперское сознание означает отсутствие любых расовых комплексов. Думаю, что только в случае ликвидации у русских имперского сознания (если такое случится) мы выработаем наконец-то русский национальный эгоизм, ставя интересы своего этноса выше всего остального...

Я уверен, или же мы вновь сыграем роль объединителя народов, укрупнившись на евразийских пространных, или же, осознав себя народом региональным, выстроим более узкое, но и более национально-эгоистическое, может и шовинистическое, православное государство»⁶.

Видите, какая ловкая конструкция? Хотите избавиться от русского шовинизма, зараженного «расовыми комплексами», — не посягайте на наше право иметь империю. Плохо не будет никому, включая и тех, кого мы себе подчиним. Мы ведь не то, что все другие народы, страдающие «национальным эгоизмом». Русский народ, оказывается, с младых ногтей («со времен Великого Новгорода и древнего Киева») «одержим идеей государственности». Имперское чувство для него естественно, как дыхание. Это у других оно — порок, а у русских — добродетель. Так что, если вы нарушите его естественное право на империю, пеняйте на себя: в ответ получите, называя вещи своими именами, нацизм.

Муссолини - голубь мира?

Давайте все же себя перепроверим. Нам сказали: имперская политика — но без «национального эгоизма» и «расовых комплексов». Как ее предстать себе реально? Не будет еврейских погромов и других разновидностей преследования инородцев. Это, конечно, большой подарок. Но ведь собирать-то империю все равно придется вопреки воле и желанию украинцев, грузин, татар

и всех прочих, все равно придется ломать их сопротивление. Без тотального насилия тут ну никак не обойтись. И без «отрицания Америки», о котором походя проговорился Проханов, тоже. Не согласится же мир спокойно наблюдать, как реваншисты превращают Россию в ядерную Югославию. Короче, предстоит тяжелая кровавая конфронтация, война — как внутри страны, так и с миром. Оттого и называю я последователей Проханова, одержимых имперской идеей, **московской «партией войны»**.

Не следует, разумеется, искать каких-то серьезных документов с изложением моделей имперской политики. И Бондаренко в своих рассуждениях о национальной исключительности русского народа сказал максимум того, что мог и хотел сказать. В задачу его как заместителя излишне открытого главного редактора входило лишь одно: прикрыть шефа от последствий его собственного неосторожного красноречия. Поэтому все, что касается практического содержания имперской идеи, придется нам, увы, восстанавливать самим по косвенным упоминаниям и случайным оговоркам.

Бондаренко, правда, за собой следит. Он никогда не ляпнет, подобно Проханову, что «идея Евразии отрицает Америку». Напротив, он будет старательно доказывать прямо противоположное: идеи Проханова лишены всякой агрессивности, они чисто оборонительные, защитные, и несут они мир, а не войну. «Это идеология спасения нации, может быть, высшая из всех существующих идеологий»⁷. И даже еще доверительнее: «Проханов видит в евразийской идее, рожденной блестящими русскими философами в эмиграции, далее продолженной в трудах Льва Гумилева — возможность дальнейшего мирного и плодотворного объединения народов Азии и Европы... Евразийское сопротивление, инициатором которого в России стал Александр Проханов — это реальная попытка сохранить Россию как имперский организм... Его национализм — это национализм имперского человека, национализм без расового признака, без запаха крови»⁸.

Если перевести эту публицистически взволнованную речь на язык общепринятых политических терминов, как раз и получится, что Бондаренко имеет в виду имперский национализм, но только Муссолини, а не Гитлера.

По этому поводу, впрочем, и сам Проханов высказывался в беседе со мной совершенно недвусмысленно. Когда я заметил, что его план корпоративного имперского национализма напоминает программу Муссолини, он безоговорочно это подтвердил: «Да, это программа Муссолини... это программа перехода от жестких структур к мягким, пластичным. У Муссолини не было возможности прийти к демократии потому, что это все слишком быстро кончилось»⁹.

Четверть века, в течение которых дуче правил Италией — это слишком мало? Да и демократия помянута всуе. В чем другом, но в стремлении к демократии заподозрить Муссолини никак нельзя. Он ненавидел демократию как отжившую форму политического устройства, на смену которой во всем мире идет тоталитаризм. Он гордился тем, что основал тоталитарную империю одним из первых.

Но это все мелочи, интереснее другое. Зачем вообще брать Муссолини за образец? Он проиграл вчистую. Его программа привела не к возрождению великой Италии, но к полному и безоговорочному

провалу. Что может дать такой ориентир? А между тем, как я обнаружил, Проханов был далеко не единственным из вождей московской «партии войны», испытывающим странную тягу к этому историческому имени. Могу объяснить это только как бессознательную попытку и невинность соблести, и капитал приобрести. Просто для этих людей расизм Гитлера чересчур одиозен. А «национализм имперского человека» Муссолини отчетливых ассоциаций не вызывает. Ненависть к Гитлеру не выветрилась еще из народной памяти. А что знает русский народ о Муссолини? Вовсе же без такой крупной фигуры обойтись нельзя, идеология требует опоры на образ Великого Учителя. Отсюда и попытки сотворить из Муссолини символ имперского национализма с человеческим, скажем так, лицом — без кровавых излишеств и равных комплексов.

Возможно, впрочем, что это наследственное. Еще эмигрантские отцы-основатели русского евразийства испытывали в свое время к Муссолини влечение, род недуга. Его политические идеи явно их вдохновляли, в особенности, когда были созвучны их собственным. Муссолини ведь тоже провозгласил спасение нации «высшей из всех существующих идеологий».

Но как, вспомним, выглядело это «человеческое лицо» вблизи? Муссолини начал с агрессии против собственного народа. Он беспощадно раздавил оппозицию, ввел свирепую цензуру, установил государственный контроль над промышленностью и профсоюзами и провозгласил корпоративное государство — под руководством фашистской партии. Когда экономика страны начала разваливаться, он попытался укрепить шатавшуюся диктатуру союзом с Гитлером и серией агрессивных войн. В 1935 г. его армии вероломно вторглись в Эфиопию, в 1936-м — в республиканскую Испанию, в 1939-м — в Албанию, в 1940-м — в Грецию и Францию, в 1941-м — в СССР.

Какое же смещение умов должно царить в сегодняшней Москве, если все это можно спокойно выдавать за эталон перехода «к мягким, пластичным структурам»? Фашизм есть фашизм. С расовыми комплексами или без них, несет он войну, а не мир, агрессию, а не оборону, гибель нации, а не ее спасение. Не бывает имперского национализма без запаха крови.

Для западной публики это азбука. Москве, похоже, эту ясность понятий еще предстоит выстрадать.

«Карфаген должен быть разрушен»

Паразитально, как живуча имперская идея. Два поколения спустя после того, как разгромленные империи первой «оси» сдались на милость победителя, она снова отчетливо слышна в мировой политике. Пока что, как это было в 1920-х, пробавляется ею главным образом политическая периферия, маргинальные оппозиции. Но ей этого явно недостаточно. Ее интеллектуалы пытаются осмыслить причины эпохального поражения старой евразийской «оси», ее политики готовят планы строительства новой, переходя потихоньку, по довоенному календарю, на уровень 1930-х.

Имперская идея, не хуже любой другой, создает поле взаимного притяжения для своих последователей.

Одно из таких имперских движений, кажущихся безнадежно маргинальными, сумело-таки одержать в 1979 г. решительную победу в Иране.

Тегеранские муллы не умеют смотреть дальше своего узкоконфессионального горизонта. С трудом воспринимают российское ухо образцы фундаменталистской политической риторики, такие, например, как воззвание имама Хомейни: «Те, кто внимает Западу и иностранцам, грядут во тьму, а святые их — истуканы... Отвернитесь, отвергните все, что заволаживает вас на Западе и умаляет ваше достоинство. Обратитесь к Востоку!»¹⁰. В Прохановском же «Дне» такие публикации появлялись регулярно.

Впрочем, зря я, наверное, взялся решать за читателей «Дня». Кто-то из самых прилежных могла, наоборот, заморозить средневековая ярость антизападной риторики и проповедь ксенофобии. Хомейни ведь почти буквально повторяет неистового патриарха Иоакима, проклинавшего иностранцев и Запад в допетровских соборах Москвы! Но вот кого уж точно эти проклятия не могут устраивать, так это политический штаб нового имперского движения, европейскую «новую правую» — интеллектуальную верхушку современного западного неонацизма. Разве построишь на такой основе новую евразийскую «ось»? Как это так — «отвернуться от Запада»? Не разъединять, а сомкнуть необходимо Восток и Запад!

Но — старый наш вопрос — как? На чем? На какой общей платформе могут соединиться интересы восточных фундаменталистов, западных неонацистов и первой среди равных — московской «партии войны»? Ведь именно эта партия и только она способна в случае успеха вернуть имперской идее реальный политический вес. Если новая «ось» не сможет опереться на разрушительный потенциал ядерной сверхдержавы, что заставит мир с нею считаться?

Можно, конечно, считать, что таким цементирующим фактором служит сама сверхзадача, то самое, на чем сломали себе зубы могущественные империи старой «оси»: ведь снова речь идет о грандиозном повороте истории вспять к темным векам средневековья, где не существовало бы даже самого понятия индивидуальной свободы. Но это где-то там, далеко впереди, это слишком абстрактно, чтобы служить компасом в повседневной жизни, в которой все три течения расходятся так сильно, что и рукой не дотянуться. Мусульманский фундаментализм проповедует всемирную исламскую империю. Московский реваншизм пестует идею возрождения великой русской империи. А европейской «новой правой» и та, и другая нужны лишь как материал для «оси».

И все же обнаружилась точка, в которой будущие союзники могут сойтись самым естественным для каждого способом, а кстати и лозунг, так же органично объединяющий усилия всех. Нашел их признанный интеллектуальный лидер европейской «новой правой» Ален де Бенуа. Друг и единомышленник Проханова, часто гостивший в «Дне».

«Евразия против Америки» — вот эта точка.

«США — враг человечества, Карфаген, который надо разрушить», — вот этот лозунг¹¹.

Вербуя «партию войны»

Ни малейших шансов самостоятельно подняться на политическую поверхность европейская «новая правая», однако, не имеет. Поэтому заключить союз с Прохановым, а через него и с московской «партией войны», для нее — императив.

Оттого-то и зачастили в Москву де Бенуа и его ассистент, проповедник «континентальной автаркии»¹² бельгиец Роберт Стойкерс. Оттого и основали они в Москве — вместе с одним из помощников Проханова Александром Дугиным — новый журнал «Элементы», именующий себя «Евразийским обозрением» и отваживающийся печатать такое, от чего и прохановские газеты воздерживались. Например, добрые слова в адрес Генриха Гиммлера и его СС. Де Бенуа и сам регулярно публикуется в России. Его подробные инструкции, по-видимому, ставят целью хоть немного образовать в национал-социалистическом духе неотесанную российскую публику, да и самих лидеров «партии войны».

«Если коммунизм в России дискредитирован, а капитализм будет дискредитирован в самом ближайшем будущем, что же произойдет в России?» — спрашивает де Бенуа. И толкует читателю: «Здесь только национал-патриотические силы могут дать оригинальный, новый и глубокий ответ... при условии, что выйдут за рамки двух дискредитированных моделей»¹³.

Вы не знаете, как парировать либеральные обвинения в шовинизме? Есть рецепт и на этот случай. «Когда русские национально-патриотические силы обвиняются в том, что они шовинисты, вы имеете полное основание отвечать вашим противникам, что самая шовинистическая нация — американская, поскольку они думают, что их собственная модель самая лучшая... Это самый настоящий шовинизм, доведенный до планетарных пропорций»¹⁴.

Глухота к идее свободы делает его подопечных легкой добычей оппонентов. Но и эту, непреодолимую, казалось бы, для фундаменталиста трудность можно обойти. Де Бенуа дает Проханову предметный урок — учит манипулировать этим чуждым словом: «Русским патриотам нужно не отрицать самую идею свободы, узурпированную сегодня либералами, но предложить иное понимание свободы — идею свободы всего русского народа, взятого в целом. Индивидуум не может быть свободен, если не свободен народ, к которому этот индивидуум принадлежит. Именно по этой причине русские должны категорически отказаться от помощи Запада, так как смысл ее в том, чтобы осуществить отчуждение русских, русского народа от их собственной свободы»¹⁵. Именно поэтому, добавляет он, «если бы я был русским патриотом, я прекрасно мог бы стоять в одном ряду с русскими коммунистами... и никогда бы не смог встать в один ряд с русскими либерал-демократами, поскольку они хотят для России американского будущего»¹⁶. Точно так же, понимает читатель, решал подобные сложные дилеммы Йозеф Геббельс.

Итак, объединительный клич найден. Подмена индивидуальной свободы «свободой нации» одинаково устраивает каждого из потенциальных членов новой евразийской Оси, при всей их разношерстности. Против «корпоративной», т.е. национал-социалистической структуры экономики никто из них не возражает. И, наконец, в том, что Кар-

фаген должен быть разрушен, тоже сходятся все. Поистине, как объяснил английский единомышленник Проханова Патрик Харрингтон, «Фундаменталисты самых различных народов прекрасно понимают друг друга»¹⁷.

Остановка за малым: как разрушить Карфаген?

Идеология нового Катона...

Тот исторический Карфаген, которому де Бенуа уподобляет сегодняшнюю Америку, вошел в поговорку благодаря отчаянному упорству и пламенной риторике Катона Старшего. Однако, чтобы покончить с Карфагеном, понадобилось и нечто большее. В частности, понадобились для этого легионы могущественной Римской империи, выдержавшие три кровопролитные Пунические войны. А где разрушителям нового Карфагена взять такие легионы? И кто пожелает сегодня проливать кровь во имя их фантазмагорических планов?

Ответ нетрудно предугадать. Конечно, Россия. «Если она сможет восстановить гармонию своего коллективного бытия (читай: империю. — **А.Я.**)... не подражая западным моделям»¹⁸. Уже сейчас, полагает де Бенуа, «чрезвычайное оживление, царящее сегодня в СССР, делает из него страну открытых возможностей»¹⁹. И прежде всего — возможности превратиться в ядерный таран, способный в четвертой Пунической войне разрушить стены нового Карфагена.

Для этого, естественно, необходимы некоторые «духовно-культурные» усилия. Тем более, что после крушения коммунизма в России «в духовно-культурном плане самыми бедными и обездоленными являются сегодня отнюдь не народы Востока»²⁰. И де Бенуа, генерал без армии в Европе, видит свою святую обязанность в духовном окормлении этого слепого гиганта. Он не сомневается, что новая имперская Россия в долгу не останется, она «покажет всем европейцам выход из ложных альтернатив, в которых они замкнулись»²¹.

Идеология нового Катона, таким образом, ясна. Необходим теперь лишь практический план кампании. А для этого нужен уже не идеолог, а стратег, новый, если угодно, Сципион.

Тут, однако, у европейских правых некоторые затруднения. Не то, чтобы кандидата в новые Сципионы вообще у них не было. Бельгиец Жан Тириар вполне на эту роль подходил. Беда лишь в том, что даже для Бенуа он, деликатно выражаясь, немножко слишком правый. Коротко говоря, покойный Тириар был человеком с нацистским прошлым, который остался этому прошлому верен.

Но если для самого де Бенуа здесь и могут быть какие-то проблемы, то Проханову и Дугину такая щепетильность не по карману. И они отважно открывают первый же номер журнала «Элементы» планом новой Пунической (мировой) войны, заимствованным из книги Тириара «Евро-Советская империя от Владивостока до Дублина» и выносят на обложку журнала карту этой будущей империи. Книга вышла в 1981 г., но, по-видимому, показалась публикаторам нисколько не устаревшей.

... и стратегия нового Сципиона

Тириар был знающим геополитиком и опытным писателем. Беспощадный критик бывшего СССР, он предрек распад советской империи еще до начала перестройки. Вот его логика: «Не война, а мир изнуряют СССР. В сущности, Советский Союз и создан и подготовлен лишь для того, чтобы воевать. Учитывая крайнюю слабость его сельского хозяйства... он не может существовать в условиях мира»²². Поэтому «геополитика и геостратегия вынудят СССР либо создать Европу, либо перестать существовать как великая держава»²³. Из-за «катехизисного характера современного коммунизма» и «умственной ограниченности» своих лидеров на создание Европы СССР оказался неспособен. Следовательно, он был обречен.

Вообще-то, посылка Тириара допускает вовсе не два, как он постулирует, но три возможных следствия. Кроме войны и утраты статуса, военная империя может еще быть радикально реформирована, может стать гражданской великой державой. Пример любимого Тириаром Третьего Рейха, трансформированного в ФРГ, бьет, казалось бы, в глаза. И аналогичная метаморфоза послевоенной Японии тоже. Но для Тириара, как понимает читатель, этой третьей мирной альтернативы не существует, точно так же, как не существует ее для Проханова. Похоже, что это вообще родовая черта мышления фундаменталистов. Станным образом число вариантов в их сценариях никогда не превышает двух. В нашем случае — если не империя, то гибель.

Что у де Бенуа на уме, у Тириара на языке. Он рассчитывает, что гибели Россия все же избежит, но не ради себя самой — он ценит ее как боевой таран, способный вышибить Америку из Евразии, изолировав, унизив и лишив статуса мировой державы.

Он убежден, что Россия «унаследовала детерминизм, заботы, риск и ответственность Третьего Рейха... судьбу Германии. С геополитической точки зрения СССР является наследником Третьего Рейха»²⁴. И поэтому «ему ничего другого не остается, как, двигаясь с востока на запад, выполнить то, что Третий Рейх не сумел проделать, двигаясь с Запада на Восток»²⁵.

Прошное полно ошибок. Тириар сурово критикует Сталина — за «концептуальную неполноценность», но порицает и своего кумира — Гитлера. Естественно, не за зверства нацизма, «с геополитической точки зрения» такие пустяки несущественны, но за неправильную стратегию войны. «Гитлер проиграл войну не в России, он проиграл ее уже в тот день, когда согласился на испанский нейтралитет (и отказался от Гибралтара, и в дальнейшем не придавал должного значения Северо-африканскому фронту). Победу Рейх должен был добывать на Средиземном море, а не на Востоке»²⁶.

План четвертой Пунической войны, предложенный Тириаром, предназначен исправить ошибки обоих диктаторов — и на этот раз окончательно добить Америку. Вот как он разворачивается. «СССР выиграет первый этап войны против США. Этот блиц-этап будет напо-

минать наступление немцев в мае — июне 1940 г., а также молниеносное продвижение японцев в течение первых месяцев войны на Тихом океане. Ближайшими целями русского наступления будут захват Гибралтарского пролива, затопленной или разрушенной Англии — единственного надежного союзника Вашингтона, и Суэцкого канала... После достижения этих целей начнется война на износ, которую СССР не сможет выиграть без активной поддержки промышленности и населения Западной Европы»²⁷.

Однако, СССР не получит такой поддержки, «если захочет навязать Европе свой порядок и повторит ошибку Гитлера, создавшего немецкую Европу. Хозяева Кремля стоят перед историческим выбором между созданием Европы русской или Европы советской. Советская Европа — это Европа интегрированная, русская Европа — это Европа оккупированная»²⁸. Но что, в сущности, выбирать, если вывод очевиден? «СССР выиграет затяжную войну, если создаст настоящую, хорошо интегрированную Евро-Советскую империю, которая будет простираться от Владивостока до Дублина и Рейкьявика»²⁹.

Вот и все. На бумаге новый Карфаген уже разрушен. Осталось выполнить план. За работу, товарищи!

Умрем за Гибралтар?

А работа непростая: железом и кровью возродить империю, способную зажать в своих тисках оба континента. Вот зачем европейской «правой» нужен Проханов. Вот зачем соблазняют они его видением грандиозной, небывалой евразийской державы. Но они, в отличие от него, не

эпатируют публику. Там, где он экзальтирован, они смертельно серьезны. То, что для него романтическая греза, для них предмет точного и жесткого планирования. Они угадали его главную слабость.

Естественно, что Россия гражданская, не имперская, ориентированная на интересы собственного народа, им ни к чему. Такая Россия не сможет и не захочет таскать для них из огня каштаны, исполняя чуждую ей миссию.

Зачем России Гибралтарский пролив или Суэцкий канал? И с Америкой ей тоже делить нечего. Свободная Россия преспокойно уживется с ней на одной планете — как равная с равной.

Для европейских фашистов такая Россия была бы крушением последней надежды.

Они не только дразнят и соблазняют, и подстрекают Проханова, играя на его романтической одержимости идеей империи и на его глухоте к идее свободы. Они его вербуют, они дают ему задание — любой ценой превратить Россию в боевой таран, в ядерный кулак, в пушечное мясо, пригодное для захвата Гибралтара. Убедить русскую «патриотическую» интеллигенцию, что старое, традиционное противостояние России и Запада, на котором она выросла, отжило свой век, что не разговоры надо разговаривать, а идти войной на новый Карфаген.

Александра Дугина, бывшего члена «Памяти», а ныне главного редактора «Элементов», де Бенуа уже нанял. Дугин уже говорит голосом Тириара: «Европа вместе с Россией против Америки... Понятия "Запад" в нашей концепции не существует. Европа здесь — геополитическая антитеза Западу. Европа как континентальная сила, как традиционный конгломерат этносов противопоставляется Америке как могущественнейшей ипостаси космополитической, вненациональной цивилизации»³⁰. Дугин уже декларирует, что «за сохранение нашей империи, за свободную Евразию надо сражаться и умирать»³¹.

А Проханов? Он тоже готов послать своих детей умирать за Суэцкий канал и разрушение Карфагена? Он тоже принял слегка перефразированный римский постулат, вдохновляющий Дугина: пусть погибнет Россия, но стоит империя?..

Глава седьмая

Национал-большевики. Александр Стерлигов и Геннадий Зюганов

И по внешности, и по характеру, и, должно быть, по вкусам люди эти — антиподы. Лед и пламень, как говорил Пушкин. Если принять эту метафору, лед представляет в нашей паре, несомненно, Зюганов. Медлительный, невозмутимый, холодноватый. Рядом с ним Стерлигов — легкий, щеголеватый, хлестаковского склада — выглядит удачником, человеком, который успеха в жизни всегда добивался играючи.

Молодого читателя может смутить, что два абсолютно несопоставимых по нынешним своим весовым категориям персонажа представлены здесь в связке. От сегодняшнего Стерлигова, лидера заштатного Русского Собора, которого даже на собственной его территории резво обходит какой-нибудь Юрий Скоков, до сегодняшнего Зюганова, солидного думца, всерьез лелеющего президентские претензии и уже давно входящего в первую десятку самых влиятельных российских политиков, — как до луны.

Этому читателю я напомним, что еще летом 92-го связка Стерлигова с Зюгановым вызвала бы не меньшее недоумение — только по причине прямо противоположной. Ибо как раз Стерлигов был тогда человеком на белом коне, самым многообещающим, казалось, лидером «непримиримой» оппозиции. А Зюганов — куда ему, он был лишь одним из многих отставных партийных бюрократов, мельтешивших в ту пору на дальних задворках российской политики. Оттого и сопредседательствовал он в Русском Соборе и во Фронте национального спасения, что отчаянно пытался хоть как-то вынырнуть на поверхность. Лишь теперь, задним числом, знаем мы, что ему это удалось. А чем хуже Стерлигов? Кто сказал, что это не удастся ему?

История коварна, и поэтому не стоит в разгаре смуты списывать в музей восковых фигур вчерашних вождей: кто знает, когда и как удастся им снова выплыть?

В сегодняшнем респектабельном Зюганове нелегко распознать того яростного вождя «непримиримых», идеи которого ничуть не отличались от взглядов Стерлигова. Но тем более, значит, опасно забывать: как бы ни играла судьба со Стерлиговым, дело его живет.

Зюганов, как и большинство профессиональных партийных чиновников брежневской эры, из крестьян. Стерлигов — персонаж столичный.

Только крайняя нужда могла свести и сделать единомышленниками элегантно генерала КГБ и степенного крестьянского сына из орловской глубинки, дослужившегося к пятому десятку до поста члена Политбюро Российской коммунистической партии — уже после того, как оба выпали из политической тележки.

Однако есть между ними и глубокое внутреннее родство. В отличие от Жириновского или Проханова, заведомых аутсайдеров, вошедших в высокую политику, собственно ниоткуда, из безликой массы населения империи, Зюганов со Стерлиговым представляют слой, который по-английски называется «ultimate insiders». Они — люди системы. Оба выросли в высокой политике. Или, если угодно, в атмосфере интриг и бюрократической конспирации, которая сходила за политику в советской Москве.

Идеи, вдохновляющие Жириновского и Проханова, — идет ли речь о российских танках на берегах Индийского океана или об Америке, вышвырнутой из Евразии, — смелы, масштабны и даже, если хотите, романтичны. В чем-в чем, но в бесцветности их не упрекнешь. В противоположность им идеи героев этой главы отражают лишь их угрюмое бюрократическое прошлое. В них и следа нет эмоциональной одержимости Проханова или динамичного авантюризма Жириновского. Зато есть ядовитый конспиративный дух, канцелярская мстительность и чиновничий цинизм того слоя, в котором сделали они свои карьеры. Оба вышли из старого мира, и от обоих веет всеми ароматами старых коридоров власти.

Вот почему нам интересна эта связка. Она приблизит к нам психологию вчерашней элиты, рвущейся на авансцену сегодняшней политики.

Русский Собор

Сошлись они в феврале 1992 г. в Оргкомитете Русского национального собора, объединительной «патриотической» организации, с большой помпой, как помнит читатель, возвестившей городу и миру, что ей удалось «огромное национальное достижение — стратегический союз красных и белых»¹.

Как мы уже знаем, в личном плане никакого союза у Стерлигова с Зюгановым не получилось. Уже к осени 92-го разругались они насмерть. Это, впрочем, лишь доказывает, что оба — природные лидеры и никому не позволят оттеснить себя на вторые роли. Став лидером Российской коммунистической партии и сопредседателем Фронта национального спасения, Зюганов переиграл Стерлигова. Но куда длился их медовый месяц, он видел в стерлиговском «национальном достижении» большой, можно сказать, всемирный смысл. «Наша объединительная оппозиция, — говорил он еще летом 1992-го, — сложилась только потому, что и красные и белые прекрасно понимают, что последняя трагедия России превратится во вселенский апокалипсис»².

Циник усмотрел бы во всей этой затее с примирением непримиримого лишь оппортунистическую уловку бывших коммунистов, оставшихся не у дел и пытающихся пристроиться под «красно-белым» зонтиком. Куда-то же приткнуться им надо было. В конце концов, обоим только чуть за пятьдесят, оба полны еще энергии и амбиций, оба привыкли к крупномасштабному руководству. И никакой другой пер-

спективы эти амбиции удовлетворить, кроме как возглавить «патриотическое» движение, у обоих нет.

В пользу цинической версии говорило бы и то обстоятельство, что никаким «преодолением исторического раскола», как рекламировал свой Русский Собор Стерлигов, никаким «стратегическим союзом» на самом деле и не пахло. Одни слова, одни попытки выдать желаемое за действительное. «Перебежчик» Илья Константинов, например, уж на что был заинтересован в повышении акций оппозиции, но и он помпезные заявления Стерлигова категорически опровергал: «Тот блок оппозиционных сил, который мы сейчас имеем, создан по тактическим соображениям — подчеркиваю — именно по тактическим»³.

Я понимаю Константинова. Действительно, можно было утонуть в массе конкретных вопросов, по которым «патриотам» просто невозможно было договориться с коммунистами. «Я изучал, — говорит Константинов, — программные документы всех движений объединенной оппозиции, и как только заглядываешь в те части программы, где речь идет о долгосрочных мерах, сразу обнаруживаешь противоречивые подходы. Нужна ли приватизация? Если нужна, то какая? Допустима ли частная собственность? Если допустима, то какова ее доля? Какая политическая форма государства предпочтительнее — республика или монархия? Если республика, то президентская или парламентская, если монархия, то конституционная или нет?»⁴.

Какой уж там «стратегический союз», когда так прямо «белые» и декларируют: «Мы садимся сейчас за один стол и участвуем в одних акциях не потому, что нам этого хочется, а потому, что иначе нельзя избавиться от антинародного и антинационального режима»!⁵

Номенклатурный бунт

Как видим, версия циника как-будто подтверждается. И все же я думаю, что прав он был бы только отчасти. На самом деле все намного сложнее.

Ни Зюганов, ни Стерлигов, собственно, и не были марксистами, то есть «красными» в точном значении этого слова. Зюганов признался мне в октябре 91-го, когда мы с ним долго и, как мне тогда казалось, откровенно беседовали в подвале «Независимой газеты», что у него в брежневские времена были очень серьезные неприятности идеологического свойства. Его даже исключали однажды из партии. Стерлигов тоже, надо думать, не от хорошей жизни уволился из КГБ и перешел на административную работу в Совет Министров. Оставались бы у него в родимом ведомстве виды на продвижение, едва ли он махнул бы на них рукой.

Короче говоря, еще в старой советской системе оба довольно рано достигли потолка и вполне отчетливо осознали, что дальше — или, точнее, выше — ровно ничего им не светит. И не засветит, если не произойдет какой-то капитальной перетряски, которая одним ударом вышибет вон их засидевшееся и разучившееся ловить мышей начальство — и откроет им путь вверх.

А еще короче — они тоже были своего рода бунтовщиками, бюрократическими, так сказать, диссидентами. Конечно, они никогда не вступили бы в конфронтацию с руководством и тем более не пошли

бы в тюрьму из-за каких-нибудь прав человека или хотя бы «социализма с человеческим лицом», как поступали настоящие диссиденты. В выборе между конституцией и севрюжиной с хреном они безоговорочно предпочитали севрюжину. Но и ее одной было им мало.

Не только бунтарские действия, но и мысли тоже непременно требуют какого-то идеологического обоснования. Надо же как-то объяснить хотя бы жене и друзьям, самому себе, наконец, почему эта система, выпестовавшая тебя и сообщившая тебе первоначальное ускорение, стала вдруг нехороша.

Рядовой обыватель может в таких обстоятельствах к высоким обобщениям и не подниматься. Он скажет: вот как мне не повезло, попались тупые, обленевшие начальники. Люди же ранга Стерлигова или Зюганова удовлетвориться таким объяснением не могли. Хотя бы по долгу службы оба обязаны были внимательно наблюдать за происходящим, а значит, не могли не знать, что их маленькая личная драма повторяется повсеместно, перерастая в драму политическую, государственную. С высоты их положения нельзя было не видеть, что дело не в плохих начальниках, а в системе. Она загнивала на их глазах, превращалась в политическое болото, постепенно засасывавшее все живое вокруг. Она была с головы до ног неестественна, неорганична, протезна. Но чтобы ее отвергнуть, нужно было противопоставить ей что-то другое.

«Мы пойдем третьим путем»

Где, однако, могли искать это «что-то» высокие чиновники этой самой системы? Уж не в тех ли либеральных западных идеалах, которые вдохновляли вольных диссидентов и вообще интеллигентную публику? Нет, это все для них было чужое, опасное, враждебное. Уж во всяком слу-

чае — по ту сторону от севрюжины с хреном.

Если посмотреть на дело с этой стороны, легко понять, что выбора у них на самом деле никакого не было. Только в «патриотическом» движении могли эти люди найти идеологическую опору. И если они действительно к нему присоединились, то произойти это должно было давно, еще в брежневские времена⁶. Только оно открывало перед ними третий путь — между марксизмом и демократией. И только на этом пути можно было, с одной стороны, убрать с дороги осточертевшее ортодоксальное начальство, а с другой — оставить в целостности ту иерархическую авторитарную структуру власти, в которой чувствовали они себя, как рыба в воде.

И не так уж много, могло им тогда казаться, для этого требовалось. Всего лишь убедить свое номенклатурное окружение, что в его собственных интересах возродить родной отечественный авторитаризм лучше, чем чуждая им демократическая идея овладеет массами. Что лучше «сверху» освободиться от антипатриотического марксизма, заодно с опостылевшим партийным руководством, нежели ждать подъема демократической волны «снизу», которая всю систему просто разнесет.

Если и была в такой операции сложность — могли они тогда думать — то скорее идеологическая, пропагандистская, то есть как раз по их части. Так вывернуть, переокрасить, переодеть отечественную

авторитарную традицию, чтобы она стала казаться воплощением «истинно русской» демократии и гуманизма. Чтобы царская автократия выглядела отныне не глухой бюрократической казармой, какой увековечила ее классическая русская литература, но светлым прибежищем свободы и высокого патриотизма. Конечно, спорить с русскими классиками было трудновато. С Герценом, например, который однажды описал императорский двор как корабль, плывущий по поверхности океана и никак не связанный с обитателями глубин, за исключением того, что он их пожирал. Ну как, скажите, выдать такую картинку за списанный с натуры портрет отечественной демократии?

Но наши начинающие национал-большевики бесстрашно принялись за дело, полные энтузиазма — и, разумеется, презрения к собственному народу, глубоко одурачивать который им было не впервой.

А вот политическую сложность, которая их подстерегала, они, кажется, недооценили.

Не успев встать на ноги, национал-большевизм встретил жесткое сопротивление сверху. Партийное начальство чувствовало себя вполне уютно со своим «социалистическим выбором». И никаких посягательств на него не допускало. Как запоздало жалуется Стерлигов, «за симпатии к идеям третьего пути расстреливали, сажали в лагеря, исключали из партии, снимали с работы»⁷. И снизу пошло сопротивление. Те, кого этот бывший высокопоставленный жандарм сам же в эти лагеря сажал, вся ненавистная ему не меньше, чем начальство, либеральная интеллигенция, ни о каком «третьем пути» слушать не хотела и продолжала верить, что, как провидчески писал столетие назад Герцен, «без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте»⁸.

Этого двойного сопротивления новоявленным национал-большевикам было не одолеть. Брежневская, а затем и горбачевская система их отторгла. Единственным утешением, которое у них оставалось, было сказать жене, друзьям и самим себе, что их совесть чиста. Не они предали родную партию, а она предала их — и родину.

Так что циник, подозревающий их, коммунистов с большим партийным стажем, в беспринципном оппортунизме, был бы неправ. Оппортунистами они как раз были высоко принципиальными. И «краснобелыми» стали задолго до того, как это оказалось модно и безопасно.

Тех же щей, да пожиже влей

У Стерлигова и у Зюганова был, в отличие от «патриотов», большой политический и административный опыт. Они достаточно пошатались по коридорам власти. И большевистская закалка, как бы ни хотелось им от нее откеститься, тоже в них сильна. Не нужно было объяснять им, что выработка единой идеологической платформы «непримиримой оппозиции» требует времени. Власть же надо было брать немедленно, покуда она, как им казалось, валяется под ногами. Потому-то и поторопились они провозгласить «стратегический союз». Чисто по-ленински объяснил это поспешное решение Зюганов: «Мы обязаны отложить идейные разногласия на потом и прежде всего добиться избрания правительства народного доверия»⁹. Другими словами, берите власть, пока не поздно, и «только потом решайте все остальные вопросы»¹⁰.

Многих интеллигентных «патриотов» шокировала такая откровенная беспринципность. Им все-таки нужно было хотя бы для самих себя

прояснить позиции. Во имя чего брать власть? И что с ней делать, когда мы ее возьмем? Никакого «потом», справедливо опасались они, не будет. Первые же политические декреты определяют курс новой власти, а далее любое отступление от него будет чревато такой дракой между «красными» и «белыми», не говоря уже о «коричневых», внутри нового правительства, которая неминуемо обернется самоубийством и для него, и вообще для страны. Так что не одному Константинову хотелось считать коалицию исключительно тактической и временной.

Можно себе представить, как раздражало лидеров это интеллигентское чистоплюйство, однако они старались сохранять терпение. «Слов нет, нам следует говорить о стратегических разногласиях внутри оппозиции, но не следует, придя к власти, торопиться их решать, — мягко поучал Стерлигов. — Если у нас есть согласие о первоочередных мерах, мы в первую очередь и должны ими заняться и, стало быть, вне зависимости от партийных пристрастий, должны на определенное время законсервировать те социальные институты, которые немедленно докажут свою жизнеспособность»¹¹.

Логика у национал-большевиков, что в брежневские, что в послеавгустовские времена, была одна: спихнуть начальство и занять его место. А «социальные институты» — другими словами, систему, в которой они знали все ходы и выходы — трогать совершенно необязательно.

Но нельзя же вождям открыто признаться, что они планируют новую перестройку «под себя»! Под их своекорыстную логику было подведено хитрое идейное обоснование. «Ни сейчас, ни в ближайшие годы Россия не в состоянии выбрать модель ее будущего государственного и экономического устройства. Семьдесят лет ей вдалбливали интернационалистские коммунистические ценности, а теперь вот уже семь лет насаждают в ней космополитические демократические идеалы. Наше общество засорено чуждыми ему понятиями и представлениями, и потому никакие референдумы истинных интересов народа не выявят».

И вывод: «Любые радикальные реформы в переходный период необходимо запретить»¹².

Если читателю эти глубокомысленные рассуждения кажутся хотя бы отчасти резонными, то пусть он перенесется мысленно в послевоенную, еще не успевшую прийти в себя Германию. Впрочем, нет, Германия — слишком «западная» страна для нашего сравнения. Возьмем лучше разбомбленную Японию 1945—1948 гг. — ничего «восточнее» просто не бывает. И вот раздается требование запретить любые радикальные реформы и законсервировать старую систему, которая привела ее к тотальному поражению. Японскому народу, видите ли, две тысячи лет «вдалбливали» изоляционистские и милитаристские ценности, а теперь вот уже три года насаждают в нем вообще неизвестно что! Разве даже нам, вчуже, не ясно, что в этом случае Япония никогда не стала бы той страной, какой знаем мы ее сегодня? Разве не очевидно, что если и были в Японии и уж тем более в Германии политики, выступавшие с подобными проектами, то даже имена их давно забыты? Общественное мнение отвергло их сразу, сочтя либо безумцами, либо карьеристами, ослепленными жаждой власти. А таких людей нигде, кроме России, никто не принимает всерьез...

Переходный период с сохранением важнейших элементов систе-

мы, сковавшей страну по рукам и ногам, и без «радикальных реформ», развязывающих эти путы — это что-то вроде жареного льда. Выполните эти условия национал-большевизма — и система, покачавшись недолго, просто вернется туда, где была. Только на месте Андропова окажется какой-нибудь Стерлигов, а на месте Брежнева — Зюганов. Вот и вся перестройка.

Стоило ли ради этого России мучиться смертной мукой?

«Первоочередные меры»

Чтобы наш анализ не показался слишком поверхностным, поговорим все же подробнее о позитивной программе национал-большевизма. Хотя бы о тех «первоочередных мерах», ради которых его вожди готовы были «отложить свои идейные споры на потом». Предположим, что «правительство народного доверия» действительно заняло подобающие ему кабинеты и приступило к работе.

Как же оно действует? И что получается в результате?

Проблемы — все те же. Инфляция, которая, подобно раковой опухоли, пожирает самую способность страны заниматься экономической деятельностью и вдобавок ежеминутно грозит перейти в гибельную гиперинфляцию. Многомиллиардный иностранный долг, который ведь надо каждый месяц выплачивать, чтобы не оказаться изгоем в мировом сообществе. И экономическая депрессия. И угроза массовой безработицы. И забастовки. Словом, что перечислять — головная боль существующего правительства всем хорошо известна. Разве что прибавится центробежный марш автономий и регионов. Ведь побегут же все из России, как побежали после большевистского переворота в октябре 1917-го.

Естественно было бы для национал-большевиков действовать по старым фамильным рецептам, тем более, что и проблемы во многом совпадают. Как выходили из своего трудного положения большевики? Они отказались платить царские долги, чем на долгие годы обрекли страну на международную изоляцию и гонку вооружений; кровавым террором остановили марш разбегающихся регионов; бесцеремонно ограбили подавляющее большинство населения страны, ее стомиллионное крестьянство, и за счет его крови и разорения одолели экономический спад. В конечном счете они создали насквозь милитаризованную, приспособленную для войны, а не для мирной жизни, индустриальную систему, того самого искусственного, протезного монстра, против которого Зюганов со Стерлиговым и бунтовали.

Впрочем, ни из чего не следует, что эта перспектива способна их утратить. Поэтому поставим вопрос по-другому: что из этих рецептов может реально использовать «красно-белое» правительство? У него ведь нет старого стомиллионного крестьянства, чтобы снова спустить с него шкуру. И нет старой Красной Армии, чтобы силой навязать свою власть разбежавшимся республикам. Остается не так уж много. «Навести порядок» в ценах, вернув тем самым страну в эпоху голодных очередей, пустых магазинов и бушующего черного рынка. Да, еще отказаться платить внешние долги. Но сейчас все-таки не 1917-й, Запад не разделен на воюющие группировки, судьба россий-

ской демократии важна для него первоначально, и ключ к ней в его руках. Разрыв в этой ситуации с Западом означал бы стократное усугубление кризиса. И уже не изоляция и гонка вооружений, как в прошлом, стала бы следствием, а тот самый «Вселенский апокалипсис», который сам Зюганов неосторожно упомянул в одном интервью.

У Сталина, по крайней мере, было зерно, которое он мог выбрасывать на мировой рынок по демпинговым ценам, вымаривая голодом собственное крестьянство. У Брежнева была нефть, на которой его режим мог паразитировать десятилетиями. У «красно-белого» правительства не будет ни того, ни другого. Даже запасного фонда для стабилизации российской валюты не будет у него, как только оттолкнет оно Запад. Ничего на самом деле не будет, кроме амбиций и ядерных ракет.

Так что же в итоге? Хроническая африканская нищета с единственной альтернативой — либо окончательно развалиться на составные части, превратившись в ядерную Югославию, либо, интегрировавшись по фашистскому сценарию Жириновского, трансформироваться в ядерную Уганду и промышлять шантажом богатых стран Запада.

Можете вы себе представить большее унижение для России ?

Функция современного необольшевизма

Все это, однако, сейчас уже история, хоть и недавняя: и «стратегический союз», и «первоочередные меры». Подталкивая оппозицию к немедленному взятию власти, национал-большевики оказывали ей медвежью услугу, что и засвидетельствовало годом позже сокрушительное поражение

октябрьского мятежа. Так не слишком ли велика честь для обанкротившихся политиков — подробно рассматривать их неосуществившиеся намерения и планы ? Найдут они в себе силы для нового захода — вот тогда и поговорим.

Что ж, с этим можно было бы согласиться, если бы речь шла только о политике одной из оппозиционных группировок. Но национал-большевики интересны для нас вовсе не как политики. Действительно интересны и опасны они как пропагандисты психологической войны. В этом деле они профессионалы. Десятилетиями специализировались они на борьбе с западническими идеями либеральной интеллигенции. Они знают свой предмет и умеют разрушать — в особенности в эпицентре цивилизационного землетрясения. И уж эту-то роль выполняют исправно, независимо ни от какой политической конъюнктуры.

Функция национал-большевизма на современном этапе русской истории, как я ее вижу, состоит в том, чтобы, взяв российскую интеллигенцию на испуг, разрушить ее традиционную западническую ориентацию.

Еще в брежневские времена, когда было для них первоначально важно выработать общий язык для «красных» и «белых», попытались они реанимировать старый скомпрометированный в глазах интеллигенции «коричневый» миф о жидо-масонском заговоре против России, переформулировав его в новый «красно-белый» миф о заговоре западных спецслужб. Слишком мала сегодня аудитория, которую можно пронять легендами о «сионских мудрецах» и прочим репертуаром дремучей «Памяти». Совсем другое дело — реально существую-

щие спецслужбы, на которые проецируется недавнее всемогущество отечественного КГБ. Что такое власть спецслужб, знает и самый непросвещенный человек в России. Так почему бы не постараться сделать «агента влияния» современным эквивалентом «врага народа»?

Этот миф дал толчок к рождению новых, а те, в свою очередь, обросли новейшими... В результате составилась целый свод, который, экономя силы читателя, я постараюсь изложить в максимально сжатой форме.

— Запад не может жить на одной планете с Россией как «великой и единой державой»¹³, являющейся к тому же «стержнем геополитического евразийского пространства»¹⁴;

— поэтому он поставил перед собой цель «уничтожить российскую государственность и культуру, навязать стране не свойственный ей образ жизни»¹⁵;

— он реализует — и даже частично реализовал — свой замысел с помощью глобальной сети хорошо законспирированных спецслужб, руководствующихся «концепцией разрушения»¹⁶;

— спецслужбы насадили в Кремле послевавгустовский режим, который может рассматриваться не иначе как оккупационный;

— поэтому непримиримая оппозиция ему становится священным долгом всех русских патриотов;

— это национально-освободительное движение призвано установить в России «свойственный ей образ жизни» и политический строй, принципиально отличный от «чуждой нам западной демократии», «позволяющей получать властные мандаты тем, кто ловчее других орудует языком и имеет мощную поддержку в прессе»¹⁷;

— Россия, а вовсе не Запад, является родиной «народной», т.е. подлинной демократии, вероломно замолчанной отечественной классикой и западной историографией;

— возрождение России (это как бы шпиль, венчающий всю сложную постройку) возможно лишь под знаменем тотальной борьбы с Западом и агентами его влияния внутри страны.

Все эти мифы в совокупности и составляют «третий путь» — пропагандистское ядро современного национал-большевизма, альтернативу как коммунистическому интернационализму, так и космополитической демократии.

В очень еще сырой, можно сказать, черновой форме весь этот мифологический набор был уже представлен в «Слове к народу», с которого начали путчисты в августе 1991 года. Ошибается тот, кто думает, что в случае их победы восторжествовала бы идея коммунистического реванша. В действительности мятежники расчищали дорогу для идеологии «третьего пути» и ее пророков.

Стоит ли с ними спорить?

Я понимаю, что трудно внушить не только западному читателю, но и многим трезво мыслящим людям в России серьезное отношение к национал-большевистской пропаганде. Такая наивность, такая откровенная чепуха — даже несолидно с нею спорить, тем более ее опасаться. В нормальных обстоятельствах так же, наверное, думал бы и я. Дело, однако в том, что обстоятельства

сегодня ненормальны, и не только в том тривиальном, бытовом смысле, какой чаще всего вкладывается в эти слова.

Если вспомнить, монументальные попытки поссорить русскую интеллигенцию с Западом уже дважды предпринимались в современной истории России. Во времена «официальной народности» при Николае I и снова — столетие спустя, во времена «космополитической» кампании при Сталине. Но ни в первый, ни во второй раз цель не была достигнута, хотя все средства, способные изменить настроения в обществе, были пущены в ход. Но момент был выбран неподходящий. Не было, в наших терминах, веймарской ситуации. Традиции, опиравшиеся на мощный монолитный фундамент имперской цивилизации, не поддались.

Сейчас — иное. Сейчас Россия переживает не просто ломку — распад вековой имперской цивилизации и связанный с ним глубочайший кризис всех традиционных ценностей. Интеллигенция оказалась в эпицентре бури. Почва вздыблена, незабываемые ценности, выработанные многими поколениями на протяжении столетий, вымываются. Никогда еще она не была так растеряна, неуверенна, уязвима. В особенности — молодежь. Если когда-нибудь было время сломать, наконец, традиционную приверженность русской интеллигенции к западным, т.е. либерально-демократическим ценностям, время это — сегодня.

Вот почему третья по счету попытка разрушить ее вековую европейскую ориентацию, предпринимаемая сегодня национал-большевиками, представляется мне такой опасной.

Весь литературный антураж «третьего пути» мы, конечно, сейчас не осилим. Ограничимся лишь тем вкладом, который внесли в него наши герои.

Ностальгия бывшего жандарма

«Патриотическое» издательство «Палей» специализировалось на серии брошюр под общим названием «Жизнь замечательных россиян», задуманной как современные жития святых. Святые эти особого чина: и Зюганов, и Стерлигов попали в их число, а вот Андрей Сахаров — нет. Тот, кому это

показалось бы непонятным, мог получить разъяснения от самого Стерлигова прямо в тексте его «Жития». «Ретивый правозащитник Сахаров так прямо и предлагал — либо сбросить на Союз несколько изобретенных им водородных бомб, либо превратить весь евразийский материк в сырьевую-трудовую колонию, которая обеспечивала бы жизнь "избранных" там, за океаном. Великий гуманист, что ни говори — недаром его высоко ценили и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве»¹⁸.

Одного этого абзаца достаточно, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения: «святой» этот — нераскаявшийся жандарм. Можно, в отличие от большинства людей в стране и в мире, не чтить Сахарова как праведника, можно не соглашаться с его мыслями и действиями — на то и свобода мнений. Но эти абсурдные обвинения, сам этот лающий тон — все с головой выдает причастность автора к организации, обязанной по долгу службы преследовать и пытаться Сахарова. Так что ностальгические пассажи Стерлигова — вроде того, что «КГБ ошельмовали»¹⁹ или «во времена Андропова мы, сотрудники КГБ, за-

щипали народ от преступников»²⁰ — выглядят в этом смысле явным перебором.

Вместе с другими комментариями, разбросанными в «Житии», это замечание наглядно свидетельствует, что Александр Николаевич Стерлигов, оказавшись в лидерах Русского Собора и претендуя на первые роли в России в качестве лидера, полностью сохранил жандармскую ментальность. Намек на «избранных» в Вашингтоне и Тель-Авиве, которым якобы служил Сахаров, направлен, конечно же, против евреев. Стерлигов, однако, не колеблется отлучать от лика России и единокровных соотечественников: «Русский — без национальной души, без веры предков, о таких Достоевский говорил "не православный не может быть русским". А уж прямо служащий Антихристу тем более»²¹.

Легко представить, какой страной станет Россия, следуя «третьим путем».

Но каков молодец! Посвятить лучшие годы жизни политическому сыску, сделав карьеру в организации, которая на протяжении десятилетий растлевала и коррумпировала православную церковь — теперь, не моргнув глазом, берет на себя роль борца с Антихристом и защитника «веры предков»!

Второе издание мифа XX века

Плохи были бы дела нового национал-большевистского мифа, если бы творили его только люди, вроде Стерлигова. Они компрометировали бы его одним своим присутствием. Но дело спасают другие лидеры движения. Зюганов и тем более "перебежчики" — Михаил Астафьев или

Сергей Бабурин — выглядят на фоне Стерлигова просто космополитами. Они не опускаются ни до вульгарного антисемитизма, ни до кощунственно-опереточной «борьбы с Антихристом». Ни при каких обстоятельствах, я думаю, они не стали бы тревожить память Сахарова саморазоблачительными обвинениями.

Да и не нужна им, по правде говоря, эта «коричневая» примесь. Новый миф прекрасно выстраивается из двух легенд: старой «красной» (об агрессивном западном империализме) и новой «белой» (о предательском партийном начальстве, вступившем в преступный сговор с коварными западными спецслужбами).

Представляя народу одну из первых редакций нового мифа, Геннадий Зюганов начинает издавека. Оказывается, еще «в середине 60-х гг. за океаном была сформулирована доктрина, которая не называлась ни "перестройкой", ни "радикальными реформами", нет; это была программа разрушения СССР, великой и единой державы изнутри»²². Ясно, что реализовать эту «концепцию разрушения»²³, сидя там, за океаном, спецслужбы не могли. Нужен был рычаг в Кремле. Но какой? Не зашлешь же резидентов на высшие посты великой и единой державы. Не допустят этого Стерлигов и его коллеги. Но западным интриганам повезло. Резидентура сложилась сама по себе, и вот как это произошло: «Когда у нас партийное руководство стало стареть и дряхлеть, вокруг Брежнева и всей его компании появилось очень мно-

го прилипал... тот же Арбатов, тот же Яковлев»²⁴. Естественно, «на этих дрожжах всходило новое племя угодливых компрадоров, которые, по сути дела, вкусив с западного стола, предали национально-государственные интересы»²⁵.

Предатели верно служили «тем, кто сформировал концепцию разрушения»²⁶. Прекрасно понимая, что «нашу страну нельзя разрушить, не уничтожив КПСС»²⁷, они сделали все, чтобы поставить во главе партии своего человека, такого же угодливого компрадора, как они сами. И преуспели в этом. «Таким вот главным агентом влияния, президентом-резидентом оказался, к несчастью, Горбачев. Внешне привлекательный, а по сути аморальный и подлый... единственный в мире Нобелевский лауреат, который подпалил собственную державу»²⁸.

Тут, правда, в плавном течении повествования обнаруживается у Юганова некоторый провал. Как же все-таки удалось «прилипалам» протолкнуть на самый верх партийной иерархии такого «президента-резидента»? Как допустил такое беззаветно борющийся с преступниками Андропов? Мало того, сам же первый этому способствовал? Ну хорошо, допустим, Андропов был болен, а «Брежнев и вся его компания» утратили бдительность по дряхлости. Бывает. Но тогда уж во все непонятно, куда смотрели Стерлигов и его братья-чекисты? Они-то были в расцвете всех своих жандармских сил! Чего же они стоили, если не смогли разоблачить такой заговор?

В своей версии мифа это скользкое место пытается прикрыть сам Стерлигов. Он беседует с журналистом и получает от него удобнейший пас: «Александр Николаевич, я понимаю, что в госбезопасности уже при Андропове работали люди компетентные — не побоюсь этого слова: интеллектуалы. Так что же, неужели аналитики из вашего бывшего ведомства не могли просчитать еще в 85—86 гг., к чему, в какую пропасть ведет нас Горбачев со своим проамериканским окружением? Неужто не знали они о масонской начинке всех этих Яковлевых, Арбатовых, Шеварднадзе?» Только кажется, что это вопрос на засыпку. Ответ у Стерлигова готов: «Беда не в некомпетентности органов безопасности. Дело гораздо сложнее. Ни ЦК, ни тем более Совмин важнейшей информации от этого ведомства не получали, ибо — Комитет Госбезопасности был подчинен непосредственно — и только — генсеку КПСС»²⁹. Иначе говоря, писать-то они доносы писали, но получается, что на собственную голову.

Однако и здесь не все вяжется. Горбачев стал генсеком в 85-м, а заговор-то существует, как нам объяснили, с середины 60-х! И «новое племя угодливых компрадоров» взросло на каких-то там дрожжах уже при Брежневе. Так что одно из двух: либо КГБ ничего не знал о заговоре (а это разрушает его собственный миф), либо никакого заговора не было.

Подвела хронология. Запутались. Придется еще поработать.

Смешно? Но не забудем: убойная сила мифа зависит не от того, что он в себе несет, а от того, кто ему внимают. Человек, имеющий более или менее внятное представление об истории, сочтет его просто сказкой, не слишком складной и мало занимательной. Объяснять распад великих империй интригами стало неприлично еще в XVIII веке. Эдвард Гиббон, писавший свою шеститомную историю распада Римской империи в 1780-е, с презрением отзывался о таком поверхност-

ном подходе. XX век был свидетелем распада полудюжины империй. О войнах и революциях, сопровождавших эти исторические катаклизмы, написаны тома. А для одного из величайших в этом ряду событий достаточно оказалось заговора каких-то спецслужб, интриг Арбатова и двуличия Горбачева?

Но миф рассчитан на другую аудиторию. Он адресован поколению людей, отрезанных от мировой политики и науки, только понаслышке знающих о крупнейших событиях века. И в первую голову «патриотам», приученным мыслить в терминах конспирации и заговора (в газете «День» был даже специальный «конспирологический» раздел).

Ни профессиональный жандарм Стерлигов, ни партийный профессионал Зюганов вовсе не собираются спорить с Гиббоном. Они не пишут историю. Вслед за Альфредом Розенбергом они создают второе издание мифа XX века. Так что последует дальше за Геннадием Зюгановым, которого мы перебили на самом интересном месте.

Структура заговора

«Я хочу обратить ваше внимание на основные направления усилий по разрушению нашей страны... Первое... создать мнение — мировое и внутри страны — что это империя, что это хищная империя, ее надо обязательно разрушить. Второе — доказать, что СССР не был архитектором победы в Великой Отечественной войне, а такой же злодей, как и фашисты. Третье — взвинтить гонку вооружений, тем самым деформировать подорванную войной экономику и не позволить выполнить социальные программы, где реализуется сущность и привлекательность образа жизни советских людей. Четвертое — разжечь национализм, национально-религиозный экстремизм. И обратите внимание на пятый пункт, он ключевой — с помощью агентов влияния захватить прежде всего средства массовой информации и разрушить коллективистский характер бытия России»³⁰.

Нужен ли был заговор?

Вот, оказывается, какая интересная жизнь у этих западных спецслужб! Они плетут заговор, тратят, обратите внимание, деньги налогоплательщиков, хотя для достижения их целей никаких усилий вообще не требуется!

Хотите убедиться?

Пункт первый. «Создавать мнение», что СССР — хищная империя. Зачем? Достаточно было послушать сообщения из Афганистана или Эфиопии, чтобы тотчас убедиться в этом. Что делали советские войска в этих далеких странах? Какие национальные интересы защищали? Во имя чего проливали кровь? И как работало это на «сущность и привлекательность образа жизни советских людей»?

Пункт второй. Победа победой, но ведь факт, что СССР оказался единственным из членов военной антифашистской коалиции, кто и после войны продолжал агрессивную, хищническую политику. Окку-

пировав пол-Европы, он силой удерживал свою власть на оккупированных территориях, а в 70-е распространил свою экспансию на Африку и Центральную Азию. Это тоже факты. Что еще доказывать?

Пункт третий. Если спецслужбам хотелось задушить СССР непосильными военными расходами, то и это было им любезно обеспечено. В решающей степени — агрессивной политикой самого Советского Союза, который пытался навязать миру гнилой, чего и Зюганов не отрицает, государственный «социализм».

Пункт четвертый. Достаточно хоть немножко знать обстановку и настроения в «республиках-сестрах» (особо — на Украине, особо — в Прибалтике, особо — в Закавказье и т. д.), чтобы понимать, как мало могли они зависеть от чьего бы то ни было внешнего влияния. Да и вообще: если народ не расположен бороться за независимость, кто и как может его на это поднять?

По этому пункту хотелось бы объяснить чуть подробнее. Называть естественное стремление народов к свободе «национальным экстремизмом» — естественный способ самовыражения и саморазоблачения для всех империалистов. К этому способу прибегали в свое время идеологи всех распадающихся империй: англичане по отношению к индийцам, французы — к алжирцам, голландцы — к индонезийцам.

Положительный пример, которым национал-большевики любили колоть глаза Ельцину — президент де Голль. Между тем именно к де Голлю — после того, как он настоял на независимости Алжира — обращались с бешеными инвективами французские империалисты, настойчиво требуя ответа на провокационный вопрос: «исходя из каких полномочий президент расчленил французский народ?»

Замените здесь «французский» на «русский», и вы услышите вопрос, которым атакует Ельцина национал-большевик Стерлигов³¹.

Пункт пятый. Хотя это и ключевой, по мнению Зюганова, пункт, но он оказывается у него самым слабым. Захватили, разрушили... Кто? Как? По Зюганову, журналисты, подчинившиеся «агентам влияния» и первому — Александру Яковлеву, главному тогда партийному идеологу. «Яковлев развил бурную деятельность, рекрутировал десятки журналистов, удобных и подобоострастных... Состоялись встречи, были даны установки нигилистического и разрушительного толка»³². Интересно, как профессиональный аппаратчик утрачивает способность воспринимать события иначе, нежели сквозь призму бюрократической интриги. Для него спущенные сверху «установки начальства» решают все. Но ведь и Егор Лигачев тоже «развил бурную деятельность» и тоже давал журналистам «установки» — позитивные и конструктивные. Отчего же им последовало лишь меньшинство журналистского корпуса? Лигачев-то ведь тоже был не последним человеком в партии! Почему Зюганову не приходит в голову, что у журналистов было свое, человеческое и гражданское отношение к большевистской империи? Или, может, он просто вслух об этом не говорит?

И вообще, действительно ли он, как пишет — так и думает? Действительно верит в заговор как в главную причину распада Советского Союза?

Но тогда как же объясняет он для себя крушение Османской или Австро-Венгерской, а затем и Британской, Португальской, Французской, Бельгийской, Голландской империй? Тоже чьими-то происками?

Я понимаю, что, как и все советские граждане, национал-большевики жили в замкнутом пространстве, варились в своем котле, безнадежно отгороженные от мира, который все это время стремительно развивался. Я понимаю, что они все еще, по сути, живут в прошлом веке, когда все перечисленные выше империи, включая Российскую, были в силе и славе и казались самим себе неуруемыми и вечными. Они не знают, насколько болезненным и пугающим был, скажем, распад Британской империи для англичан или Османской для турок, как виделся в этом англичанам и туркам конец света — и как все же они излечивались постепенно, изживали боль, входя вместе со всеми другими народами в новый, современный мир.

Но Россия, которой, как никогда, нужно спешить, учиться, наверстывать упущенное — чем она-то виновата в том, что национал-большевики опоздали на столетие и что у них просто выхода другого нет, кроме как пытаться повернуть время вспять?

«Государство вождя»

Особенность советского государства, отличавшая его от остальных имперских монстров, состояла в том, что оно было тоталитарным, т.е. пыталось при помощи Стерлигова и его коллег контролировать не только поведение, но и мысли своих подданных. Это делало государство все-

могущим. Только одно было у него уязвимое место, и находилось оно, как ни парадоксально, на самой вершине пирамиды власти.

Даже в постсталинской, в посттоталитарной своей фазе советская империя все еще была организована по «фюрерскому» принципу, оставалась анахроническим «государством вождя». Уже и фюреры ее безнадежно измельчали, уже и необходимое для существования такого государства харизматическое лидерство истощилось, уже произошла в нем «рутинизация харизмы», как назвал это в свое время Макс Вебер, но и в 1980-е генсек КПСС все еще оставался, как свидетельствует Стерлигов, вождем империи, единственным человеком, обладавшим в ней всей полнотой достоверной информации.

Зюганов начинает отсчет распада советской империи с момента, когда «партийное руководство стало стареть и дряхлеть»³³. Он прав. «Государство вождя», как рыба, гниет с головы. Всесильное, покуда фюрер в силе, оно неотвратимо слабеет вместе с ним. И ничего нельзя с этим поделать. Проблема преемственности власти не может быть решена в таком государстве ни по монархическому принципу наследственности, ни по принципу постоянно возобновляемого демократического мандата на власть. «Государство вождя» всегда стоит перед дилеммой: либо гниение, либо государственственный переворот. История доказала это тысячу и один раз.

И вот теперь именно это изобретение Муссолини и Сталина, эту предельно бесперспективную фюрерскую диктатуру национал-большевики намерены навязать России — как национальный идеал, как патриотическую альтернативу демократии.

Вот их аргументы.

«Наши отцы и деды, лишь умывшись кровью репрессий и Великой

Отечественной войны, примирились между собой. На обломках Российской империи возник СССР, государство вождя, которое по своему духовно-нравственному типу соответствовало Российской народной монархии»³⁴.

В этой «народной монархии» царь, оказывается, «назначал только губернаторов, распоряжался армией и полицией. Формы общественной жизни являлись различными формами собраний, будь то крестьянская община, казацкий круг, офицерское и дворянское собрание. Сочетание коллективистских и монархических форм отличало и отличает на сегодняшний день Россию. И поэтому государство вождя выдержало жуткий удар фашистской военной машины, оно обладает огромной степенью прочности»³⁵.

«Российское общество должно быть избавлено от нынешней демократии. Новая Россия станет страной, где есть подлинное самоуправление и где действует сильная центральная власть. Она откажется от чуждой нам западной системы выборов... Наш новый парламент будет составлен по образцу Земского собора. Он включит в себя представителей крупных трудовых коллективов и всех сословий общества. Я уверен, что именно такая система демократии отвечает интересам народа»³⁶.

«Нам, славянам, нужно — необходимо! — создавать свое международное сообщество, объединяться в нем с исторически и географически неотделимой от нас Азией, со странами третьего мира, среди которых еще вчера у нас было столько друзей, партнеров и союзников... У нас всегда находились люди, которые считали, что есть третий путь — жить надо так, как можно жить только в России, без оглядки на утопические рецепты [марксизма] и на порядки в иных землях... Наша идейная платформа притягивает сегодня всех тех, кто разочарован как в коммунистической, так и в демократической идеологии»³⁷.

Что ни шаг, то ухаб, что ни фраза, то неустранимое противоречие.

Политика Русского Собора состоит в возвращении России к подлинной демократии. И при этом его платформа притягивает всех, кто разочарован в демократической идеологии.

Новая Россия будет страной подлинного самоуправления. А вот парламент ее будет составлен по образцу Земского собора — бесправного, совещательного, никогда не игравшего никакой роли в принятии политических решений, да и вообще не для того созывавшегося.

Идеал политического устройства — «демократия народных собраний», а одновременно и «государство вождя», отрицающее какую бы то ни было демократию.

Точь-в-точь как у Зюганова: первым долгом западные службы старались создать «мнение, что Россия — империя», но при этом «у нас империя, монархия была народной монархией»³⁸.

Еще труднее совместить историческую картину, которую рисуют национал-большевики, с реалиями российской истории. Куда исчезла дикая российская бюрократия, с такой потрясающей силой описанная Гоголем и Толстым? Куда девалось трехсотлетнее крепостное право (благословленное тем же Земским собором) вместе с жесточайшими крестьянскими бунтами? Зачем понадобилась великая ре-

форма 1861 г., попытавшаяся обуздать всевластие коррумпированной бюрократии и помещиков? Откуда взялась в «народной монархии» революция 1917-го, опять-таки потерпевшая поражение в отчаянной попытке избавить страну от тотального бюрократического насилия? А сталинские репрессии, кровью которых «умылись», по выражению самого Зюганова, наши отцы и деды, они-то как могли случиться в СССР, если он тоже по своему «духовно-нравственному типу» так соответствовал «народной монархии»?

Откуда все эти напасти в благодной «монархически-коллективистской» народной демократии, какой изображают нам скорбную, трагическую, полную страданий и стремления к свободе русскую историю национал-большевистские мифотворцы?

Как велико искушение объявить все эти тексты бессмыслицей, бредом, а их авторов — ограниченными, невежественными людьми, толком не понимающими даже того, что выходит из-под их пера! С точки зрения академической, все их мифы и впрямь полны откровенной чепухи. Но разве гитлеровская идеология «Народного государства» не была, с этой же точки зрения, безграмотным бредом? А завоевать немецкую интеллигенцию в веймарской ситуации это ей, тем не менее, не помешало...

МАСКИ ИМПЕРИИ

В апреле 1995 г., в ознаменование десятилетия перестройки, редакции трех видных московских газет собрали «круглый стол». Примечателен он оказался не столько тем, что на нем говорилось, сколько тем, что прошло мимо внимания участников диспута.

«Егор Лигачев глубоко убежден, что движение к капитализму — движение бесперспективное», — оповестили читателей «Московские новости». Эка невидаль! Что, интересно, другое ожидали услышать от престарелого ветерана имперской бюрократии? Гораздо более знаменательно, что либеральные оппоненты Егора Кузьмича, такие закаленные спорщики, как Явлинский или Гайдар, покорно дали втянуть себя в заведомо бесплодную дискуссию по поводу вопроса, давно и окончательно мировой практикой решенного. Явлинский напомнил, что «эффективная экономика — это экономика, построенная преимущественно на частной собственности и конкуренции», Гайдар — что социализм не способен «решить задачу устойчивого индустриального развития»... Школьные прописи! А ведь встреча посвящена была истории. Впервые за последнее десятилетие сошлись лицом к лицу представители обоих великих лагерей, на которые раскололась страна еще два столетия назад — западники со сторонниками «особого пути России». И собрались они не для предвыборной политической потасовки, но затем, чтобы осмыслить исторические итоги экстраординарной эпохи. Пришли не одни экономисты, но и люди весьма сведущие в российском прошлом, умеющие мыслить о нем с большой глубиной и пронизательностью: Гавриил Попов и Рой Медведев, Вячеслав Никонов и Федор Бурлацкий, Юрий Любимов и Анатолий Салуцкий. Казалось бы, сам печальный финал десятилетия должен был подтолкнуть их к обсуждению проблемы действительно фундаментальной: как мы дошли до жизни такой?

Что, с неба на нас свалилась в 1985 году перестройка? Как же понять ее смысл вне исторического контекста? Даже близкое прошлое, охватываемое злополучным социалистическим экспериментом, не дает ответа на все вопросы. Ведь раскол российских элит, точной моделью которого стал и сам этот апрельский «круглый стол», длится на

протяжении уже семи поколений, и именно он определяет характер и впрямь неповторимого пути России в мире.

Да вот не получилось такого разговора. Один Никонов упомянул, что «России надо преодолеть не наследие последних 70 лет, а тысячелетнюю традицию авторитарной власти». Но подхвачено это замечание не было, и потому осталось абстракцией.

Тысячелетние традиции авторитарной власти были у всех европейских и тем более азиатских стран. Но это не помешало Англии и Франции преодолеть их еще в прошлом столетии. Германия и Япония, хоть и с опозданием, но тоже полвека назад с ними разделались.

И только России не удалось до сего дня преодолеть ни раскол своих политических элит, ни «тысячелетнюю традицию».

Проблема, стало быть, в том, почему именно она, в отличие от всех других великих индустриальных держав, одна, в компании отсталого аграрного Китая, так и не стала — ни в прошлом столетии, ни в нынешнем — нормальной страной? Как случилось, другими словами, что именно Россию по-прежнему регулярно сотрясают политические катаклизмы, вздергивая страну на дыбы и превращая ее политические элиты в непримиримых врагов?

На мой взгляд, ответ на этот фундаментальный вопрос однозначен: военная империя. Это она сделала монархическую Россию прошлого века жандармом Европы и она же заставила ее после коммунистической метаморфозы стать оплотом авторитарной реакции в современном мире. К этому, собственно, и сводилась традиционная роль России в мировой политике на протяжении двух последних столетий, начиная с 1815 г. И эта роль оставалась за ней и при капитализме, и при социализме, и под властью царей, и под властью коммунистических олигархий.

Если так, то суть конфликта последнего десятилетия состоит в **освобождении России от военной империи**. Сразу вспоминается хрестоматийное замечание Маркса, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Военная империя, по самой своей природе, — образование феодальное, пережиток средневековья. Она изначально ориентирована на территориальную экспансию, а не на благополучие своих граждан, на поддержание военной мощи, а не гражданской экономики. Ее функция — война, а не мир. А война требует единоначалия и уставной дисциплины.

Впервые Россия восстала против этого проклятия в 1917 г., решительно отрекшись от имперского статуса и объявив себя демократической республикой. Силы новорожденной демократии, однако, были ничтожны в сравнении с мощью имперского реванша, опиравшегося на пятисотлетнюю традицию. На протяжении нескольких лет республика была сокрушена, империя реставрирована и ее традиционная роль в мировой политике восстановлена. Но для этого ей пришлось сменить маску. Вчерашний жандарм Европы стал знаменосцем всемирной пролетарской революции.

Драматическая смена имперской маски вызвала не менее драматическое перераспределение ролей в мировой политике. Жандармские функции были перехвачены реставраторами империй в Германии и в Японии — те самые функции, которые как раз и исполняла Россия, когда призрак коммунизма только еще бродил по Европе.

Смена маски военной империи означала мировую войну, смертельно опасную для самой России.

Несчитанные жертвы потребовались от страны для отражения угрозы, которую создала для нее империя. Чтобы выстоять, потребовалась помощь того самого демократического Запада, сокрушить который должна была пролетарская революция. Но это не помешало военной империи, не успевшей еще даже залечить страшные раны, сразу повернуть штыки против вчерашних союзников. Хотя что обвинять ее в этом? Оставаясь реликтом средневековья в современном мире, ничего другого, кроме войны, делать военная империя просто не умела.

Полувекковая осада Запада, известная под именем холодной войны, кончилась для империи полным крахом. Созданная для войны, от войны она и погибла.

Во второй раз на протяжении одного столетия открылась перед Россией возможность стать нормальной современной страной. Снова, как и в 1917-м, провозгласила она себя демократической республикой.

Сбросить феодальные цепи, душившие ее свободу, расколовшие ее элиты и изувечившие ее историю — в этом, я думаю, был действительный смысл и главный итог перестройки.

Однако страдания, причиненные распадом империи, огромны. Имперская традиция могущественна. Жить без империи страна не умеет. Она чувствует себя осиротевшей, несчастной, обрубленной. Не успев сбросить феодальные вериги, она снова погибает от тоски по ним. И нет никаких гарантий, что и эта, вторая за столетие, попытка освободиться не кончится тем же, что и первая — сменой имперской маски.

Как велика вероятность, что в один прекрасный день империя возродится и снова приступит к тому единственному, чем только и может она заниматься — наглядно показал и этот юбилейный «круглый стол».

Ни один из его участников — а среди них были отважные люди, в том числе бывшие диссиденты, — даже по имени не назвал эту смертельную для России опасность. Зациклились на споре с отставными вождями имперской бюрократии по каким-то замшелым темам. О том, что весь смысл последнего десятилетия заключался в освободительном восстании против феодальной военной империи, не вспомнили даже те, кто против нее воевал.

Могущество имперской традиции так велико, что мысли о реванше не оставляют даже либеральную часть политического спектра — от Горбачева до Явлинского. Конечно, приемлемыми здесь кажутся лишь самые «мягкие» варианты (в форме, скажем, евразийского союза, конфедерации, еще какого-нибудь «собирающего» альянса, способного погасить тоску по утраченной славе, могуществу и жизненному пространству). Но все эти люди составляют лишь своего рода греческий хор, аккомпанирующий, против своей воли, таким солистам, как Владимир Жириновский или Александр Дугин, которые на глазах лепят новую маску империи. Погрузившись в свою ностальгическую печаль, хор не чувствует **органической связи** между реставрацией империи, в какой бы то ни было форме, — и восстановлением ее традиционной роли в мировой политике. А вот солисты —

они не только видят эту связь. Они ее планируют, ради нее и карабаются на авансцену.

Мировой порядок, рассуждают они, так же уязвим, как в начале века, хоть теперь уже не левые, а правые экстремистские силы бросают ему вызов. Каждая из них дудит в свою дуду — Ирак и Северная Корея, европейские неонацисты и американские экстремистские милиции, иранские фундаменталисты, боснийские сербы... Нужен дирижер, чтобы составить из них оркестр. Кто же, спрашивается, кроме ядерной сверхдержавы, может выдвинуть такого дирижера?

Создать «черный» Интернационал, дающий феодальной империи новую возможность сменить маску, ничуть не труднее сегодня, чем было во времена Интернационала «красного». Тем более, что как бы ни именовали «черные революционеры» своего главного врага — Мировым ли правительством, Всемирным еврейским заговором или Новым мировым порядком — олицетворяют его все те же Соединенные Штаты Америки.

Только в маске дирижера гигантского «черного оркестра» способна Россия вернуть себе роль, которую исполняла она в мире на протяжении двух столетий.

Такой вот получился у бедной перестройки юбилей. Не только рядовые граждане, по сей день не оправившиеся от шока Беловежских соглашений, когда десятки миллионов россиян проснулись иностранцами или, того хуже, «оккупантами», потенциальными бездомными беженцами, но и сами ее зачинатели и энтузиасты готовы стать ее мегильщиками, сочувственно подпевая реваншу. «Мягкому», разумеется, даже «мягчайшему»! Но разве мало нас учили, что лиха беда начало? Кто сможет сдержать лавину, если она стронется с места и покажется по стране? Смог ли в свое время Горбачев укротить грозную антикоммунистическую стихию, не позволить ей прорвать плотину и перетечь из «мягкой» стадии, которую он поощрял, в «жесткую», похоронившую все его планы и его собственную карьеру?

Как предупреждал еще два столетия назад знаменитый английский политический мыслитель Эдмунд Берк, «для победы зла нужно только одно: чтобы хорошие люди ему не сопротивлялись».



КОНЬ ВОРО



ДЕЛЬЦАМ-ДЕМОКРАТАМ
НЕ ТЕРПИТСЯ БОЛЕ
РАСПРОДАТЬ ПОБЫСТРЕЕ

ДА ТОЛЬКО ЕГО ЛИ?





ЧАСТЬ

ИДЕОЛОГИ



ПЕРЕД ЗНАКОМСТВОМ

У психологической войны 1990-х свои правила, преступать которые для практических политиков рискованно. Читатель помнит, наверное: то Проханов погрузит, что у Муссолини просто не достало времени привести Италию к демократии, то Стерлигов пообещает, что «новая Россия вернется к демократии народных собраний, которая веками существовала на русских землях»¹... Это не обмолвки. Если хочешь перетянуть на свою сторону скептическое прозападное большинство, с младых ногтей уважающее демократию, поостережешься объявлять ее идеал историческим тупиком и «уходящим общественным строем»².

Даже в своем пропагандистском мифотворчестве политики оппозиции вынуждены держаться в определенных рамках. Вскрывать пороки западной демократии, как Стерлигов, или говорить об «американском тоталитаризме»³, как Бондаренко, — это сколько угодно. Но надо показывать, что сама идея демократии для оппозиции священна. Более того, только она, в отличие от предательского послеавгустовского режима, способна привести к ней Россию. Лозунги, модели национального строительства, излюбленные герои — все подается с прибавлением слова «демократия». Даром, что путь к этой демократии лежит через диктатуру, эталоном служит Чили 70-х, а роль кумира исполняет Пиночет.

Но вся эта пропагандистская мишура тотчас осыпается, едва спускаемся мы в темные идеологические подвалы оппозиции, где на полную мощность работают интеллектуальные центры, генерирующие ее идеологию. Тут притворяются ни к чему. Тут о демократии и обо всем, на чем она стоит, будь то секулярный гуманизм или просвещение, или права человека, открыто говорят все, что думают.

Точно так же, как политически расколота правая оппозиция на четыре главные течения, с которыми мы познакомимся в первой части книги, не приходят покуда к согласию и ее идеологи. У каждого направления — своя формула приговора демократии.

Одни, как Игорь Шафаревич, исходят из того, что она обречена, поскольку противоречит естественной «крестьянской (космоцент-

рической) цивилизации» и ее «органически выросшему жизненному укладу».

Другие, как Лев Гумилев, а теперь его последователи, опираясь на открытые им законы «этногенеза», считают, что демократия и Запад обречены просто из-за того, что отжили отведенное им время. То, что мы видим сейчас, — это финальная, «инерционная» фаза упадка. Правда, не сразу можно понять, что это упадок. «Он носит маску благосостояния и процветания, которые представляются современникам вечными». Однако, «это лишь утешительный самообман, что становится очевидно, как только наступает следующее и на этот раз финальное падение»⁵.

Третьи, как Сергей Кургинян, полагают, что обречена демократия из-за своей привязанности к «космополитическим химерам» либерального индивидуализма⁶. Впрочем, Кургинян яростно отвергает «огульный антисциентизм» Шафаревича (и Солженицына), который, с его точки зрения, «в условиях технологической экспансии Запада будет залогом быстрого порабощения нашей страны»⁷.

Спасти Россию должна новая стратегия «технотронного прорыва» — без нее страна просто превратится во всемирную свалку и будет безнадежно «опущена в Юг». К слову сказать, аналогичную стратегию, называя ее «геоэкономической», предлагает Америке Эдвард Лэттвак в своей недавней книге об опасностях, угрожающих американской мечте⁸, и тоже предупреждает, что в ином случае Америка неминуемо станет страной третьего мира.

Как и все оппозиционные идеологи, Кургинян винит в российских бедах западный заговор, «интеллектуальную войну против России» и демократию, которую он рассматривает как инструмент порабощения страны Западом.

Четвертые, наконец, подобно Александру Дугину, исходят из того, что демократия обречена, поскольку противоречит «революционной линии имперской, велико-континентальной, евразийской иррациональности»⁹. Это самая эзотерическая группа разработчиков реваншистской идеологии. Если бы ее лидерам не удалось соблазнить Проханова и газету «День», вряд ли она могла бы рассчитывать на широкую известность. Вся история человечества это направление сводит к одной мистической формуле: «Орден Евразии против ордена Атлантики. Вечный Рим против вечного Карфагена. Окультиная Пуническая война, продолжающаяся на протяжении тысячелетий. Планетарный заговор суши против моря, земли против воды, авторитарности и идеи против демократии и материи»¹⁰. Я уже говорил о близости этой группы к европейским фашистам. Еще задолго до перестройки французский наставник российских «консервативных революционеров» Аллен де Бенуа заявил, что он «предпочитает американскому зеленому берету фуражку советского офицера», а лидер итальянских «новых правых» Марко Тарки провозглашал, что противостояние коммунизму больше не имеет смысла, так как единственным врагом остается США, Запад, «атлантизм».

Я не случайно предвещаю подробный анализ всех этих теоретических направлений такими сжатыми характеристиками, своего рода визитными карточками каждого из них. Полезно бывает окинуть

взглядом общую панораму, и уже потом углубиться в детали, не упуская ее из виду.

Политические практики борются между собою за голоса «патриотических» масс и скептического большинства. Теоретики тоже не безразличны к массам, но их главный приз — расположение политических лидеров. Эту сложную двухъярусную структуру оппозиции для меня отражает метафора «идеологических подвалов», которая, надеюсь, не вызовет у читателей никаких ассоциаций с «подпольем». Чего нет, того нет: все свои разработки и проекты идеологи оппозиции публикуют вполне открыто, а временами даже с помпой.

При всем разнообразии подходов и взглядов и при всей их внутренней несогласованности в одном реваншистская идеология едина и монолитна: она не оставляет демократии ровно никаких шансов на будущее. Это не спор между Александром Гамильтоном и Джорджем Мейсоном по поводу различных интерпретаций республиканской идеи Монтескье. Здесь совсем другие темы и другие герои. Не о Монтескье здесь спорят, но о Мюллере ван ден Бруке, не о республике, но о Третьем Рейхе.

Прекрасно понимаю, какую непростую работу предлагаю читателю, приглашая его на самый сложный фланг психологической войны. Но это необходимо. Если мы согласны, что судьбу пост-ельцинской России решит не столько успех ее перехода к рыночной экономике, сколько исход полыхающей в ней сегодня борьбы идей, нужно не только основательно в них вникнуть, но и познакомиться с характерами их творцов.

А засим разрешите представить.

Персональная война профессора Шафаревича

Я видел Игоря Ростиславовича Шафаревича только по телевизору. Он не захотел встретиться со мной — поговорить о будущем России. Проханов согласился. И Кургинян тоже. Даже Сергей Бабурин не уклонился от встречи. Даже Зюганов. Даже Жириновский. Только Шафаревич отказался.

Я не знаю, почему. Может быть, я воплощаю для него все, что ненавидит он в этом мире: нонконформизм, евреев, Америку, Запад. В конце концов это тот самый Шафаревич, который, как помнит читатель, объявил Америку «цивилизацией, стремящейся превратить весь мир — и материальный и духовный — в пустыню»¹. И все-таки я думаю, что отказался он встретиться со мною совсем по другой причине. Он просто-напросто испугался. Наша беседа должна была записываться на пленку, и было заранее ясно, что это будет не интервью, а диалог. Интеллектуальный турнир, если угодно, который можно и проиграть. Отступить перед аргументами и логикой оппонента. Вот почему мне кажется, что Шафаревич струсил.

Рыцарь со страхом

Московские либералы, наверное, не согласятся со мной. Им представляется он человеком, полным ненависти, жестким, несентиментальным, аскетическим, претендующим на роль пророка. Набор качеств не располагающий, но создающий впечатление большой внутренней силы. А

сила, как привычно нам думать, не вяжется с трусостью.

Что ж, оставим пока вопрос открытым.

Начнем, как положено, с портрета. Насколько я могу судить, прочтя не только всего Шафаревича, но и, кажется, все о Шафаревиче, самое точное описание принадлежит перу Григория Бакланова: «Важно было не столько то, что он говорил, сколько, как он это говорил — его лицо в этот момент. Это было лицо человека, больного ненавистью; она сжигала его; она излучалась с экрана. Бледный, иска-

женный, пиджак перекошен, сполз с одного плеча; ненависть была такова, что даже взгляд его временами казался безумен»².

Этот зрительный образ точно соответствует сути характера. Шафаревич действительно ненавидит демократию и евреев или евреев и демократию — не знаю даже, в каком порядке. И это вовсе не та рассудочная, скорее даже умозрительная эмоция, которая обычно окрашивает отношение политика к своим противникам. Нет, это истинная, глубинная и личная страсть. Поэтому я и называю главное дело его нынешней жизни персональной войной. Впрочем, ненавистью сейчас никого в России не удивишь. Все уличные демагоги только ею и живы.

Однако в наброске Бакланова представлена лишь одна грань этого сложного и противоречивого характера.

Человек, сказавший однажды, что не мог бы спокойно умереть, не произнеся «боязливо умалчиваемые слова» о роли евреев в России, едва ли руководствовался одной только ненавистью. Он, очевидно, видел себя бесстрашным рыцарем, пробуждающим в минуту опасности своих не ко времени задремавших братьев. То есть вся история могла бы пойти по другой колее, если бы не этот рыцарь! Такое повышенное внимание к себе, такая преувеличенная самооценка говорят об огромном, болезненном честолюбии.

Теперь о некоторых его поступках, способных любого поставить в тупик.

В брежневские годы Шафаревич был диссидентом. Стало быть, состоял в конфронтации с КГБ. Но в то же самое время он писал свою «Русофобию» и в этом страстном политическом памфлете клеймил сам феномен диссидентства, назвал всех инакомыслящих «антинародом», а их взгляды, — «нигилистической идеологией»³. Вот так: участвовал в сопротивлении старому режиму и одновременно вел себя, как его верный слуга. Бросал вызов КГБ, при том что обосновывал и оправдывал его работу, да так талантливо, так ярко — куда с ним было тягаться косноязычным полицейским идеологам! Кому еще из диссидентов такой компетентный свидетель, как генерал Стерлигов, мог бы сказать то, что с уничтожающей откровенностью написал в открытом письме Шафаревичу: «Я никогда не слышал, чтобы вы представляли какой-либо специфический интерес для КГБ»⁴?

Эпизод второй. Широко было известно, что Шафаревич с гордостью носит звание почетного члена Американской академии наук и никогда не забывает подписываться ни одним из иностранных титулов. И вдруг в феврале 1993 г. он раздражается вызывающей речью об изначальной греховности американской цивилизации.

Для неосведомленных это была неразрешимая загадка. Но никаких сверхсложных явлений, типа раздвоения личности, за нею не стояло. Просто за полгода до этого 450 американских математиков, включая четырнадцать его коллег по национальной академии наук США, открыто высказали ему резкое осуждение: «Написанное вами может быть использовано для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, приведшей в прошлом и способной привести в будущем к массовым убийствам»⁵.

Совершенно не понимая, к сожалению, того, что на самом деле в России происходит и что собою представляет Шафаревич, но меряя его по себе, эти благородные, но очень наивные люди призывали его «пересмотреть свои взгляды и публично отречься от своей антисемитской позиции, которая способна только повредить улучшившимся в последнее время связям Востока и Запада»⁶. Нашли, чем пугать! «Да для него улучшившиеся связи Востока и Запада — нож острый, как это не понять? — иронизировал Бакланов. — Россия под колпаком, санитарным кордоном отделенная от мира — вот его идеал»⁷.

И все-таки он помалкивал, держал свои взгляды при себе, пока его престиж на Западе был высок. И только поняв, что репутация подорвана и терять ему в Америке больше нечего, этот рыцарь поднял, наконец, забрало.

Эти штрихи, как и все его поведение с той поры, как он занялся политикой, приоткрывают главную психологическую пружину его характера. Так же, как ненавистный ему марксизм, она триедина, и образует ее: честолюбие, ненависть и трусость.

Однако, ярче всего характер Шафаревича проявляется даже не в поступках, а в его письме, и тут действительно уходит на второй план, **что** он хочет сказать. **Как** он это говорит — вот что дает ключ к пониманию.

«Малый народ»

Поставьте себя, читатель, на минуту на место Шафаревича. Вы крупный, уважаемый ученый — и в то же время яростный антисемит. При этом вы дьявольски честолюбивы. Вас так и подмывает вознестись над всеми, и лучшее, что есть для этого в запасе — это антисемитизм. Стать первым в Москве, кто объявит борьбу с евреями «основной задачей русской мысли»⁸, сорвет все и всяческие маски, возглавит, поведет за собой — на меньшее вы не согласны. Но вы же еще и ученый и значит — интеллигент высочайшей пробы, а потому никак не можете нарушить стародавнее табу вашего сословия, для которого быть антисемитом — величайший позор. К тому же вы знаете, что и мир вас за это не похвалит. Как вышли бы вы из этого сложного положения?

Скорее всего, я думаю, — нашли бы тот же выход, что и профессор Шафаревич.

Прежде всего, вы постарались бы принять такой вид, будто ваши личные чувства и амбиции решительно не при чем, а вас, наоборот, занимают самые высокие и вполне абстрактные проблемы мироздания. Вы холодны, трезвы и исключительно беспристрастны. И с этой позиции самыми широкими мазками стали бы набрасывать экспозицию так, чтобы интересующий вас предмет совершенно в ней затерялся. То есть вступление в тему наверняка оказалось бы у вас таким же академически фундаментальным и отстраненным, как у Шафаревича в его «Русофобии». Есть в каждой стране БОЛЬШОЙ народ, и есть внутри каждого из них подрывной элемент, «определенная груп-

па или слой, имеющий тенденцию к духовной самоизоляции и противопоставлению себя БОЛЬШОМУ народу»⁹. И только легким штрихом расставьте акценты, намекнете, на чьей стороне должен почувствовать себя читатель.

Очень хорошо, если вам удастся подобрать для этого опасного феномена какой-нибудь оскорбительный термин, вроде «малого народа», придуманного Шафаревичем.

После такого начала можно смело приступать к главному. Вы сказать наконец-то свою ненависть к этому носителю «нигилистической идеологии», который стремится к «ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАЗРУШЕНИЮ РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ»¹⁰ (выписывая всю эту брань заглавными буквами, вы сможете как бы озвучить письменную речь, окрасить ее патетическими интонациями).

Но следить за собой вам все равно, конечно, придется. Вводить в этот ученый контекст евреев вы будете очень осторожно, обвиняком и с оговорками, всячески показывая, что они для вас — не более чем частный случай: «Это может быть религиозная группа (в Англии — пуритане), социальная (во Франции — третье сословие), национальная (определенное течение еврейского национализма — у нас)»¹¹. И уж тем более не позволите себе завопить, подобно уличным антисемитам, что «евреи захватили руководящие структуры после 1917 года и устроили тотальный расовый геноцид русскому народу»¹². Или уподобиться черносотенному поэту Виктору Сорокину, писавшему накануне путча в августовском номере «Молодой гвардии»: «Иудино ползучее уродство, я ненавижу вас как смерть свою»¹³. Или Александру Баркашову с его хорошим отношением к Адольфу Алоизовичу Гитлеру¹⁴. Им это можно, им терять нечего. А вам нельзя.

В отличие от этого настоящего «коричневого» рыцарства, вы, как и Шафаревич, будете избегать обобщений и всячески подчеркивать, что говорите лишь об «определенном течении еврейского национализма». Будете утверждать и тут же забирать назад это утверждение: «Хотя именно из националистически настроенных евреев состоит то центральное ядро, вокруг которого кристаллизуется этот слой» и «хотя их роль можно сравнить с ролью фермента, ускоряющего и направляющего процесс формирования “малого народа”... сама категория “малого народа” шире: он существовал бы и без этого влияния»¹⁵. Будете стараться говорить как можно более невнятно, чтобы ваши намеки не так бросались в глаза. Понятно ведь, что «националистически настроенные евреи» меньше всего были причастны к судьбам России. Единственное, чего они добивались — возможности уехать. И уехали, едва приоткрылась перед ними дверь. Как же мог вокруг них кристаллизироваться «малый народ»? Какие основы российской жизни могли они разрушить и, главное, как?

Думаю, что проделав всю эту мыслительную операцию, вы бы без труда поняли, почему «Русофобия» написана так, как она написана. Рыцарство рыцарством, но и себе Шафаревич тоже не враг.

Но одновременно вы убедились бы и в том, что гарантий этот метод никаких не дает. Шафаревичу, по крайней мере, не удалось явить себя Георгием Победоносцем, поражающим Змия, и сохранить при этом престиж вкупе с репутацией. Ни изобретательность, ни аккуратность ему не помогли. Да и как было не разобраться, что по смыслу сказанного он полностью совпадает с уличными демагогами и поэтом Сорокиным?

Так, может, лучше было бы ему не городить огород, а высказаться в открытую? Хуже для репутации все равно бы не было. Но зато явных, очень огорчительных для человека с математическим мышлением конфузов удалось бы избежать.

Начал за упокой, а вышло — во здравие

Чтобы спрятать уши в широком историческом контексте, Шафаревич постарался, как мы уже видели, создать для ненавистных евреев компанию. В нее он включил и литературных вождей французского «малого народа», просветителей XVIII века. Их роль как «агентов разрушения», подобных евреям в современной России, заключалась, по Шафаревичу, в том, что именно из их среды вышел «необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации, ее духовный костяк: католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей историей, привязанность к особенностям и привилегиям родной провинции, своего сословия или гильдии»¹⁶.

Вывод может быть только один: ужасно, что эти нечестивцы подорвали духовную основу средневековых ценностей, на которых держался старый режим, и в результате помогли революции с ним покончить.

Интересно бы спросить современных французов: согласны ли они, что 200 лет назад были разрушены основы жизни Франции, притом, окончательно? Клянут ли они Вольтера и Дидро, как Шафаревич клянет евреев? И желает ли кто-нибудь из них, кроме разве что «новых правых», вернуться к утраченным ценностям средневековья?

Но еще интереснее то, что получается в итоге. Если принять все предпосылки Шафаревича и согласиться, что евреи, подобно пуританам и просветителям, являются в России центральным ядром «малого народа», то стоит ли так переживать? Наоборот, радоваться нужно, что и в России есть слой, подобный пуританам в Англии и Америке и просветителям во Франции. Глядишь — и поможет это ей обрести такое же великое будущее.

Вот почему и говорю я, что дурную службу сослужил Шафаревичу исторический контекст. Он хотел спеть российским евреям за упокой, а вышло, что спел во здравие.

Уж не из-за этих ли своих промашек отказался встречаться со мною Игорь Ростиславович? Сам он их увидел или ему на них указали, я не знаю. Но во втором своем, не менее знаменитом трактате постарался их убрать.

«Малый народ» на мировой арене

«Два пути к одному обрыву» — это о роковой роли, которую сыграли бесчинства «малого народа» в мировой истории. Да, оказывается, этот «нигилистический слой» вовсе не ограничился окончательным разрушением основ жизни Англии и Франции и вообще средневековой («космоцентрической», по Шафаревичу) цивилизации. Он еще создал вдобавок «технологическо-нигилистическую утопию»¹⁷, заведшую в ловушку весь мир. И Россию, конечно, тоже.

В самом деле, — спрашивает Шафаревич, — что такое сталинизм («командная система»), как не обратная сторона, не инобытие либеральной демократии? И разве они не «два варианта, два пути реализации одной сциентистски-техницистской утопии»?¹⁸ Разве не ведут они, несмотря на «различие в методах» к «одной социально-экологической катастрофе и даже помогают в этом друг другу»?¹⁹

Вот как выглядит реализация этой жуткой утопии на практике. «Труд все более удаляется от своей цели, то есть смысла... Человек зависит не от себя, а от какой-то внешней силы. Воду он приносит не из колодца... Он согревается, не топя печку... Он рождается не дома, а в больнице и умирает в больнице, где его не провожают священник и близкие. Личные отношения учитель — ученик или врач — пациент растворяются в многолюдных школах и громадных больницах. Даже пространство исчезает из жизни: чтобы добраться из Москвы в Ленинград или в Нью-Йорк, нужно затратить примерно одинаковое время»²⁰.

Оригинальный ход — приписать козням «малого народа» (в его пуританской ипостаси) все, что произошло в мире со времени его возникновения, включая развитие науки, отчуждение труда и даже каландрацию.

Всякому видно, что такое общество, в отличие от родимого «космоцентрического», ненормально, носит «болезненный характер»²¹. И дело тут не только в том, что «этот вариант в целом утопичен». В истории вообще «бывают линии развития, кончающиеся неудачей»²². Тупики. Вот куда в конечном счете завел человечество «малый народ», бессмысленно разрушив светлый «космоцентрический» мир средневековья.

Но как раз тут включается третья составляющая профессорского характера. Игорь Ростиславович дает обратный ход. Он снова оговаривается. Нет, он вовсе не хотел сказать, что «космоцентрическая» цивилизация была идеальна. У нее тоже были свои недостатки: «На другой чаше весов лежали тяжелая, изнуряющая физическая работа, неуверенность в завтрашнем дне, частый голод, громадная смертность — особенно детская. Почти каждому взрослому приходилось пережить смерть своего ребенка»²³. Признает Шафаревич и то, что «рост человечества с нескольких миллионов до пяти миллиардов — это объективный факт. Ни охотничья, ни земледельческая цивилизация не смогли бы прокормить такое население».

ние, потребовались бы какие-то драконовские меры, вроде массового убийства детей»²⁴.

Самое бы время включить в этот перечень, что любезная сердцу профессора «космоцентрическая» цивилизация была еще и мощной опорой тирании и, стало быть, кладбищем человеческой свободы. Но наш герой не станет обращать внимание на такие пустяки. Как и для Проханова или Жириновского, проблемы свободы — центральной в истории европейской мысли — для него просто не существует. Да и не в его интересах долго задерживаться на несовершенствах светлого идеала.

Но, строго говоря, нет и особой нужды в добавлениях. Даже от тех особенностей «космоцентрической» цивилизации, которые он за ней признает, леденеет сердце.

Да если собрать воедино все изъязны и грехи Нового времени, неужели их не перевесит хотя бы одно единственное его завоевание — рост продолжительности жизни? И если вправду считать, что человечество получило это величайшее из благ благодаря «малому народу», то какого же помятника он заслуживает?

Нет, положительно не везет Шафаревичу с историей. Пытаясь устранить противоречия, он увязает в них еще глубже.

Гипноз, гипноз...

Чем подробнее знакомство с концепцией Шафаревича, тем кажется непостижимей: как все-таки «малому народу» удастся одолеть Большой? Мало того, что он, Большой, по определению многочисленнее, он и по составу должен быть не в пример сильнее, ведь то, что принято называть цветом нации, сосредоточено именно в его рядах, и защищает он не какой-нибудь пустяк, а сами основы своей жизни. Шафаревич и сам начинает с подобной посылки: «Казалось бы, с мыслями можно бороться мыслями же, слову противопоставить слово. Однако дело обстоит не так просто». А как? Оказывается, влияние «малого народа» зависит от «фабрикации авторитетов, основывающихся исключительно на силе гипноза»²⁵. Так и написано: г-и-п-н-о-з-а, и даже дополнено, чтобы никто не подумал, будто это просто опечатка: «Логика, факты, мысли в такой ситуации бесильны»²⁶.

В России ясно, что это за авторитеты, достаточно фамилии назвать: «Пониманию наших потомков будет недоступно влияние Фрейда как ученого, слава композитора Шенберга, художника Пикассо, писателя Кафки или поэта Бродского»²⁷. И точно так же триста лет назад пуритане загипнотизировали англичан и американцев, а чуть позднее Вольтер с компанией загипнотизировали французов. Так и длится этот кошмарный сон наяву из поколения в поколение, пуританским проповедям наследуют доктрины Просвещения, им, в свою очередь — еврейская «технологически-нигилистическая утопия» и фальшивые авторитеты всяких там Фрейдов и Бродских. А все потому, что некому до сих пор было СКАЗАТЬ ПРАВДУ и произнести боязливо умалчиваемые слова.

Последние дни демократии

Бороться с гипнозом трудно не только потому, что «логика, факты, мысли» против него бессильны.

Появившись в XVII столетии, «малый народ» — диссиденты, нонконформисты, инакомыслящие — естественно, захотел закрепиться в истории. Превратился из еретической подпольной секты в легитимное политическое движение, продлив себя таким образом в вечность. И он нашел для этого единственно возможный механизм, автоматически легализующий любое инакомыслие, усматривающий в диссидентстве норму, а не ересь.

Так и появилась либеральная многопартийная демократия.

Мы уже читали, какие неисчислимы беды принесла она человечеству. Но теперь этой веревочке недолго осталось виться. Демократия обречена.

Хотите знать, почему?

«Давно прошло время, когда западные демократии были динамичной силой, когда число стран, следовавших по этому пути, росло, да и другим они навязывали свои принципы. Теперь все наоборот... Сторонники ее обычно прибегают к аргументу, что как она ни плоха, остальные [политические системы] еще хуже. Такой аргумент вряд ли сможет вдохновить кого-либо на защиту этого строя. 200 лет назад так не говорили. Если же привлечь к сравнению античную демократию, то мы увидим, что она — недолговечная форма. 200 лет — это предельный срок ее жизни. Но как раз столько и существует многопартийная демократия в Западной Европе и в США. По всем признакам многопартийная западная система — уходящий общественный строй... предпринятая 200 лет назад попытка построить свободное общество на принципах народовластия [оказалась] неудачей»²⁸.

Поскольку Шафаревич обращается к неискушенному российскому читателю, в первую очередь к молодежи, которая делает лишь начальные робкие шаги на поприще этого «уходящего строя» и которую так еще легко запутать и запугать, придется нам сейчас, пусть вкратце, сопоставить сказанное с реальными фактами. Никто не может знать будущего, но настоящее все-таки знать необходимо.

Тезис первый: число демократических стран больше не растет.

Но если в 1790 г. в мире было три либерально-демократических государства, а в 1900-м — тринадцать, то в 1990-м их было шестьдесят одно, не считая России и Украины. Только между 1975 и 1991 гг., т.е. за время, отделяющее первую редакцию «Русофобии» от второй, число демократических государств в мире удвоилось.

Тезис второй: демократия — уходящий общественный строй. Но если в конце XVIII века демократия была феноменом маргинальным, а в конце XIX — европейским, то в конце XX стала всемирным. Она представлена на всех континентах, включая Африку, не говоря уже об Азии. Если так выглядит уходящий общественный строй, то как должен выглядеть строй наступающий?

Тезис третий: со времен античности известно, что предельный срок жизни демократии — 200 лет.

Корректно ли, однако, «привлекать к сравнению» античную демократию? В основе современной демократии, в отличие от античной, лежит принцип либерализма, т.е. фундаментальных прав человека, естественных и не отчуждаемых — ни указами правительства, ни голосованием большинства. В древних Афинах можно было приговорить к смерти Сократа, из них можно было изгнать Аристида — за то, что эти люди воспользовались своим правом свободы слова. В современном обществе это невозможно. В античном мире не существовало национального демократического государства, только города-государства, и ему, следовательно, неизвестен был принцип представительного правления, на котором основана современная демократия.

Можно ли сравнить, скажем, индейскую пирогу с современной субмариной? Можно, наверное: обе — средства передвижения в водной стихии. Но правомерно ли будет заключение, что принципы их устройства и тем более продолжительность их жизни одинаковы?

Читатель, разумеется, уже давно понял, как может подвести профессора формула его характера: ненависть, умноженная на честолюбие и деленная на трусость. Но так подставиться...

Урок новейшей истории

Почему, интересно, когда дело доходит до демократии, Игорь Ростиславович изменяет своей привычной манере? Мы же помним, как, рассуждая о евреях или о «нигилистической» цивилизации, он бросал вызов и тотчас бил отбой, наступал и отступал, говорил и недоговаривал, бормотал что-то невнятное, темнил. Но тут он тверд, как скала. Не отступает, не подстилает соломку — что он, мол, не против демократии вообще, но отвергает лишь отдельные ее разновидности. Как в первой, так и во второй редакции «Русофобии» его умозаключения звучат смертным приговором, не подлежащим ни обжалованию, ни смягчению.

Я не знаю, почему это происходит. Может быть, ненависть его к демократии так велика, что подавляет даже третью составляющую его характера. Или он делает особую ставку на этот тезис, думая, что так поднимет свой вес среди других разработчиков той объединительной идеологии, которой пытаются они «загипнотизировать» рвущихся к власти реваншистов, и свою ценность в глазах политических праكتиков оппозиции?

Но какими бы ни были мотивы, в этом месте его трактата я всегда мучительно недоумеваю: почему Шафаревич, при его-то любви к историческим параллелям, не думает о том, что он не первый? Ведь все уже было. Нацистские профессора в веймарской Германии, формировавшие реваншистскую идеологию для своих Стерлиговых и Баркашовых, так же утверждали, что западная демократия отжила свой век. И так же третировали ее как «духовную оккупацию» Запада, попирающую все то, что «органически выросло в течение

веков, все корни духовной жизни нации, ее религию, традиционное государственное устройство, нравственные принципы и уклад жизни»²⁹. И борьбу с евреями так же объявляли основной задачей германской национальной мысли.

И они преуспели. Они сумели убедить свой народ в правоте «германской идеи». И к чему привела их победа?

Встала новая «национальная» власть на защиту «корней духовной жизни нации» и ее «нравственных принципов»? Возблагодарил их Большой народ за очищение его земли от зловредного «малого народа»? Или с ужасом и отвращением вспоминает он этих провозвестников «национальной идеи», принесших ему трагедию террора и войны, а затем и позорную капитуляцию и настоящую, а не мифическую «духовную», оккупацию?

А в итоге, претерпев все страшные бедствия, которые навлекли на нее эти профессора, Германия все-таки приняла ту самую западную демократию, которую они, подобно Шафаревичу, проклинали и объявляли уходящим общественным строем.

Так стоит ли игра свеч?

Глава девятая

«Этногенез» д-ра Гумилева

Лев Николаевич Гумилев — уважаемое в России имя. Уважают его и «западники», которых он, скажем мягко, недолюбливал, и «патриоты», хотя многие из них и относились к нему с опаской.

В западнической «Литературной газете» им восхищается петербургский писатель Гелий Прохоров: «Бог дал ему возможность самому изложить свою теорию... И она стала теперь общим достоянием и пьянит, побуждая думать теперь уже всю страну»¹.

И в «патриотическом» «Нашем современнике» Андрей Писарев в беседе с мэтром был не менее почитителен: «Сегодня вы представляете единственную серьезную историческую школу в России»².

И все-таки, мне кажется, роль, которую предстоит сыграть Гумилеву в общественном сознании России после смерти, неизмеримо более значительна, нежели та, которую играл он при жизни.

Сын знаменитого поэта «Серебряного века» Николая Гумилева, расстрелянного большевиками во время гражданской войны, и великой Анны Ахматовой, человек, проведший долгие годы в сталинских лагерях и сумевший после освобождения защитить две докторских диссертации, по истории и по географии, автор десяти книг, где он бросил вызов мировой науке, оспорил Арнольда Тойнби и Макса Вебера и предложил собственное объяснение загадок всемирной истории³, Лев Гумилев был одним из самых талантливых и, без сомнения, самым эрудированным представителем молчаливого большинства советской интеллигенции.

Как в двух словах описать этот слой, к которому принадлежал Гумилев? Эти люди с советским режимом не воевали. Но и лояльны были только внешне. «Ни мира, ни войны!» — этот девиз Троцкого времен Брестских переговоров 1918 г. стал для них принципиальной жизненной позицией. Вполне достойной позицией, позволявшей сохранить человеческое самоуважение в нечеловеческих условиях. По крайней мере, так им казалось.

Заплатить за нее, однако, пришлось им очень дорого. Погребенные под глыбами вездесущей цензуры, они оказались отрезанными

от мировой культуры и вынуждены были создать свой собственный маленький замкнутый «мир», где идеи рождались, старились и умирали, так и не успев реализоваться, а гипотезы навсегда оставались непроверенными. Всю жизнь оберегали они в себе колеблющийся огонек «тайной внутренней свободы», но до такой степени привыкли к эзопову языку, что он постепенно стал для них родным и единственным. И на свет постсоветского общества они вышли со страшными, незаживающими шрамами.

Лев Гумилев, хоть и был одним из сильнейших, разделил с ними все тяготы этого «катакомбного» существования — а заодно и все парадоксы их мышления.

Патриотическая наука

Всю жизнь старался он держаться так далеко от политики, как мог. Он никогда не искал ссор с цензурой и при всяком удобном случае присягал «диалектическому материализму». Более того, у нас нет ни малейших оснований сомневаться, что свою грандиозную гипотезу, претендующую на окончательное объяснение истории человечества, он искренне полагал марксистской. Ему случалось даже упрекать оппонентов в отступлениях от «исторического материализма»⁴. Маркс, говорил он, предвидел в своих ранних работах возникновение принципиально новой науки о мире, синтезирующей все старые учения о природе и человеке. В 1980-е Гумилев был уверен, что человечество — в его лице — «на пороге создания этой новой марксистской науки»⁵. В 1992 г. он умер в убеждении, что создал такую науку.

Но это ничуть не мешало ему подчеркивать свою близость с самыми яростными противниками марксизма в русской политической мысли XX века — евразийцами⁶. «Меня называют евразийцем, и я от этого не отказываюсь... С основными историко-методологическими выводами евразийцев я согласен»⁷. Не смущала его и безусловная антизападная ориентация евразийцев, которая — после сильного, блестящего и вполне либерального начала в 1920-е годы — привела их в лагерь экстремистского национализма, а затем к вырождению в реакционную эмигрантскую секту.

Эта эволюция евразийства вовсе не была чем-то исключительным. Все русские антизападные движения, как бы либерально они ни начинали, проходили аналогичный путь вырождения. Я сам описал в «Русской идее» трагическую судьбу славянофилов⁸. Разница лишь в том, что «Русской идее», чтобы из либерально-националистической теории трансформироваться в фашизм, понадобились три поколения, а евразийцы управились на протяжении двух десятилетий. Нам остается сейчас только гадать, как воспринимал это Гумилев. Но он и вообще умел без лицемерия и внутреннего раздвоения служить (а Лев Николаевич рассматривал свою работу как общественное служение) двум богам.

Гумилев настаивал на строгой научности своей теории и пытался обосновать ее со всей доступной ему скрупулезностью. Я ученый, как бы говорит каждая страница его книг, и к политике — офи-

циальной или оппозиционной, западнической или «патриотической» — дух и смысл моего труда никакого отношения не имеют. И в то же время, ему не раз случалось, отражая атаки справа, доказывать безукоризненную патриотичность своей науки, значительно превосходящую «патриотичность» его национал-большевистских критиков.

Идет, например, речь об общепринятой в российской историографии концепции татаро-монгольского ига в России. Гумилев был ее яростным противником, события XIII-XV веков виделись ему в совершенно ином свете. Но от своих оппонентов-«западников» он просто пренебрежительно отмахивался: «мне не хочется спорить с невежественными интеллигентами, не выучившими ни истории, ни географии»⁹, хотя в их число входили практически все ведущие русские историки. Но вот «признание этой концепции историками национального направления» его возмущает. Это он находит «поистине странным». Но что же именно так его удивляет? «Никак не пойму, почему люди патриотично настроенные обожают миф об “иге”, выдуманный... немцами и французами... Даже непонятно, как историки смеют утверждать, что их трактовка в данном случае патриотична?»¹⁰

И не резало ему, видно, ухо это словосочетание — «патриотическая трактовка». Хотя если это научный подход, что же тогда назвать политическим?

Храм

Новое поколение, вступившее в журнальные баталии при свете гласности, начало с того, что бесцеремонно вызвало к барьеру бывшее молчаливое большинство советской интеллигенции. «Нынешнее время

требует от них эту взлелеянную во тьме реакции свободу духа — предъявить. И мы утыкаемся в роковой вопрос: была ли “тайная свобода”, есть ли что предъявлять, не превратятся ли эти золотые россыпи при свете дня в прах и золу?»¹¹

Не знаю, как другие, но Лев Гумилев эту перчатку, брошенную Николаем Климонтовичем, поднял бы несомненно. Ему есть что «предъявить». Его десять книг, его отважный штурм загадок мировой истории — это, если угодно, его храм, возведенный во тьме реакции и продолжающий привлекать верующих при свете дня.

Загадки, которые он пытался разгадать, поистине грандиозны.

В самом деле, кто и когда объяснил, почему, скажем, дикие и малочисленные кочевники-монголы вдруг ворвались на историческую сцену в XIII веке и ринулись покорять мир, громя по пути богатейшие и культурные цивилизации Китая, Средней Азии, Ближнего Востока и Киевской Руси? И только затем, чтобы несколько столетий спустя тихо сойти с этой сцены, словно их никогда там и не было. А другие кочевники — столь же внезапно возникшие из Аравийской пустыни и на протяжении столетия ставшие владыками полумира, вершителями судеб одной из самых процветающих цивилизаций в истории? Но и их фантастическое возвышение кончилось тем же. Как и монголы, они превратились в статистов этой истории. А гунны, появившиеся ниот-

куда и рассеявшиеся в никуда? А вечная загадка величия и падения Древнего Рима?

Откуда взлетели и куда закатились все эти исторические метеоры? И почему?

Не перечить философам и историкам, пытавшимся на протяжении столетий раскрыть эту тайну. Но и по сию пору нельзя сказать, что человечество эти загадки своего прошлого разгадало.

Гумилев, опираясь на свою устрашающую эрудицию, создал совершенно оригинальную теорию. Сама уже дерзость, сама грандиозность этого путешествия во времени, обнимающего 22 столетия (от VIII века до нашей эры), заслуживают высочайшего уважения.

Но для научного предприятия таких масштабов дерзости и оригинальности, увы, недостаточно.

Как хорошо знают все, причастные к науке, для того, чтобы открытие стало фактом, должен существовать способ его проверить. Оно должно быть логически непротиворечиво и универсально, т.е. способно объяснить все факты в области, которую оно затрагивает, а не только те, которым отдает предпочтение автор. Оно должно действовать всегда, а не только тогда, когда автор считает нужным. И так далее.

Будем иметь это в виду, знакомясь с гипотезой Гумилева.

Гипотеза

Гумилев начинает с терминов и самых общих соображений о «географической оболочке земли, в состав которой, наряду с литосферой, гидросферой, атмосферой, входит биосфера, частью которой является антропосфера, состоящая из этносов, возникающих и исчезающих в историческом времени»¹².

Пока что ничего особенного тут нет.

Термин «биосфера» — совокупность деятельности живых организмов — был введен в оборот еще в прошлом веке австрийским геологом Эдуардом Зюссом. Биосфера может воздействовать на жизненные процессы как геохимический фактор планетарного масштаба — эту гипотезу выдвинул в 1926 г. академик Владимир Вернадский. О причинах же исчезновения древних цивилизаций философы спорят еще со времен блаженного Августина.

Оригинальность гипотезы Гумилева — в том, что она связала эти два ряда явлений, никак, казалось бы, не связанных — геохимический с цивилизационным, природный с историческим. Это, собственно, и имел он в виду под созданной им универсальной марксистской наукой.

Для этого, правда, понадобилось ему одно небольшое, скажем так, допущение (недоброжелательный критик назвал бы его передергиванием). Под пером Гумилева геохимический фактор Вернадского как-то сам собою превращается в биохимическую энергию. С введением этого нового фактора невинная биосфера Зюсса вдруг трансформируется в гигантский генератор «избыточной биохимической энергии»¹³, в некое подобие небесного вулкана, время от времени

извергающего на землю потоки неведомой и невидимой энергетической лавы. Гумилев называет ее «пассионарностью».

Извержения пассионарности произвольны. Они не подлежат никакой периодизации.

Новые нации (этноты) и цивилизации (суперэтноты) рождаются в момент извержения. А когда пассионарность постепенно их покидает («процесс энтропии»¹⁴), они умирают.

А между рождением и смертью с этносами происходит примерно то же, что и с людьми. Они становятся на ноги («консолидация системы»), впадают в подростковое буйство («фаза энергетического перегрева»), взрослеют и созревают. Ну, а затем, естественно, стареют («фаза надлома»), уходят как бы на пенсию («инерционная фаза») и, наконец, выпускают дух («фаза обскурации»).

Так выглядит открытый Гумилевым этногенез.

То есть живет себе народ тихо и мирно в состоянии «гомеостаза», а потом вдруг обрушивается на него «пассионарный толчок», или «взрыв этногенеза»¹⁵, и он преобразуется в этнос. А это уже явление природы, а не просто социальный коллектив. И «моральные оценки так же к нему неприменимы, как ко всем явлениям природы»¹⁶. Он собою не распоряжается. На ближайшие 1200-1500 лет (столько продолжается этногенез, по 300 лет на каждую фазу) он сдан в плен собственной пассионарности. Все, что с ним отныне случается — это исключительно возрастные изменения. И вся его история расписана наперед, детерминирована с жесткостью, соперничающей с фаталистическими конструкциями Шпенглера.

Приложим эту схему — ну, скажем, к Западной Европе. XVI век, Реформация, рождается протестантизм, появляется буржуазия, начинается так называемое Новое время. Почему? Многие ученые пытались объяснить этот феномен земными и историческими причинами. Возобладала точка зрения Макса Вебера, связавшая происхождение буржуазии с протестантизмом.

Ничего подобного, говорит Гумилев: «Реформация была не бунтом идеи, а фазой этногенеза, переломом [характерным] для перехода от фазы надлома к инерционной»¹⁷.

Инерционная фаза — это упадок, потеря жизненных сил, постепенное умирание. Описание этого неотвратимого конца я уже представил читателю в виде визитной карточки Льва Николаевича. Благосостояние и процветание могут сопутствовать периоду одряхления, но это не более чем утешительный самообман. «Последняя фаза этногенеза деструктивна. Члены этноса... предаются грабегам и алчности»¹⁸.

Это, как понимает читатель, относится к западноевропейскому суперэтноту. 300 лет после вступления в «инерционную фазу» миновали, и вот он агонизирует на наших глазах, он — живой мертвец. И если мы еще этого не видим, то лишь по причине «утешительного самообмана».

Совсем другое дело — Россия. Она намного (на пять столетий, по подсчетам Гумилева) моложе Запада. Ей, в отличие от него, предстоит еще долгая жизнь. Но и с ней, конечно, происходит только то, что

положено по возрасту. Люди ломают себе голову: с чего это вдруг грянула перестройка? А на самом деле ровно ничего загадочного в ней нет: «Мы находимся в конце фазы надлома (если хотите — в климаксе), а это возрастная болезнь»¹⁹.

Такими же несерьезными кажутся Гумилеву и попытки Арнольда Тойнби сформулировать некие общеисторические причины исчезновения древних цивилизаций. В своей двенадцатитомной «Науке истории» Тойнби лишь «компрометирует плодотворный научный замысел слабой аргументацией и неудачным его применением»²⁰.

Сам же Гумилев, вместо всех этих безнадежно любительских попыток, предлагает Науку, позволяющую не только объяснить прошлое, но и предсказывать будущее: «Феномен, который я открыл и описал, может решить проблемы этногенеза и этнической истории»²¹.

Пора, однако, переходить к доказательствам.

«Контроверза»

Логика гипотезы нам уже ясна: исторические явления (рождение новых этносов) объясняются природными (извержениями биосферы). Но чем подтверждается само существование этих природных возмущений? Оказывается, той же историей: «Этногенезы на всех фазах — удел естествознания, но изучение их возможно только путем познания истории»²².

Другими словами, мы ровно ничего о работе биосферы по производству этносов не знаем, кроме того, что она их производит. Появился где-нибудь на земле новый этнос — значит, произошло извержение биосферы. А появление нового этноса, как оно дает о себе знать? Да все так же: произошел «пассионарный взрыв», извержение биосферы, — значит, ищите на земле новый этнос.

Объясняя природные явления историческими, мы в то же время объясняем исторические явления природными. Это экзотическое круговое объяснение, смешивающее предмет естественных наук с предметом наук гуманитарных, требует, разумеется, от автора удвоенной скрупулезности. По меньшей мере, он должен совершенно недвусмысленно объяснить читателю, что такое новый этнос, что именно делает его новым и на основании какого объективного критерия можем мы определить его принципиальную новизну.

Но никакого такого объективного критерия в гипотезе Гумилева просто нет. Чтоб не показаться голословным, я попытаюсь сейчас показать это на примере «великорусского этноса».

Его рождение Гумилев описывает в контексте своей яростной полемике с концепцией татаро-монгольского ига.

«В XI веке европейское рыцарство и буржуазия под знаменем римской церкви начали первую колониальную экспансию — крестовые походы»²³. Рыцари завоевали на время Иерусалим и Константинополь. И все же — это было не главное направление «колониальной экспансии». Главным была Русь.

Наступление шло из Прибалтики, «она являлась плацдармом для

всего европейского рыцарства и богатого Ганзейского союза немецких городов. Силы агрессоров были неисчерпаемы»²⁴.

«Защита самостоятельности государственной, идеологической, бытовой и даже творческой означала войну с агрессией Запада»²⁵.

«Русь совершенно реально могла превратиться в колонию, зависимую территорию Западной Европы... наши предки могли оказаться в положении угнетенной этнической массы без духовных вождей, подобно украинцам и белорусам в Польше. Вполне могли. Один шаг оставался»²⁶.

Но «тут, в положении, казавшемся безнадежным, проявился страстный до жертвенности гений Александра Невского. За помощь, оказанную Батюю, он потребовал и получил помощь против немцев и германофилов... Католическая агрессия захлебнулась»²⁷.

Вот такая история. Татаро-монголы, огнем и мечом покорившие Русь, разорившие ее непомерной и унижительной данью, которую платила она на протяжении многих столетий, оставившие после себя пустыню и продавшие в рабство цвет русской молодежи, — вдруг превращаются в пылу полемики, в ангелов-хранителей русской государственности от злодейской Европы.

Сведенная в краткую формулу российская история XIII-XIV веков выглядит у Гумилева так: когда «Европа стала рассматривать Русь как очередной объект колонизации... рыцарям и негодьям помещали монголы»²⁸.

Какой же здесь может быть разговор об «иге»? Какое иго, когда «Великороссия... добровольно объединилась с Ордой, благодаря усилиям Александра Невского, ставшего приемным сыном Батюю»²⁹?

На основе этого добровольного объединения возник «этнический симбиоз»³⁰ Руси с народами Великой степи — от Волги до Тихого океана. А из этого «симбиоза» как раз и родился великорусский этнос — «смесь славян, угро-финнов, аланов и тюрков слилась в великорусскую национальность»³¹. (Привет, как говорится, Жириновскому. А заодно и Солженицину, который настаивает, что украинцы и белорусы — часть русской нации.)

Конечно, старый, распадающийся, вступивший в «фазу обскурации» славянский этнос сопротивлялся рождению нового: «обывательский эгоизм... был объективным противником Александра Невского и его боевых товарищей»³². Но в то же время «сам факт наличия такой контрверзы показывает, что наряду с процессами распада появилось новое поколение — героическое, жертвенное, патриотическое... В XIV веке их дети и внуки... были затравкой нового этноса, впоследствии названного великорусским»³³.

«Москва перехватила инициативу объединения русской земли, потому что именно там скопились страстные, энергичные и неукротимые люди»³⁴.

А теперь обозначим главные вехи рождения нового суперэтноса. Сначала возникают «пассионарии», люди, способные жертвовать собой во имя возрождения и величия своего этноса, провозвестники будущего. Затем некий «страстный гений» сплывает вокруг се-

бя опять же «страстных, энергичных, неукротимых людей» и ведет их к победе. Возникает «контроверза», новое борется с «обывательским эгоизмом» старого этноса. Но в конце концов «пассионарность» так широко распространяется посредством «мутаций», что старый этнос сдается на волю победителя. Из его обломков возникает новый.

И это все, что предлагает нам Гумилев в качестве критерия новизны «суперэтноса». И как бы ни хотелось нам его принять, нельзя не заметить, что это всего лишь универсальный набор признаков любого крупного политического изменения, одинаково применимый ко всем революциям и всем реформациям в мире.

Прделаем маленький, если угодно лабораторный, эксперимент.

Проверим гипотезу

Вспомним все, что нам известно о деятелях эпохи Просвещения, и пропустим эти сведения через предложенное Гумилевым сито. И тогда нам не останется ничего другого, как только объявить Вольтера и Дидро, и Лессинга «пассионариями».

А как же иначе? Они отдали все, что имели, делу возрождения и величия Европы. Они были провозвестниками будущего.

И «контроверза» со старым феодальным этносом у них возникла и приняла такие формы, что и слепому было видно — «наряду с процессами распада появилось новое поколение — героическое, жертвенное, патриотическое». И дальше, и дальше: в 1789 г. дело дошло до Великой Революции, которая вывела на историческую сцену Наполеона, кого сам же Гумилев восхищенно описывает как «страстного гения», поведшего к победе «страстных, энергичных, неукротимых людей». Разве не сопротивлялся ему отчаянно «обывательский эгоизм» старых монархий? И разве, наконец, не распространилась эта «пассионарность» так широко по Европе, что старому этносу пришлось сдаться на милость победителя?

Все совпадает один к одному, за вычетом разве что татар, без помощи которых европейский «страстный гений» сумел как-то в своей борьбе обойтись. Значит, должны целиком совпасть и выводы. Значит, в XVIII веке на Европу изверглась биосфера, произведя соответствующий пассионарный взрыв. 14 июля 1789 г. надо считать днем рождения нового западноевропейского суперэтноса — по прямой аналогии с 8 сентября 1381 г., которое Гумилев провозгласил днем рождения великорусского. Или нет? Объявим этот взрыв этногенеза действительным из «патриотических» соображений? Не можем же мы, в самом деле, допустить, что загнивающий Запад, вступивший, как мы выяснили на десятках страниц, в «зону обскурации», моложе России на целых пять столетий!

Смех смехом, а ведь и в самом деле отсутствие объективно — и верифицируемого, то есть доступного проверке — критерия новизны этноса не только делает гипотезу Гумилева несовместимой с требованиями естествознания, но и вообще выводит ее

за пределы науки, превращая в легкую добычу «патриотического» волонтаризма.

Забудем на минуту про Запад: слишком болезненная для Гумилева и его «патриотических» последователей тема. Но что, право, может помешать какому-нибудь, скажем, японскому «патриотическому» историку объявить 1868-й годом рождения нового японского этноса? Ведь именно тогда произошла в Японии знаменитая реставрация Мэйдзи, страна одним стремительным броском вырвалась из пут многовековой изоляции и отсталости. Уже через полвека она смогла разгромить великую европейскую державу Россию, а еще полвека спустя бросила вызов великой заокеанской державе Америке. На каком основании, спрашивается, сможем мы отказать японцам в почетном звании, вместе со всем что к нему прилагается?

Капризы биосферы

Вообще у Гумилева после XIV века биосфера повела себя как-то странно. Сразу после того, как извержение ее чудесным образом подарило «второе рождение»³⁵ умиравшей славянской Руси, она вдруг прекратила свою «пассионарную» деятельность.

Конечно, биосфера непредсказуема. Но все-таки даже из таблицы, составленной для читателей самим Гумилевым, видно, что раньше она никогда еще так подолгу не простаивала — чтобы шесть веков прошли без единого взрыва этногенеза! Как раз напротив, если вести счет с VIII века до н.э., промежутки между извержениями сокращаются, а не увеличиваются.

Первый взрыв (Эллада) и второй (Персия), разделяют пять веков. А между предпоследним (монголы) и последним (Россия) прошло только два.

Кто же поручится, что следующее извержение не подарит «второе рождение» ненавидимому Гумилевым Западу? Или, скажем, Китаю? А еще бы лучше Африке, которую биосфера вообще по совершенно непонятным причинам до сих пор игнорировала.

Но что станет тогда со статусом самого молодого из «суперэтносов», российского, чей возраст выступает у Гумилева как единственное, но решающее преимущество перед всем миром?

Либо что-то серьезно забарахлило в биосфере, если она не смогла за шесть столетий произвести ни одного нового «суперэтноса», либо Гумилев искусственно ее заблокировал — из «патриотических» соображений.

Гумилев и оппозиция

Чертовски жаль замечательно талантливого и эрудированного человека, но стоит подойти к его гипотезе с самыми элементарными требованиями, предъявляемыми к любому научному открытию, как она распадается прямо под руками. И ничего не остается, кроме невообразимой смеси наукообразия, гигантомании и «патриотического» волонтаризма.

Чертовски жаль, что не было у него возможности представить свою работу городу и миру, когда было еще время что-то исправить, что-то переделать, что-то передумать. Еще одна трагическая жертва советской системы, искалечившей его, изолировав от мира. Политика-таки достала его, как ни старался он от нее убежать.

Однако, если за все эти годы никто в России не подверг его гипотезу элементарной научной проверке, то теперь, в годы развала, это и вовсе стало неактуально. Другая выдвинулась на первый план проблема. Гипотеза, по выражению «Литературной газеты», «пьянит страну». Самые разные люди в сегодняшней России вдохновенно твердят за Гумилевым: «пассионарность», «суперэтнос». «Наш современник» объявил его лидером «единственной серьезной исторической школы в России». Книги его стали бестселлерами.

Гумилев оказался нужен растерзанной стране, разом утратившей все — своих святых и пророков, мучеников и мудрецов, традиции и символы. Есть глубокая внутренняя потребность в освященном авторитетом науки подтверждении, что великую страну, корчащуюся в муках очередного смутного времени, еще ждет великое будущее. Научны, полунаучны или вовсе ненаучны его теории, но Гумилев эту потребность удовлетворяет.

А больше всех Гумилев оказался нужен реваншистской оппозиции.

Мы уже видели, как взаимно уничтожают друг друга марксизм и «русская идея». Ну, что между ними общего? Ровно ничего. Кроме... Гумилева, гипотезу которого сравнительно просто превратить в синтетическое «учение», родственное и марксизму, и «русской идее».

Может ли Гумилев дать такую общую идеологическую душу сегодняшней, расколотой, как сама Россия, оппозиции? Не знаю. Но то, что его теории идеально для этого приспособлены, я постараюсь сейчас показать.

«Никаких контактов с латинами»

«Красные» привыкли опираться на сложную, наукообразную и строго детерминистскую систему взглядов, не оставляющую сомнений, что история на их стороне и, сколько бы дров они ни наломали, будущее принадлежит им.

«Белые», напротив, всегда опирались на традиционный волюнтаризм «русской идеи», на твердую веру, что ровно ничего predeterminedного в истории нет и при большом желании всегда ее можно повернуть вспять. Зачем далеко ходить — удалось же «красным» разрушить великую царскую империю при помощи жидо-масонского заговора! Стало быть, чтобы вернуть ей величие, нужно что? Правильно, подготовить столь же мощный «патриотический» контрагговор.

Как с такими взаимоисключающими идеями вступать в союз, однако?

Требуется, очевидно, нечто третье, примиряющее в себе и «красный» детерминизм, и «белый» волюнтаризм. Что-то, с одной стороны,

ученое и систематическое, гарантирующее, что будущее просто не может не быть за новой оппозицией, а с другой — зажигательное, мобилизующее и способное поднять массы. Что-то, иначе говоря, не совсем социалистическое и не совсем националистическое, не «красное» и не «белое», а национал-социалистическое, если хотите — «коричневое».

Но только не в вульгарной и скомпрометированной форме «монархического фашизма» Дмитрия Васильева или «православного фашизма» Александра Баркашова, вся идеология которых списана с нацистских учебников и сводится, по сути, к площадному антисемитизму. В России, положившей миллионы своих сыновей в борьбе с нацизмом, серьезные политики остерегаются пользоваться его отбросами. Читатель, может быть, помнит: Проханов, Кургинян, Жириновский — каждый по-своему решает эту проблему как важнейшую для собственного политического имиджа.

Нет, новая «коричневая» идеология должна быть совершенно оригинальной — русской, а не германской. Она должна выступить и в роли «единственной серьезной исторической школы в России», и в то же время «опьянить страну».

Если бы учения о «пассионарности» не существовало, то именно сейчас им стоило бы его выдумать. Разумеется, для массового потребления, для пропагандистских брошюр и газетных передовиц его можно освободить от громоздкого «биосферного» аппарата. В конце концов, в каждом идеологическом храме есть свои потаенные углы, доступные только священнослужителям, свои сакральные тексты, непонятные массам верующих, и свои темные истины, толкуемые жрецами. Разве не так оно было и в марксистской церкви? Много ли «красных» проштудировало трехтомный «Капитал» со всеми головоломными хитросплетениями его диалектики? Да и была ли в том нужда? Что достаточно было усвоить рядовому «красному»? Что капиталисты эксплуатируют трудящихся, присваивая себе прибавочную стоимость. И что единственным способом положить конец этому безобразию является диктатура пролетариата. Всей остальной «биосферой» учения успешно занимались жрецы.

Что достаточно будет усвоить рядовому «красно-белому»? Что история работает против «загнивающего» Запада и на самый молодой в мире этнос, сохранивший безнадежно утраченную Западом пассионарность. Что, попросту говоря, «никаких контактов нам с латинами иметь не надо, так как они народ лукавый, лицемерный, вероломный, и притом не друзья России, а враги»³⁶. Или на ученом языке (для интеллигентов): «как бы ни называть эти связи: культурными, экономическими, военными, они нарушают течение этногенеза... порождают химеры и зачинают антисистемы. Идеологические воздействия иного этноса на неподготовленных неофитов действуют подобно вирусам, инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму... губят целые этносы, не подготовленные к сопротивлению чужим завлекательным идеям»³⁷. Или того хуже: контакты с чуждыми этносами ведут «к демогра-

фической аннигиляции... только этнические руины остаются в регионах контакта»³⁸.

И все это было бы освящено непререкаемым авторитетом большого ученого, притом своего, отечественного, а не чужеземного, сына великой Анны Ахматовой, мученика сталинских лагерей, «патриотического» святого.

Я не знаю, удастся ли жрецам «красно-белой» оппозиции превратить уязвимую, как мы видели, гипотезу в «учение Гумилева», т.е. в мощный идеологический инструмент управления массами. А почему, собственно, это невозможно? Удалось же большевикам проделать аналогичную операцию с уязвимой марксовской гипотезой, провозгласив при этом, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно»?

Но я знаю, что если это случится, у демократии в России не останется ни малейшего шанса. Ее ведь первую изобразят как «чужую завлекательную идею»...

Блуждающий этнос

Все ли есть в «учении Гумилева», чтобы оно могло стать надежным фундаментом российской «коричневой» идеологии?

Проведем краткую ревизию. Во-первых, оно синтезирует жесткий детерминизм с вполне волюнтаристской пассионарностью, снимая, таким образом, глубочайшее противоречие между идеологическими установками «красных» и «белых» (в чем Жириновский, будучи человеком малообразованным, совершенно очевидно не преуспел). Годится!

Во-вторых, оно подчеркивает именно то, что их объединяет — ненависть к Западу и приоритет нации (этноса) над личностью: «Этнос как система неизмеримо грандиознее человека»³⁹. Тоже подходит.

В-третьих, наконец, оно остерегает массы не только от каких бы то ни было контактов с Западом, но и от «химерической» свободы: «Этнос может... при столкновении с другим этносом образовывать химеру и тем самым вступить в «полосу свободы», [при которой] возникает поведенческий синдром, сопровождаемый потребностью уничтожить природу и культуру»⁴⁰. Ну, это уже вообще — «в десятку».

Все есть. И все-таки чего-то пока не хватает для полной «коричневости». И нетрудно вычислить — чего именно. До сих пор ни одной уважающей себя «коричневой» идеологии не удавалось обойтись без любезного «патриотическому» сердцу brutального антисемитизма. Неужели же здесь у Гумилева прокол?

Но не спешите расстраиваться.

Общепринятую в современном мире концепцию единой иудео-христианской традиции Гумилев решительно отвергает — в пользу ее средневековой предшественницы, утверждавшей, что

«смысл Ветхого и смысл Нового заветов противоположны»⁴¹. В его интерпретации носители Ветхого завета, изгнанные с родины и рассеявшиеся по свету в поисках пристанища, — это самое чудовищное из порождений биосферы, «блуждающий этнос». Нет страшнее напасти для нормального этноса: незванные пришельцы, «проникая в чуждую им этническую среду, начинают ее деформировать. Не имея возможности вести полноценную жизнь в непривычном для них ландшафте, пришельцы начинают относиться к нему потребительски. Проще говоря — жить за его счет. Устанавливая свою систему взаимоотношений, они принудительно навязывают ее аборигенам и практически превращают их в угнетаемое большинство»⁴².

Разумеется, евреям это не везде удастся. Например, «власть и господство над народом халифата были для них недоступны, так как пассионарность арабов и персов была выше еврейской. Поэтому евреи стали искать новую страну... и обрели ее в Хазарии»⁴³, в низовьях Волги. Правда, есть у него и другая версия, по которой «маленькому хазарскому этносу довелось испытать мощное вторжение еврейских мигрантов, бежавших в Хазарию из Персии и Византии»⁴⁴, а вовсе не из арабского халифата. Но это, в конце концов, неважно. Откуда бы ни бежали в Хазарию евреи, участь окружающих народов все едино была предрешена. Ибо с момента, когда захватили они в ней «власть и господство, Хазария — злой гений древней Руси»⁴⁵.

Сама по себе Хазария слова доброго не стоила, будучи «типичной этнической химерой»⁴⁶. Но это не помешало ей, однако, «не только обложить Киев данью, но и заставить славяно-русов совершать походы на Византию, исконного врага иудео-хазар»⁴⁷. На ту самую, заметьте, Византию, «которой суждено было дать нашей Родине свет Христианства»⁴⁸.

Выходит, иго древняя Русь все же пережила. Но только не татаро-монгольское, как мы по невежеству считали, а иудейское. «Ценности Руси и жизни ее богатырей высасывал военно-торговый спрут Хазария, а потенциальные друзья византийцы... были превращены во врагов»⁴⁹. Но и это еще не все! «Славянские земли в IX-X веках стали для евреев источником рабов, подобно Африке XVII-XIX веков»⁵⁰. Вот что такое блуждающий этнос! Естественно, сокрушение «агрессивного иудаизма»⁵¹ стало для Руси делом жизни и смерти. «Чтобы выжить, славяно-руссам нужно было менять не только правителей, но и противников»⁵² и, на наше счастье, «наши предки нашли для этого силы и мудрость»⁵³. Святослав, князь Киевский, устроил тогдашним иудеям такой погром, что «вряд ли кто из побежденных остался в живых»⁵⁴.

Но этот славный погром, вызвавший, «распад иудео-хазарской химеры», покончил не со всем «блуждающим этносом», а только с восточными евреями, сбежавшими в Хазарию то ли из Халифата, то ли из Византии. «Помимо них остались евреи, не потерявшие воли к борьбе и победе и нашедшие приют в Западной Европе»⁵⁵.

Плач по Святославу

Эту статью Гумилева, «Князь Святослав Игоревич», «Наш современник» опубликовал в канун путча, в июльском номере. А 20 августа 1991 г., в разгар путча, москвичка Е. Санькина написала в редакцию письмо: «Я плачу и плачу потому, что слушаю радио “Эхо Москвы” и одновременно

читаю статью Льва Николаевича Гумилева... комментировать дальше нечего. Князя Святослава нет, а потомки недобитых им врагов России призывают на баррикады защищать Ельцина»⁵⁶.

Глава десятая

Может ли «патриот» стать антифашистом? Сергей Кургинян против Александра Дугина

Эти лица уже знакомы читателю. Он знает, что главный редактор московского журнала «Элементы» Александр Гелиевич Дугин — фашист. И знает, что в начале 1993-го другой, не менее серьезный «патриотический» идеолог Сергей Ервандович Кургинян неожиданно и беспощадно его разоблачил. Но мы еще не обсудили, что следует из самого факта антифашистского мятежа в «патриотическом» семействе.

Не опровергает ли он, в частности, одну из главных мыслей этой книги, «тезис Янова», как еще в 70-е ее окрестили оппоненты — что все течения имперского национализма в России раньше или позже неминуемо вырождаются в фашизм?

Если «патриот» Кургинян действительно оказался антифашистом, «тезис Янова» нужно срочно пересмотреть.

Антитезис

Дискуссия о природе русского национализма длится уже четверть века. Мои оппоненты с самого начала не отрицали, что в России есть «плохие» националисты — язычники и фашисты. Но есть, утверждали они, и «хорошие» — православные антикоммунисты. Последних они горячо рекомендовали Западу как потенциальных союзников в борьбе против тогдашнего коммунистического режима. А заодно и против «плохих» националистов.

Заглядывая вперед, мои оппоненты не видели там никакой борьбы либералов-западников с вырождающимся в фашизм имперским национализмом. Бороться предстояло «хорошим» (авторитарным) националистам с «плохими» (тоталитарными). К этому, собственно, и сводился антитезис «тезису Янова»¹. Согласно ему, Западу следовало опереться на тех русских националистов, с которыми можно договориться о приемлемых условиях сосуществования на одной планете. О демократах речь вообще не заходила — какие могли у них быть перспективы в стране, заведомо лишенной демократического будущего! Что же касается вырождения имперского национализма, то антитезис на то и был антитезисом, чтобы его отвергать.

С окончанием холодной войны многое, естественно, изменилось. Имперский национализм в посткоммунистической России повел себя в прискорбнейшем несоответствии с ожиданиями своих западных покровителей. Сами критерии, предложенные ими для отделения овец от козлищ, не работали. Православные антикоммунисты, как Дугин или Баркашов, которым положено было вести себя прилично, оказались откровенными фашистами. А сочувствующий коммунистам язычник Кургинян поднял против них антифашистский мятеж, то есть оказывался вроде бы «хорошим» националистом.

То, что моих оппонентов подвели их критерии — это, в конце концов, факт из их биографии. Ну ошиблись люди, с кем не бывает? Для политических событий такого масштаба все это частности. Но есть ли в принципе такие устойчивые признаки, которые делают одних националистов «хорошими», а других «плохими»? Существует ли такой «хороший» национализм, который на деле может спасти Россию?

Покуда в Кремле сидит Ельцин, эта проблема может казаться академической. Но ведь мы говорим о пост-ельцинской России. На кого намерены мы опираться в ней — на плохих западников или на «хороших» националистов, другими словами, на прото-демократический режим или на антидемократическую оппозицию? Согласитесь, что это и впрямь ключевой вопрос для всей политики Запада в отношении России. Именно его и поставил перед нами антифашистский мятеж в «патриотическом» сообществе в начале 1993 г.

Непростая задача

Отдадим должное доблести Кургиняна. Для того, что он сделал, требовалось немалое политическое мужество. В ситуации, когда все другие «патриотические» генералы либо помалкивали, либо прямо отрицали разьедающую движение раковую опухоль, клеймя само упоминание о «патриотическом» фашизме как «гнусную доктрину» и «мерзкий идеологический удар демократов»², Кургинян публично ее обнажил. Атакуя Дугина, он показал, что «патриотический» фашизм вовсе не случайное отклонение нескольких тысяч заблудших молодых людей, одураченных «Памятью» или Баркашовым, но серьезная и мощная идеология, сознательно внедряемая в «патриотическое» движение его собственными идеологами.

Сделать это было непросто.

Дугин и его единомышленники маскируются ловко и умело. Они называют себя приверженцами «консервативной революции». Где фашизм, если они воюют против «мондиализма» и «планетарного рынка», против «нового мирового порядка» и «конца истории», а пуще всего против того, что на их языке именуется «Системой»? Это уж вообще какая-то абстракция: «Система — это мир, из которого изгнаны стихии, элементы, из которого удалена История, Воля, Творческое спонтанное усилие человека и нации, в котором изжит вкус Преодоления, Чести и Ответственности, в котором нет больше места для Великого... Мы можем по праву сказать о себе, что мы противники Системы»³...

На первый взгляд может показаться, что перед нами достаточно безобидный реликт европейских 1960-х, запоздалый антиистеблишментарный треп, высокопарность которого прямо пропорциональна его пустоте.

Сам Дугин прямо отводит все подозрения, заявляя: «Из трех основополагающих идеологических семейств — коммунизма, фашизма и демократии — мы не можем выбрать ни одного»⁴. Правда, он и не скрывает, что к фашизму относится без естественного отвращения: «Фашизм интересует нас с духовной, идеалистической стороны... нам симпатичны идеи героизма, самопожертвования, почти орденского, рыцарского типа, которые неразделимы с фашистским стилем»⁵. И даже гиммлеровскую СС, которую нормальные люди отождествляют скорее с шайкой палачей, нежели с рыцарским орденом, Дугин характеризует с несомненным знаком плюс: «В этой организации при Гитлере царили наибольшая интеллектуальная свобода и плюрализм»⁶.

Но правда и то, что он тут же отмежевывается от кровавых художеств эсэсовских «плюралистов»: «Тоталитарные, репрессивные и шовинистические аспекты, свойственные в той или иной степени историческим итальянскому фашизму и германскому национал-социализму, для нас совершенно неприемлемы»⁷.

Короче говоря, парень темнит. Понимая, каким постыдным кровавым пятном может лечь память о первой попытке глобальной «консервативной революции» 1922—1945 гг. на его репутацию как проповедника, он одновременно старается и подменить главную функцию СС — убийство — рассуждениями об «интеллектуальном оазисе в рамках национал-социалистического режима»⁸, и откреститься от других, как он выражается, «более массовых проявлений этого режима»⁹, которые уж никакими эвфемизмами не отмоешь. Это вам не простак Баркашов, бесшабашно славящий Гитлера. Это опытный и хитрый манипулятор, внедряющий нацистские идеи в «патриотическое» сознание осторожными штрихами, окольными путями, искусно обманывая при этом не только рядовых «патриотов», среди которых, как понимает читатель, не много политических гроссмейстеров, но и таких генералов от «патриотизма», как Проханов.

Даже проповедь откровенно расистской символики «крови и почвы» Дугин так разбавляет туманной антиамериканской риторикой, что раствор начинает казаться простым и прозрачным. Вот проверьте: «Американо-японский идеолог Нового Мирового Порядка Френсис Фукуяма, ярчайший апологет Системы, писал, что с победой либерализма во всем мире История подходит к концу. Нет. Это мондиализм подходит к своему концу. Великий евразийский континент, напротив, пробуждается от сна. Расы Евразии... возвращаются к своим корням, к своим внутренним энергиям, к своим ЭЛЕМЕНТАМ, чтобы свободно создавать свое собственное будущее, основанное на нашей почве и замешанное на нашей крови»¹⁰.

Нужно очень тщательно процедить эту идеологическую микстуру, чтобы извлечь коварно замешанные в нее капли яда: расы—почва—кровь. Чтоб понять, как под видом благочестивой, с «патриотической» точки зрения, антиамериканской пропаганды доверчивую публику отравляют нацизмом.

Повторяю — это не простая задача. Но Кургинян с ней справился.

Мятеж

Полностью его громовая статья «Капкан для России, или Игра в две руки» в ведущем «патриотическом» журнале заняла почти 20 журнальных страниц мелким шрифтом. Вот ее основные пункты.

«Россия — выразитель континента [по Дугину]. Третий Рейх — тоже выразитель континента. Империя Чингиз-хана тоже выразитель континента. И прежде всего — континент. Что это означает? А то, что в определенных условиях для Дугина лучше континент без России, чем Россия без континента. В очередной раз Россию приносят в жертву интернационалу, теперь уже не красному, а черному...

Я обращаю ваше внимание на фигуру эсэсовца, держащего в руках земной шар на странице 17 первого номера «Элементов». Я интересуюсь, кстати, читал ли Проханов другие, недугинские журналы с тем же названием «Элементы», издаваемые в других странах, на других языках. А ведь Дугин прямо рекламирует на первой странице те «братские» издания, давая фотографию с веером их обложек. Смеем заверить, что те издания не скрывают своей неофашистской ориентации и не оставляют сомнений, что по отношению к ним «Элементы» Дугина просто дочерняя фирма...

Речь идет о целом международном журнально-пропагандистском синдикате, щупальца которого успешно достигли патриотической Москвы, дав нам вместе с дугинскими «Элементами» также и «Гиперборею», главный редактор которой по случайному факту рождения сын полковника СС, черного мистика, руководителя изуверски-экспериментального центра «Аненербе» Зиверса, казненного по приговору Нюрнбергского трибунала...

Ну что бы такое яркое процитировать? Пожалуй, стихи некоего Касаткина.

Наш черный орден сохранен
И разрушенью не подвластен.
Он ночь за ночью, день за днем
Шлифует зубы волчьей пасти.

Дальше можно бесконечно цитировать: «Мы отстояли наш Берлин от полчищ интернационала», «Мистический Берлин — суть алхимической тинктуры» и т. д. Осуществляя заимствование, что именно заимствует Дугин? Самую сердцевину именно германского национализма, его оккультно-мистическое ядро, наследство тевтонских рыцарей... антирусское дело...

Таким образом, речь идет об очередной антирусской идеологической агрессии Запада, особенно опасной тем, что она облекает себя в патриотические ризы, маски, и эти маски срывать надо немедленно, пока не поздно»¹¹.

Перебежчик

Сергей Ервандович — невысокий, подвижный и темпераментный человек средних лет с живым интеллигентным лицом и печальными армянскими глазами за стеклами очков, гостеприимный, говорливый и щедрый. К себе он относится очень серьезно, без тени юмора. Он обожает объяснять, и сложись его жизнь иначе, стал бы, наверное, замечательным профессором и любимцем студентов.

Кургинян — человек сюрпризов. Выросший в интеллигентной либеральной семье в сердце Москвы на дискуссиях о Томасе Манне, которым профессионально занималась его русская мать, он, казалось бы, принадлежал к западной среде по рождению. И тем не менее сделался одним из крупнейших идеологов русского национализма.

Он закончил геолого-разведочный институт, но диссертацию защитил по математике, а работает, если это слово тут подходит, режиссером собственного театра, который он мало того, что содержит на свои средства, но и жилплощадь обеспечил: выстроил для него преkrасное трехэтажное здание в центре города.

Под эгидой его Экспериментального центра, на самом деле большой корпорации, работает около 2000 человек, главным образом компьютерщиков, физиков, биологов и строителей. Сердце корпорации, однако, составляют политические аналитики, на которых он опирался, давая советы бывшему премьеру СССР Павлову и бывшему коммунистическому боссу Москвы Прокофьеву.

Читатель может себе представить, насколько непросто характер человека, которого к его 45 годам судьба провела через карьеры геолога, математика, театрального режиссера, советника партийных вождей, преуспевающего бизнесмена и, наконец, политического пророка — причем совсем не на том фланге, на котором ему вроде бы положено было стоять по рождению и воспитанию.

Я бы сказал, что Кургинян — перебежчик по природе.

Он также автор многословных политических сценариев, опытный оратор, способный произносить многочасовые темпераментные речи, популярный злодей либеральной прессы («наш советский Григорий Распутин», «таинственный советник кремлевских вождей», «птица-феникс провокации») и мистический кумир прессы оппозиционной («провидец перестройки», «пророк из рода Кассандры»), организатор и босс, заявляющий, что его главная цель — «создание альтернативной национальной элиты»¹².

Удивительно ли, что для подавляющего большинства в Москве Кургинян — несмотря на все его публичные выступления, длиннейшие статьи в «патриотической» печати и три тома докладов и интервью, изданных в 1992 г., — по-прежнему загадка? Бывшие друзья, либералы, естественно, не простили ему, что в тяжкий для них час он оказался на стороне их врагов. Для них он навсегда останется предателем. А «патриоты», его новые союзники, всегда будут относиться к нему настороженно. Одни подозревают его в привязанности к коммунистам, другие, напротив, к «жидо-масонам». И вообще интеллигент, да еще в очках. Чужак.

Разумеется, и то, и другое заставляет его перебарщивать в доказательствах своей лояльности «патриотическому» делу, хватать через край, снова и снова демонстрируя искренность своей ненависти к либералам и к Западу. Впрочем, все это в порядке вещей. Такова судьба перебежчика.

Трещина в броне

Может быть, поэтому с первого же нашего спора — а их было много и все они были откровенными и яростными — не оставляло меня ощущение, что если кто-нибудь в «патриотическом» сообществе способен в принципе на антифашистский мятеж, то это именно Кургинян.

Если его репутация «таинственного советника вождей» была неотразимой для его подчиненных, если скандально знаменитый правый телерепортер Александр Невзоров вполне серьезно уверял публику, что «Кургинян руководит политикой не только СССР, но и многих правительств мира»¹³, то сам Сергей Ервандович чувствует себя совсем не так комфортабельно. В его «патриотической» броне есть глубокая трещина.

Он-то про себя знает, что аналитик он посредственный (прогнозы его, как правило, не сбываются), что литератором ему не быть, что он полностью лишен харизмы как оратор, что политических амбиций у него на самом деле нет. И хочет он по-настоящему чего-то совсем другого. Но чего?

Мы вернемся к этому вопросу через минуту. Пока что расскажу, чем диктовался мой интерес к Сергею Ервандовичу.

Нарастающая волна фашизма в «патриотических» кругах меня ужасала. И я давно уже присматривался к влиятельным фигурам внутри движения в надежде найти кого-нибудь, кто способен был публично бросить ему вызов. Я знал, что либералов слушать в этих кругах не станут. Тут нужен был авторитетный «патриотический» лидер, который, с одной стороны, был бы в состоянии понять угрозу и у которого, с другой, хватило бы мужества ей противостоять.

Если Кургинян действительно был таким лидером, то мне необыкновенно важно было угадать, что на самом деле им движет. И в какой-то момент в пылу нашего спора меня вдруг осенило.

Я понял, что видит себя Сергей Ервандович на самом деле режиссером. Но не той маленькой труппы, для которой он построил дом, — нет, всего гигантского политического шоу, которое разыгрывается сейчас на подмостках величия в одну шестую часть земной суши. Он хочет ставить это шоу, назначив себя на роль, так сказать, серого кардинала великой «консервативной революции» в России и в мире на пороге XXI века.

Конечно, это должна быть совсем не та революция, которую обещает Дугин, рассчитывающий въехать в историю на запятках неонацистской кареты. Кургинян терпеть не может нацистов, не любит Германию, подозревает ее, как мы еще увидим, в brutальных планах мирового господства. Та великая Драма, Режиссером которой он так страстно надеется стать, должна быть глубоко и истинно русской, а вовсе не повторением провалившегося «тевтонского» штурма и натиска 1930-х. Но все-таки она должна быть мировой революцией. И консервативной тоже. Она должна быть прорывом не только в постиндустриальное общество, но в новое историческое измерение, в котором заглавная роль принадлежала бы России, а следовательно, ему, Кургиняну.

Дугин не только профанировал саму идею «консервативной революции», подвывая ее к «черному» интернационалу. Дугин украл ее у Кургиняна. Таких вещей не прощают.

Прометеев комплекс

С самого начала читатель должен оценить сложность ситуации Кургиняна.

В привычном либеральном кругу у него не было ни малейшего шанса стать режиссером российского, а тем более мирового политического спектакля. Там он просто затерялся бы среди блестящих диссидентских имен, харизматических парламентских ораторов и знаменитых экономистов, владевших умами во времена перестройки. У него не было ни громкого диссидентского имени, ни серьезной реформистской репутации. Там обречен он был оставаться политическим статистом.

Тем и привлекала его «патриотическая» среда, что среди заскорузлых партийных политиков и старорежимных националистов он мог мгновенно стать интеллектуальной звездой первой величины. Именно потому и устремился он к «патриотам», что здесь зиял гигантский интеллектуальный вакуум. Здесь было много высокопоставленных исполнителей и ни одного серьезного режиссера. Это вакантное место и притягивало Кургиняна как магнит. Ради него, собственно, и пожертвовал он своим западническим прошлым, старыми друзьями и либеральной репутацией. Полистав его многочисленные интервью, вы тотчас убедитесь, что главная его гордость в том как раз и заключается, что он, по его собственному выражению, лишил либералов монополии на интеллект¹⁴.

Да, именно так он себя и видит: подобно Прометею, похитившему огонь у богов, чтобы отдать его людям, он, Кургинян, принес «патриотам» русский интеллект.

А теперь подумаем, что должен испытать человек, страдающий таким прометеевым комплексом, когда вдруг откуда ни возьмись появляется какой-то Дугин и заявляет, что у «патриотов» нет никакой нужды в доморощенных Прометеях, тем более из бывших либералов. Что над сценарием мировой «консервативной революции» поработали уже такие, не чета Кургиняну, интеллектуальные титаны нацистских времен, как Карл Шмитт и Юлиус Эвола. Что интеллектуальным обеспечением «патриотического» дела занимаются нынче настоящие европейские мыслители, как Аллен де Бенуа, да и весь международный журнально-пропагандистский синдикат антиамериканского подполья в Европе. И что, короче говоря, на «патриотическом» Олимпе Сергею Ервандовичу с его провинциальными идеями делать нечего.

Ну мог ли, скажите по совести, Кургинян простить Дугину такую подлость? Такое надругательство над самой сокровенной своей мечтой, над всеми своими жертвами, да, собственно, и над всей своей жизнью?

Янов против Янова

Если попытаться описать мою партию во всех многочасовых наших беседах с Кургиняном в одной фразе, то окажется, наверное, что я все время педалировал эту смертельную его обиду на Дугина. И указывал я на нее, как на ярчайший пример трещины в броне самого русского национа-

лизма, с которым Кургинян связал свою судьбу — его открытость фашистской дегенерации. Я брал Сергея Ервандовича на слабо, подзадоривая его создать прецедент публичного антифашистского протеста внутри «патриотического» сообщества, доказав тем самым, что я не прав. Что не все русские националисты подвержены фашистской эволюции. Что не все они встанут за Дугина в случае, если он, Кургинян, бросит ему публичный вызов.

Конечно, это означало бы также опровержение «тезиса Янова». Но какое значение имели соображения академического престижа в сравнении с чудовищной опасностью перерождения российской оппозиции в фашизм? Я был бы счастлив убедиться в своей неправоте.

Читатель понимает теперь, почему известие об антифашистском бунте внутри националистического движения не было для меня ни шоком, ни даже сюрпризом. Я положил много сил на то, чтобы он состоялся.

В академических терминах можно сказать, что, следуя совету Карла Поппера, я изо всех сил пытался скомпрометировать свой собственный тезис или, как он выражался, его «фальсифицировать». Я упорно искал аргументы против самого себя. И не скрывал этого от Кургиняна. В одном из наших последних диалогов, уже в 1994 г., я так прямо и сказал ему, что «рассматриваю его антифашистский бунт как свой собственный успех»¹⁵, и он ничего против этого не возразил. Так что в известном смысле споры наши и впрямь замешаны были не только на больших политических, но и на маленьких личных драмах. Разница лишь в том, что я стремился опровергнуть «тезис Янова», а он — элиминировать опасного интеллектуального конкурента.

Мои проблемы

При всем его прометеевом комплексе, толкнуть Кургиняна на антифашистский мятеж оказалось, однако, делом далеко не простым. Он слишком дорожил своим взаимопониманием с генералами оппозиции, чтобы поставить его на карту и еще раз рискнуть своей, на этот раз «патриотической» репутацией. И единство движения было для него важно. Послушайте, как он говорил поначалу о монолитности русского национализма и даже о Дугине. «Мы, новая русская элита, всегда найдем общий язык с любыми национал-радикалами»¹⁶. И фашизма, уверял он тогда, опасаться нам нечего: «Новая правая отличается от фашизма тем, что никогда не опускается до уровня массового сознания»¹⁷. И соответственно ни о каком антифашистском мятеже он еще в середине 1992-го даже не помышлял.

В Дугине он, разумеется, видел конкурента и тогда. Но открыто

атаковать его не решался. И несогласие свое высказывал с подчеркнутой вежливостью: «При всем моем уважении к работам Дугина, при всем моем понимании их предельно позитивной роли в сегодняшней политической ситуации, я со многим не могу согласиться. Деление на атлантизм и континентализм все же представляется мне чересчур условным»¹⁸.

Ну можно ли, право, сравнить этот учтивый скептицизм с открытой яростью, сквозящей во всем, что писал он о том же предмете полгода спустя: «Дугин подменил живой процесс абстракцией, это от него пошла попытка привнесения новозаемной идеологии в массы... Опять ловушка для дураков. Опять чьи-то чужие цели и интересы плюс расчет на безграмотность населения. Опять заимствование, опять лень мысли, опять чужие доктрины»¹⁹.

Даже на самый поверхностный посторонний взгляд очевидно, какой долгий путь прошел Кургинян за эти полгода — от дружественно-несогласия до непримиримого антагонизма, от спокойной уверенности, что он всегда «договорится с любыми национал-радикалами», до отчаянных апелляций к «патриотической» общественности.

Разумеется, я не могу измерить, какую роль сыграли мои аргументы в этой удивительной метаморфозе. Зато я точно знаю, какие стояли передо мною в спорах с Сергеем Ервандовичем проблемы.

Во-первых, нельзя было оставить у него ни малейших иллюзий относительно феномена Дугина. Не только в том смысле, что Дугин фашист. Это мы оба понимали с самого начала, и Кургинян совершенно очевидно темнил, превознося «его предельно позитивную роль в сегодняшней политической ситуации». Опаснее для него лично было другое: практически монополизировав центральный в то время орган оппозиции, газету «День», Дугин был на полпути к вытеснению Кургиняна из ее интеллектуальной обоймы.

Во-вторых, в разгар конфронтации между президентом и парламентом выход Дугина (и Баркашова) на передовые позиции в соревновании за доверчивые «патриотические» сердца экспериментально доказывал, что я прав, что угроза фашистского перерождения оппозиции вполне реальна. Если их не остановить сегодня, завтра — в момент неминуемой открытой схватки — может оказаться поздно. В особенности в случае победы перерождавшегося на глазах парламента. В этом случае комбинация фашиста Дугина в качестве идеологического ментора оппозиции и фашиста Баркашова в качестве главаря ее штурмовых отрядов стала бы попросту неодолимой.

И в-третьих, наконец, нужно было обратить внимание Кургиняна на крайнюю уязвимость позиции Дугина именно в 1992 г., после публикации в «Дне» его главной «конспирологической» работы «Великая война континентов». Намертво отрезав излюбленную свою геополитику от реальной истории, да еще введя в нее категорию «вечности», Дугин совершил непоправимую ошибку. Он открылся для удара.

Дело в том, что и Дугин, и Кургинян одинаково помешались на геополитике. Что поделаешь, в Москве это крик моды, чтоб не сказать

эпидемия. Западная новинка, став наконец-то доступной и в России, немедленно покорила всех увлекающихся политикой. Никто даже не обратил внимания на кричащее внутреннее противоречие, которое содержит в себе геополитика.

С одной стороны, изучает она соотношение сил между государствами, основанное на их местоположении в мире, и с этой точки зрения она ближе к географии, нежели к политике. С другой, однако, соотношение сил между государствами меняется, тогда как география остается постоянной. Поэтому геополитика, по сути, раздирается на части между географией и историей. Она пытается сохранить равновесие между двумя взаимоисключающими векторами — статическим и динамическим — и ей практически никогда это не удается. Не умея предсказывать решающие политические изменения внутри государств, она предпочитает их игнорировать. Именно потому, в частности, и просчитался американский геополитик Збигнев Бжезинский, когда, как мы помним, в 1986 г. предсказал конфронтацию между СССР и США на столетие вперед: оторвавшись так далеко от сегодняшнего дня, он не сумел сохранить в своих выкладках этот почти недостижимый эквилибриум.

А уж введение в нее категории «вечности» вообще для геополитики смертельно. Оно взрывает хрупкое равновесие между географией и историей, обнажая скрытый антагонизм между ними. Реальной истории в ней просто не остается места. Она выводится за скобки. И геополитика немедленно превращается в своего рода «географический кретинизм».

Именно это и продемонстрировал Дугин.

Вот лишь один пример. Согласно его геополитическим выкладкам, Россия и Германия принадлежат к одному и тому же геополитическому полюсу — континентальному, всегда («вечно») противостоящему полюсу морскому, атлантическому, т. е. Англии и Соединенным Штатам (мы уже цитировали основной постулат его доктрины о «вечном Риме против вечного Карфагена»). А теперь заглянем хотя бы в школьный учебник истории и посмотрим, с кем на протяжении столетий воевала Россия: со своим «вечным» антагонистом США или со своим опять-таки «вечным» континентальным союзником Германией.

Ответ очевиден. И в XIII, и в XVIII, не говоря уже об обеих мировых войнах в XX веке, Россия сражалась со своим прирожденным союзником. Причем в двух последних случаях — в союзе со своим прирожденным антагонистом. Так что же остается от исторического противостояния «вечного Рима вечному Карфагену», если и в реальной истории, и в памяти народа все было как раз наоборот? Дугин сам полез в запретную для него зону. Его следовало подвергнуть публичной порке — хотя бы за элементарную некомпетентность.

Надо полагать, какая-то комбинация этих трех аргументов сработала. Результатом был антифашистский мятеж внутри «патриотического» сообщества, который по счастливому (для Кургуиняна) совпадению оказался также и нокаутирующим ударом в уязвимое место оппонента.

Сюрприз

Более того, тут он даже, как часто с ним случается, переборщил. На этот раз со своей германофобией. Я просто упустил из виду, что Сергей Ервандович такой же фанатический поклонник геополитики, как и Дугин. И он преподнес мне, признаюсь, сюрприз, когда неожиданно вмешался в декабре 1992 г. в мой диалог с одним из его политических аналитиков, провозгласив, что отныне геополитическая задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы предотвратить «превращение России в экономическую колонию Германии». Иначе, предупредил он, «через два года в Германии к власти придут те силы, которые будут для США страшнее сил 33 года»²⁰.

Толковали мы с ним, толковали об угрозе русского фашизма, а он вдруг прицепился к Германии. Да еще и вооружившись геополитикой. Что за вздор, право! Столько раз пытался я ему показать, что не тот инструмент берет он в руки. Ну, не годится геополитика для предсказаний, так что лучше оставить ее Дугину. И не из Бонна угрожает миру непосредственная опасность, а из Москвы.

Какие только аргументы я не перепробовал — и все отскакивали, как от стенки горох. Ну, вот один, для примера. После того, как успешно вышла из своей послевоенной веймарской фазы Германия, демократизация стала там необратимой, и теперь поворот к тоталитарной реакции возможен в ней лишь в одном случае: если новый 33-й победит в России. Тогда — да, тогда роковое тоталитарное излучение начнет распространяться по Европе, усиленное захлестывающей ее волной экстремистского национализма. Именно на это рассчитывают Дугин и его неофашистские менторы из «черного» интернационала.

И именно этого, как оказалось, безнадежно не понимает ослепленный геополитикой Кургинян.

Странным образом мои возможности повлиять на его позицию оказывались очень ограниченными. Во всех случаях, когда аргументы не адресовались к описанной выше трещине в его броне и не совпадали с его личными интересами, они оказывались совершенно неэффективны. Слово говорили мы на разных языках. Чтобы у читателя не оставалось в этом ни малейших сомнений, я, пожалуй, процитирую заключительный пассаж этой нашей решающей беседы.

К декабрю 1992 г. Кургинян уже был полностью готов к своему антифашистскому бунту. И говорил он о том, на каких условиях согласился бы он сотрудничать с США.

К.: Первое, за Россией сохраняется статус великой державы. Второе, статус геополитического союзника. Третье, национальный вектор политики России должен находиться в руках людей жестко консервативной ориентации — другие просто с этим не справятся, — которые отодвинут фашизм и превращение России в экономическую колонию Германии, что сейчас уже началось.

Я.: Другими словами, вы предлагаете союз против Германии. Как во времена последней мировой войны, вы ставите США перед выбором — Россия или Германия. Но ведь это просто неумно. В конце концов, сегодняшняя Германия — демократическое государство и союз-

ник, тогда как Россия все еще барахтается в своей веймарской фазе и неизвестно, куда повернет. Непонятно кроме того, кто они, эти ваши люди жестко консервативной ориентации, которым мы должны довериться, какие у них шансы и — самое главное — как они относятся к демократии.

К.: Мы не о демократии сейчас говорим. Я предложил наш пакет условий. Может он быть принят?

Я.: Если мы действительно хотим найти общий язык на антифашистской основе, нам, наверное, следует обратиться к историческому опыту. Как действовали США в аналогичной ситуации после войны, когда они оказались перед лицом веймарской неопределенности в Германии и в Японии? Задача, которая стояла тогда перед гражданской частью их оккупационной администрации, казалась почти неразрешимой. Вот эта Германия, которая на протяжении полувека развязала две мировых войны да еще и еврейский Холокост устроила, вот эта Япония с вековой милитаристской традицией, глубоко консервативная страна. Как обеспечить за три — пять лет, покуда мы еще что-то можем здесь сделать, чтобы и через поколение или через два страны эти опять не подняли на нас меч? Чтобы фашизма и Пирл-Харбора больше не случилось? Вы знаете, как они решили эту голололомную задачу?

К.: Знаю. Я внимательно читал вашу книгу.

Я.: Тогда представьте, что какой-нибудь националистический идеолог в тогдашней Японии предложил США пакет условий, аналогичный вашему. Он включал бы приход к власти в Токио людей жестко консервативной ориентации — безразличных, может быть, даже враждебных демократии. Гарантировал бы нас такой пакет от реставрации фашизма и агрессии, скажем, поколение спустя? Не знаю. Имея в виду мощь японской милитаристской традиции, не уверен. Американцы, сидевшие тогда в Токио, тоже не были уверены. Они не были геополитиками, но были демократами. И поэтому положились на старую истину, что демократии между собою не воюют. Именно в демократии, о которой в вашем пакете нет ни слова, увидели они главное, императивное условие успеха. Почему они так сделали? Потому что любая другая система — пусть консервативная, пусть какая угодно — не дает гарантий безопасности. А демократия дает. В этом, если угодно, ее геополитическая ценность. Вот почему для того, чтоб США рассматривали Россию как геополитического союзника, им нужны гарантии, что не только завтра, но и поколение спустя она снова не превратится в военную диктатуру. Даже не упоминая в своем пакете демократию, вы лишаете нас гарантий. Вот что говорит нам исторический опыт.

К.: Я вам отвечаю. Вы хотите невозможного.

Я.: Но оказалось же это возможным и в Японии, и в Германии. Что же, только Россия такая заколдованная страна, где демократия невозможна?

К.: А я вам говорю, что процесс, происходящий здесь, ставит веху: через два года в Германии придут к власти силы, которые будут для США гораздо страшнее сил 33-го. Осталось совсем недол-

го, практически это уже началось. Мировая экономическая война уже идет.

Я.: *Право же, это совершенная чепуха, ну поверьте мне, чепуха.*

К.: *Я хочу только одного. Вот того момента, пообещайте мне, когда вы сами, вы лично убедитесь, что это серьезно, вы позвоните мне и скажете: «Вы были правы». Вот и все²¹.*

Прошло два года. Пока что обошлось без звонка. Геополитика, которая так неприлично подвела в 1986 г. Бжезинского, шесть лет спустя обошлась с Кургиняном не лучше.

Нужны ли белые вороны?

И все-таки эксперимент по «фальсификации» — в терминах Поппера — моего тезиса состоялся. У нас, т. е. у академиков и политиков, да и вообще у всех, кто заинтересован в том, чтобы узнать наверняка, возможно ли сотрудничество с российской националистической оппозицией, появился практический материал для суждения. Мы теперь можем попытаться ответить на все наши трудные вопросы не на основе исторических аналогий или природного оптимизма, но с помощью конкретного опыта.

Можно ли в сегодняшней России кардинально и эффективно повлиять на позицию серьезного националистического идеолога?

Можно, если это не Дугин и не Шафаревич, а талантливый и честолюбивый перебежчик, белая ворона в «патриотическом» стане. Другими словами, Кургинян. Если, говоря о «хороших» националистах, оппоненты «тезиса Янова» имели в виду таких людей, они были правы.

При всех ли условиях влияние это может быть эффективно?

Нет. Изменение, которого вы добиваетесь, должно совпадать с личным интересом «хорошего» националиста (в нашем эксперименте — с необходимостью элиминировать конкурента). Во всех остальных случаях ум его, как мы только что видели, остается герметически закрытым для постороннего влияния.

Можно ли, повлияв на такого «хорошего» националиста, изменить общую тенденцию оппозиции к фашистскому перерождению?

Нельзя. Антифашистский мятеж Кургиняна ни на минуту не оставил неумолимого дрейфа «патриотической» оппозиции к фашизму. Не расколол движения. Не создал внутри него сильного антифашистского крыла. Не заставил задуматься над угрозой фашистской дегенерации даже самых чутких из националистических генералов — ни Александра Руцкого, ни Александра Проханова. Мои оппоненты и тут оказались неправы.

Снизилась ли после антифашистского мятежа Кургиняна темпы фашистского перерождения националистической оппозиции?

Нисколько. Как вела она непримиримую психологическую войну против демократии в союзе с открытыми фашистами, так и продолжает ее после разоблачений Кургиняна. Тоже — вопреки ожиданиям моих оппонентов.

Сократил ли публичный протест Кургиняна хотя бы влияние фа-

шизма на оппозицию и — через нее — на более широкие слои российской бюрократии?

Нет, не сократил. Открытая схватка парламента с президентом осенью 1993-го, т. е. много месяцев спустя после кургиняновского мятежа, свидетельствует об этом неоспоримо. Даже сам Сергей Ервандович признал это, когда, анализируя ход схватки, писал о «значительной роли», которую играли в осажденном парламенте «пресловутые баркашовцы». Он даже предположил, что «около 30 сентября внутренний переворот в Белом доме привел к власти вовсе не тех, кто имел ее де-юре»²². (Более того, 30-го же сентября сам Кургинян был под дулами автоматов выдворен из Белого дома молодыми людьми с фашистскими нашивками на рукавах.)

Подтверждает это в более общем плане и Егор Гайдар. Он так формулирует главную опасность, угрожающую России: «Легитимная политическая и бюрократическая элита может двинуться в сторону нацизма, переродиться, прорасти “коричневым загаром”. Пример такого перерождения у нас перед глазами — Руцкой, Хасбулатов, Верховный Совет. Это была модель. Теперь представьте подобное перерождение в большем масштабе — и сами оцените масштабы возможной катастрофы»²³. Так что и в этом отношении оказались неправы мои оппоненты.

Стоило ли в таком случае огород городить, т. е. затевать весь этот тяжелый, длившийся много месяцев эксперимент с попыткой компромата собственной гипотезы?

Стоило. Чтобы ни у западной, ни у российской публики не осталось никаких иллюзий относительно влияния, веса и значения «хороших» националистов в русской оппозиции.

И наконец последний — и самый главный — вопрос: можно ли положить на «хорошего» националиста как на потенциального партнера в общей борьбе против русского фашизма? Или, другими словами, может ли «патриот» стать антифашистом?

Нет, не может. И вовсе не только потому, что он, как мы видели, не делает погоды в «патриотическом» лагере и оттого неизбежно оказывается исключением, лишь подтверждающим общее правило. Не может он стать партнером еще и потому, что у него есть собственная идея «консервативной революции» в современном мире, которая при определенных условиях сама может трансформироваться в фашизм. Пусть не связанный с «черным» интернационалом, как дугинский, пусть скорее русский, даже советский по своим интеллектуальным корням, но все-таки фашизм — милитаристский и агрессивный.

В этом — решающем пункте — оппоненты «тезиса Янова» снова, и теперь уже окончательно, оказываются неправы. Но это мне еще предстоит доказать.

После скандала

Представим на минуту, что сокровенная мечта Сергея Ервандовича сбылась, и он действительно оказался за пультом режиссера грандиозного политического спектакля. Как будет выглядеть его «консервативная революция» и по какому пойдет она сценарию? Не забудем, что, в отличие от Дугина, за плечами у Кургиняна не стоят

знаменитые сценаристы Третьего Рейха. И сегодняшний «черный» интернационал на него не работает тоже. Он сам и философ своей «консервативной революции», и ее историк, ее экономист и геополитик. Сам себе, короче, и Карл Шмитт и Юлиус Эвола. И даже Аллен де Бенуа.

Кургинян, надо отдать ему должное, не отшатывается от этой титанической задачи. Три тома его докладов, статей и интервью как раз и предназначены ответить на все вопросы «патриотической» общест-венности — от теологических и абстрактно-философских до сиюми-нотно-политических.

Ровно месяц спустя после октябрьской трагедии он снова выступи-л с резкой публичной критикой своих союзников, сформулировав пять «обвинений в адрес оппозиционных вождей». Главными из них были обвинения в «преступной идеологической всеядности»²⁴ (читай: продолжали водиться с фашистами Дугиным и Баркашовым после ян-варского скандала), а также в «концептуальной бесплодности и в от-сутствии образа будущего»²⁵.

Если без пафоса, то Кургинян обвинил вождей оппозиции в том, что они не приняли его концепцию «консервативной революции» (хо-тя само название и было навсегда похищено у него Дугиным). А без нее вожди эти оказались бессильны «определить вектор развития России в случае прихода оппозиции к власти»²⁶.

Разумеется, оппозиционные вожди и на этот раз не удостоили его ответом. Надо полагать, не в последнюю очередь потому, что они, точно так же, как и либералы, никогда всерьез не занимались курги-няновским «образом будущего» и понятия не имели о предложенном им «векторе развития». Как мы уже говорили, для подавляющего большинства в Москве Кургинян вместе со всеми его идеями и по сей день — загадка. Она вызывает сильные эмоции гнева, отвращения, подозрения и зависти, но каким-то образом остается за пределами серьезного анализа.

Но что позволено утонувшему в повседневной политической склоке оппозиционному истеблишменту, что простительно затрав-ленным московским либералам, того не может допустить историк русской оппозиции. Особенно после сенсационного взлета Жири-новского, заставшего врасплох весь мир. Текучесть, неустойчи-вость и непредсказуемость ситуации в Москве заставляет внима-тельно разобраться и в кургиняновском «образе будущего», и в его «векторе развития».

Политическая вселенная Кургиняна

Первое наблюдение: источники, из кото-рых Кургинян черпает вдохновение, не особенно отличаются от дугинских. Я на-считал три таких источника: диалектиче-ский материализм Маркса, жесткая, «тев-тонского» стиля геополитика, согласно ко-торой «конечная цель всех геополитиче-ских сил — мировое господство»²⁷, и, наконец, языческая, опять же «тевтонская» мифология, служившая в свое время одним из ключевых элементов нацистской пропаганды.

Из этой гремучей смеси вырастают три основные идеи, три кита, на которых держится политическая вселенная Кургиняна.

Первая идея состоит в том, что соревнование между коммунизмом и капитализмом, между планом и рынком, между авторитарностью и демократией — вовсе не феномен XX века. Оно существовало всегда — с начала времен. Причем Восток, с его традиционностью, всегда тяготел к плану в экономике и соответственно к авторитарности в политике, тогда как Запад, с его модернизмом, стремился, наоборот, к рынку в экономике и к связанной с ним демократии в политике. Россия в этом раскладе, естественно, оказывается «обществом восточного типа»²⁸, которое «приемлет только авторитарную модернизацию»²⁹. А главными злодеями ее истории предстают, разумеется, «так называемые либералы, которые... безответственно перетаскивали нас с Востока на Запад»³⁰. Несмотря на то, что «наилучший путь для нашей страны — китайский»³¹.

Кто мы? Принадлежим мы Востоку или Западу? Где искать образцы нашего будущего — в Европе или в Китае? Лучшие из лучших российских историков и философов столетиями ломали себе головы над этими вопросами. Они по-прежнему спорны. Тем не менее Кургинян, выбирая Китай, ни на минуту в своей правоте не сомневается. Сомнения, впрочем, ему вообще не свойственны. Он не ученый, а идеолог. И потому не исследует, а учит, не спорит, а проповедует, чтоб не сказать — вещает.

Вторая его идея в том, что постиндустриальное общество, в которое вступил сейчас мир, означает на самом деле «возвращение к прошлому на новом витке — в соответствии с диалектическим материализмом (отрицание отрицания)»³². Отсюда следует, что предстоит возвышение «восточных» ценностей традиционности, плана и коммунизма — в противовес теряющим позиции «западным» ценностям рыночного и демократического общества. Это делает по-своему логичными абсурдные на вид, безапелляционные утверждения Кургиняна, что именно сейчас «коммунизм начинает побеждать в мировом масштабе»³³, ибо «в постиндустриальную эру именно коммунистические начала будут доминировать»³⁴, а потому Куба и Северная Корея относятся к «странам, оказавшимся в авангарде человечества»³⁵.

И третья, основополагающая идея кургиняновского сценария: «прорыв» России в постиндустриальную эру и превращение ее в мирового лидера. Поражение СССР в холодной войне с Западом он объясняет стратегическим просчетом его вождей и советской «псевдоэлиты» (которую он называет «кланом интеллектуально кастрированного и духовно нищего псевдожречества»)»³⁶. Просчет заключался в том, что после Сталина эти псевдожрецы пытались играть с Западом на его собственном потребительском поле, тогда как «догнать Запад на индустриальном этапе невозможно — здесь мы обречены на тотальное отставание»³⁷. Нужна была принципиально иная стратегия — «обогнать Запад, осуществив прорыв»³⁸.

Что означает «прорыв»? «Это прыжок в XXI век путем концентрации материальных и технологических ресурсов на стратегических направлениях в сфере высоких технологий»³⁹. Превращение

страны в Раша Инкорпорейтед, в своего рода сверхдержавную ядерную Дженерал Электрик⁴⁰, способную к «авторитарной модернизации».

Разумеется, это лишь, так сказать, физическое измерение «прорыва». Кургинян понимает, что гораздо важнее измерение психологическое. Для того, чтобы нация оказалась способна длительно функционировать на волне такого «мобилизационного проекта»⁴¹, нужны «новые формы мотивации труда»⁴², вплоть до «генной инженерии»⁴³. Нужен, одним словом, «прорывный» настрой, «прорывная» ментальность нации, «как было при Петре Великом или даже при Сталине»⁴⁴. Создать такую ментальность может лишь подлинно национальная элита. Вырастить такую элиту и есть, по словам Кургиняна, цель его Экспериментального центра.

Способна ли Россия на «прорыв»? Безусловно, считает Кургинян. У нее есть по крайней мере три миллиона квалифицированных работников, соответствующих мировым стандартам, богатейшие в мире недра и высочайшего класса технологические наработки, в буквальном смысле технологии XXI века. Она уже дважды, при Петре Великом и при Сталине, эту способность проявила. Более того, Россия вообще, по природе своей, «не страна предпринимателей. Она не страна рабочих и даже не страна крестьян... Россия — страна воинов»⁴⁵. Она «всегда жила и будет жить в рамках мобилизационного проекта»⁴⁶.

«Прорыв» — в российской ментальности, в этом Россия всегда может дать Западу сто очков вперед. Ей не привыкать к гарнизонной диктатуре. Не говоря уже о том, что Запад избалован своим богатством и индивидуализмом, а «Россия никогда не сменит своего отношения к богатству как к чему-то несправедному»⁴⁷. Она просто создана для «авторитарной модернизации».

Элиты — вот с чем России никогда не везло.

Дефектные элиты

Исторически, полагает Кургинян, русские элиты имели «дефектную структуру, что раньше или позже оборачивалось для страны очередным бедствием»⁴⁸. Лучший и самый близкий пример — советская элита, от которой Кургинян не оставляет камня на камне.

В 1917 г. задумано все было прекрасно. И «партия коммунистов действительно создавалась как структура орденового типа»⁴⁹ (узнаете язык Дугина?). И страна была готова к «новой теократии, новому жречеству»⁵⁰. Как нельзя точнее была она нацелена на «прорыв» в индустриальную цивилизацию — и Сталин его совершил. Благодаря этому Россия разгромила Германию, и только один шаг отделял ее от мирового господства.

Чтобы навязать миру свой антипотребительский «суперпроект»⁵¹, требовалось одно — не расслабляться, немедленно приступить к новому «прорыву», повести просыпающийся Восток на борьбу с потребительской цивилизацией Запада. Но из-за «дефектности» советской элиты все сорвалось.

Дефектность заключалась в том, что партийный «орден» сам был построен и страной управлял на атеистической основе, «не имея своего сакрального поля»⁵². Отрезав себя от религии, «орден» российских коммунистов не мог опереться на собственную теологию и тем «изначально обрекал себя на деградацию». Это и привело к его потребительскому перерождению, «к образованию духовно неполноценной орденой элиты — псевдоэлиты»⁵³.

Вместо нового Сталина пришел жалкий Хрущев с его «гуляш-коммунизмом», а за ним еще более жалкий Брежнев, затеявший игру с Западом на его собственном потребительском поле. Они разрушили российскую «прорывную» ментальность.

Чем, скажите, могло это завершиться, кроме прямого предательства горбачевской псевдоэлиты, открывшей врагу ворота русской крепости и поставившей Россию на колени перед Западом?

Вот тут и расходимся мы с Сергеем Еврадовичем кардинально. Разные у нас, так сказать, «дьяволы». Я боюсь войны, а он — мира. Я боюсь фашистского перерождения оппозиции, а за нею и страны, а он — сытости. По мне, народу, который всегда боролся за выживание, всегда жил по самым низким стандартам и бился, поколение за поколением, в тисках «мобилизационных проектов», давно пора пожить по-человечески, в мире и спокойствии. Кургиняну жизнь без «мобилизационного проекта» представляется национальным позором — хуже смерти.

Но это к слову, чтобы читателю понятно было, почему мы никогда не сможем договориться.

Почему из всех замечательных особенностей советской элиты Кургинян выбрал для обстрела именно атеизм? Это ведь по меньшей мере неосторожно! И не захочешь, а вспомнишь дореволюционные имперские элиты: вот уж кто никак не грешил атеизмом! Была у них и своя государственная религия — православие, — и свое «сакральное поле». Только что это меняло?

Не пришел после Петра в измученную непрерывными войнами и «прорывами» Россию новый Петр, чтобы вести ее вперед и выше. Напротив, произошла «депетризация» России, до слез напоминающая советскую десталинизацию. И после «прорыва» Ивана Грозного так было, и после Павла. И вообще всегда вслед за очередным «мобилизационным проектом» расслаблялись, размякали российские элиты, скатывались к потребительству и вели себя ничуть не более достойно, нежели та же брежневская псевдоэлита.

Сохраняя верность собственным критериям, Кургинян должен был бы предъявить жесткий счет не только советскому атеизму, но и православию с его «сакральным полем». Но это как раз то, чего позволить себе он никак не может. Как и Дугин, боится он оскорбить неосторожным словом свою православную политическую базу. Поэтому он сам не оглядывается и читателю не позволяет оглянуться назад, в историческое прошлое православной России, а положительный пример ищет совсем в другом направлении.

Почему не Россия, а Куба и Северная Корея стали «авангардом человечества»? Именно потому, что их национальные элиты не были «дефектными». Они не поддались разъедающему потребительскому соблазну Запада, сохранили свой сталинистский пуританизм во всей

его целостности и чистоте, а потому и справились с «авторитарной модернизацией».

Правда, с этим взрывоопасным аргументом Кургинян поневоле обращается, как опытный сапер. Шаг вправо, шаг влево — и полетит наружу, что в результате столь замечательного «прорыва» Куба и Северная Корея оказались в современном мире изгоями, разрушили свою экономику и постоянно балансируют на грани национальной катастрофы. Поэтому в подробности он старается не вдаваться и только в самых общих чертах сообщает, что кубинцы, оказывается, «трансформировали западную коммунистическую идею на свой латино-американский лад, превратив ее в теологию освобождения, в революционный католицизм». Причем больше всего, естественно, хвалит он Кубу за то, что там «полным ходом идет модернизация производства при резком сокращении потребления»⁵⁴.

Сакральное поле для новой элиты

Сценарий кургиняновской «консервативной революции» теперь, я думаю, ясен.

Чтобы восстать из пепла и снова бросить вызов Западу, России придется опять, как во времена Петра и Сталина, положить жизнь на новый «мобилизационный проект». Теперь это будет не только трудно, но и очень опасно. «Да, гениальная инженерия, ускоренная эволюция, словом, все то, что мы собираемся делать,— это очень опасно. И заниматься этим можно, только понимая, что хороших средств нет. Слишком мало времени. Слишком сложная задача. Что делать? Только погибнуть или идти на прорыв»⁵⁵.

Поднимет на это страну новая национальная элита, возглавленная новым «жреческим орденом». А верховное главнокомандование, разумеется, возьмет на себя признанный режиссер нового «прорыва», магистр нового «ордена», воплощающий в себе идеал нового «жречества».

Мы уже знаем, что «недефектная», т. е. способная на этот «прорыв» элита может вырасти только в очень сильном «сакральном поле». Поэтому Кургинян посвящает множество страниц сложнейшим теологическим разработкам, превращая заведомо отвлеченные изыски богословия в самую животрепещущую политическую проблему.

Вокруг какой религии должно будет сложиться новое сакральное поле? Выбрать нелегко. «Патриотическое» сообщество расколото. Та его часть, которая пытается опереться на национальную историю России, естественно, привержена православию. Другая, находящая ориентиры в славянской предыстории, соответственно должна возвращаться к язычеству.

Для оппозиционного политика чересчур опасно игнорировать этот раскол. Баркашовцы выдворяли Кургиняна из осажденного Белого дома не только как политического противника. Для них, «православных фундаменталистов», он был хуже еретика и даже «мондиалиста». Для них он был язычником. И они не очень ошибались.

Как и подобает серьезным идеологам, и Дугин, и Кургинян очень озабочены консолидацией своей расползающейся по швам политической базы. Оба они вынуждены лавировать между православием и язычеством. Только делают они это по-разному. Дугин просто бьет поклоны в обе стороны, распевая гимны поочередно то православию, то евразийству, предполагающему эклектическую смесь «континентальных» религий, включая мусульманство. Для более радикального Кургиняна этот коктейль чересчур слаб. Он берет быка за рога.

Решительно реинтерпретируя саму православную традицию, Кургинян объявляет о рождении новой религии — «северного православия», принципиально отличного не только от существовавшей донине православной веры, но и вообще от христианства. Новая русская религия скорее отпочковывается от язычества как его особая ветвь. «Мы настаиваем на огромном своеобразии северного русского православия и его отличии как от ближневосточного христианства (религии рабов), так и от дальнейшего римского официозного православия (религии реформирующейся бюрократии). Северное православие стало религией борцов, воинов»⁵⁶.

Пусть другие исповедуют презренную «религию рабов» или дефектную религию восточно-римской бюрократии. Мы, россияне, не такие, как все. Мы уникальны среди народов мира. До такой степени уникальны, что на протяжении трех фраз Кургинян умудряется повторить это определение четырежды. «Геополитическое пространство русской равнины было уникальной точкой... Арийский поток, шедший с юга на север... создал уникальную религиозную культуру Севера, которую мы называем «теологией борьбы»... Россия получила при этом уникальный тип религии и культуры, который и позволил ей сыграть уникальную евразийскую роль»⁵⁷.

Но мало того, что мы уникальны, мы еще и превосходим всех других. Если центром или, как витиевато выражается Кургинян, «мистическим концентратором» христианской теологии является великая мистерия жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, то в центре нашей «теологии борьбы» — что бы вы думали? — древнегерманская Валгалла.

Поистине велико на Руси смятение умов, если православным христианам предлагается в качестве символа веры мифический дворец, где, согласно языческому преданию, боги пируют с мертвыми воинами. Это — храм, куда они должны стремиться? Но что общего может это иметь с христианством? С жертвой Иисуса? С искуплением? Со спасением души?

Не только «православные фундаменталисты» — баркашовцы — каждый верующий христианин содрогнется от такого святотатства. Но что поделаешь, если гарнизонная диктатура требует гарнизонной религии и милитаризованной, так сказать, теологии? Объясняя свою «теологию борьбы», Кургинян безапелляционно формулирует: «Ее идея — борьба Света и Тьмы, как предельно напряженный поединок без исхода, гарантированного где-то свыше, без, образно говоря, «хеппи энд»»⁵⁸. Тем, кто не в силах сам разобраться, кто в этой вечной войне без хеппи энда играет роль Света, а кто Тьмы, создатель новой веры сообщает крупным шрифтом: «РУССКАЯ ИДЕЯ И РУССКИЙ

МИФ... СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДИННОЙ ЕВРАЗИИ... ОПРЕДЕЛЯЯ СЕБЯ КАК ЦАРСТВО СВЕТА, И НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ»⁵⁹. Ну, а Тьма, понятно, отождествляется с «голой механистичностью Запада»⁶⁰.

Итак, мы уникальны в мире, мы лучше всех, мы выше всех, мы — Свет, а враги наши — Тьма. Наше право диктовать свой милитаристский, антипотребительский «суперпроект» остальному миру безусловно и священно. Как же по-другому трактовать теологическое обоснование «прорыва»? Это — теология смертельной конфронтации с миром. И если бы даже она не перекликалась напрямую с официальной нацистской пропагандой, все равно было бы видно, что перед нами «сакральное поле» фашизма.

Кто хуже?

Как беспощадно разносил Кургинян Дугина за то, что он заимствует «самую сердцевину германского национализма, его оккультно-мистическое ядро, антирусское дело»! Но заимствуют, оказывается,

оба — и притом одно и то же из одного и того же источника: те самые «тевтонские» сюжеты, на которые писал свои оперы Рихард Вагнер. Разница в том, что Дугин не стремится пересаживать эти мифы на отечественную почву, а Кургинян старается внушить «новой русской элите», что пусть Валгалла и далеко, но край-то она нашенький, родной, русский, «восточной ориентации».

Под этим теологическим расхождением лежит геополитическое. Дугин готов вступить в союз с бывшим европейским врагом во имя беспощадной войны против Америки. У Кургиняна война предстоит на два фронта — против Америки и против Германии. «Англо-саксонский мир, — говорит он, — хочет мирового господства, основанного на информационных технологиях, на отчуждении знающих от незнающих. У немцев модель более грубая, в большей степени базирующаяся на евгенике, на расовом подходе... Немецкая модель базируется на прямом транслировании воли элиты вниз, плебсу»⁶¹.

Это различие между двумя «моделями мирового господства» вовсе не означает, однако, что Кургинян готов подарить Дугину монополию на антиамериканизм. В конечном счете хрен редьки не слаще: Америка так же стремится к подчинению или даже разрушению России, как и Германия. Например, рассматривая вариант будущего «с постепенным выходом на поверхность [в Москве] монархо-патриотических формул в духе Солженицына», Кургинян вдруг замечает — совсем в «конспирологическом» стиле Дугина — что «именно такой вариант рассматривается военной разведкой США в качестве наиболее продуктивного средства уничтожения России и ее населения к 2003 году»⁶².

Нехорошо перебивать самого себя, но нет больше никакого терпения — я должен немедленно задать читателю вопрос. Может ли, с его точки зрения, какая бы то ни было американская государственная организация — военная ли разведка или кто угодно еще — выработать планы уничтожения великого народа? Пусть даже под покровом такой глубочайшей секретности, что ни публике, ни администрации, ни самому президенту ничего об этом неизвестно? А ес-

ли не может (в таком ответе я уверен), то как возникают у вполне вроде бы душевно здоровых людей такие чудовищные предположения? Да нет, какие там предположения — ведь все указано с документальной прямо-таки точностью: кто, в каком месте и к какой дате готовит смертоносный план.

А ведь не один только Кургинян — все московские оппозиционные генералы, как о чем-то само собою разумеющемся, об этом объявляют. Возьмем хоть Проханова. Во всем, казалось бы, он чужд мистическим завихрениям Дугина. Но едва речь заходит об Америке, начинает говорить на том же параноидальном языке:

«Когда говорят, что нас хотят превратить в сырьевой придаток, это звучит слишком вяло и мало что объясняет. Речь идет именно о **НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**. А это гораздо сложнее. И страшнее... Здесь хотят расчистить территорию, хотя и не до последнего человека, и на этих пространствах, на этом человеческом материале строить совсем другую цивилизацию: нечто сравнимое с новой Вавилонской башней... Ни Европа, ни Америка для таких масштабных усилий не годятся, там все слишком устойчиво. А вот у нас, где все так рыхло и так странно, где такая живая почва и живой, неизрасходованный этнос — здесь замышляется какое-то гигантское, чудовищное творение... Контуры этого творения — жуткие. Уже известно о существовании плана под названием “Кольца Сатурна”. План родился в США [и] предусматривает создание многомерного, кольчатого, “телескопического” социума. В нем будет существовать внутренний “круг” элиты-олигархии, будет внешняя зона, периферия, дальняя периферия и т. д. Разным “кольцам” будут соответствовать разные статусы, разные стандарты жизни, разные нормы морали и поведения, разные уклады, системы ценностей. В центре же, куда будут сходиться “кольца”, уже “греют гнездо” для узкой касты новых жрецов. Для служения ей уже намечен план стремительной переброски в страну “третьей волны” эмиграции [еврейской]: все, что побывало ТАМ, будет уложено в один узкий пласт ЗДЕСЬ. И в среде этого возвращенного социума будет созидаться новая олигархия или новый **ОЛИГАРХ**»⁶³.

Мурашки по коже — словно Оруэлл читаешь. Но эта фантазматория интересна тем, по-моему, что в ней содержится ответ на все наши вопросы. И он до смешного прост: эти люди не имеют ни малейшего представления об Америке. Но уверены, что имеют, — и гораздо более ясное, чем мы с вами. Их сознание не способно уловить разницу между действующей демократией и тоталитарной тюрьмой, где они выросли. Они не знают, что бывают другие страны. Они искренне считают, что любая сильная страна, как Америка, способна на все, включая уничтожение России и строительство в ней «колец Сатурна».

Этот чисто психологический феномен вырастает в политическую проблему первостепенной важности, несопоставимо более серьезную, нежели сбои в приватизации промышленности или бюджетные зловключения российского правительства. Ибо в психологической войне, раздирающей сегодня Россию, это фундаментальное невежество превращается в оружие огромной мощи. Оно безнадежно отравляет

сознание «патриотических» масс, в особенности молодежи. Оно позволяет оппозиции завоевывать российскую образовательную систему, готовя из школьников и студентов кадры для веймарского взрыва.

Вернемся, однако, к нашим баранам. Мы остановились на том, что Кургинян не делает различий между американской и германской «моделями мирового господства». Для него обе хуже, раз уж обе ведут к одному — к уничтожению России. Вот и нам, вероятно, придется по-хожим выводом завершить разговор о том, кто же хуже — «плохой» националист Дугин или «хороший» националист Кургинян?

Когда Кургинян говорит об американских планах уничтожения России к 2003-му, разве это не язык Дугина? Когда он признается, как восхищают его «орденская структура» и «теократические» амбиции большевиков, разве не повторяет он аналогичные признания Дугина? Неважно, что Дугин приписывает эту «рыцарскую» мораль нацистам, а Кургинян — коммунистам. Ведь в обоих случаях речь идет об элитах тоталитарных.

Но еще глубже и страшнее это духовное братство враждующих — смерть «патриотических» идеологов проявляется в их полностью совпадающей устремленности к национальному саморазрушению.

Что говорит Дугин об императивности новой Пунической войны и сокрушения «нового Карфагена» — Америки, мы помним. Но ведь и Кургинян утверждает, что «Россия не может стоять в стороне от борьбы за мировое господство»⁶⁴ и что «судьба России не может быть мирной»⁶⁵. Ведь и он оправдывает и прославляет милитаризм не только каждым словом, но и каждым вздохом — и в своей «теологии борьбы», и в своих философско-исторических рассуждениях о природе России как «страны воинов»⁶⁶, и наконец, в прямой политической полемике с западниками: «Милитаризм осуждается сегодня демократами как главный порок России. Россия имеет право ответить на это "Да уж какая есть, другой не стану. Не захочу, а если и захочу, то вряд ли смогу"». И Россия была бы права, ответив подобным образом»⁶⁷.

Смысл «консервативной революции» один и тот же — и у Кургиняна, и у Дугина. Посреди бушующего океана исторических изменений, захлестывающих современный мир, Россия должна оставаться заповедным островом, твердыней, увековечившей в неприкосновенности дух, который довлел над ней столетиями — дух империи, казармы, гарнизонной диктатуры. Это они понимают под «консерватизмом».

А под «революцией» подразумевают окончательное искоренение того порыва к свободе и возвращению в европейскую семью, которым, тоже столетиями, охвачена была русская интеллигенция, отчаянно сопротивлявшаяся автократии.

Опять — Россия против России.

Вверх по лестнице, ведущей вниз

И в жизни отдельных людей, и в жизни великих наций бывают моменты, когда им приходится отвечать на вызов истории — либо соглашаясь на фундаментальные метаморфозы, либо выпадая из тележки. Такой момент истины переживали после второй мировой войны побежденные, дезориентированные и страдающие Германия и Япония. Они тоже могли ответить истории: «Да, уж

такие мы, какие есть, милитаристские и автократические. И не хотим мы меняться. А если и захотим, то не сможем». Но, несмотря на сопротивление своих «консервативных революционеров», они захотели и главное — смогли измениться. И они победили — именно потому, что не послушались своих воинственных гуру.

Почему же Япония смогла, а Россия не сможет? — напрашивается вопрос. Но мы лучше спросим, почему Кургинян и Дугин так упорно не желают покоя измученной стране? Почему, подобно Жириновскому, неустанно трубят они новый поход, новую конфронтацию, новый самоубийственный «прорыв»?

Ответ, как мы с вами уже знаем, известен еще с прошлого века, когда крупнейший русский философ Владимир Сергеевич Соловьев графически описал эволюцию имперского национализма, выстроив свою лестницу: «Национальное самосознание — национальное самодовольство — национальное самообожание — национальное самоуничтожение».

Как только, не удержавшись на первой ступеньке, человек скатывается к национальному самодовольству — превращается из нормального патриота своей страны в профессионального «патриота» в кавычках — ничто уже не может остановить его рокового скольжения вниз.

Между 1922 и 1945 гг. германские учителя Дугина прошли все четыре ступени «лестницы Соловьева». Они разрушили свою страну, продемонстрировав трагическую правоту этой метафоры.

А на какой ступеньке наши «консервативные революционеры»? Провозгласить себя «страной Света», а всех остальных «Тьмой» — пожалуй, для самодовольства многовато. Это уже самое настоящее самообожание. По Соловьеву — предпоследний этап, финишная прямая.

Обидно так думать об умном, талантливом и гостеприимном человеке, каким остается для меня Кургинян, но я не верю, что по «лестнице Соловьева» возможно обратное движение.

Как будет уничтожен новый Карфаген

Документ, с которым я хочу познакомить читателя, не заслуживает отдельной главы. Но разговор об оппозиционной идеологии он завершит достойно.

Мы выслушали многих духовных наставников и пропагандистов имперской идеи.

Их отношение к Америке, их далеко идущие мечты — для нас уже не секрет. Но до сих пор ни одна из рассмотренных нами концепций не содержала в себе конкретного плана — как, какими средствами исполнит эту свою великую миссию новоявленный Рим.

Планы такие, однако, существуют, и если мы мало знаем о них, то только потому, что в близких нам по духу изданиях они действительно не публикуются. Аудитория же оппозиционной периодики уже давно в курсе дела.

Итак, рекомендую: Олег Платонов, профессор, москвич, автор книги «Русская цивилизация». В номерах 27-28 за 1993 г. «Русский вестник» напечатал разработанный им подробный план уничтожения Нового Карфагена под заголовком «У Америки нет будущего».

«Америка находится накануне краха, она потеряла сдерживающие центры, союз с ней сегодня не менее опасен, чем союз с фашистской Германией в 1939 году.

В течение ближайших десятилетий США прекратят свое существование как целостная территория и консолидированное население. Если это будет пущено на самотек, то разрушение Америки может быть трагично для человечества. Поэтому человеческое сообщество должно начать встречное движение и осуществлять регулирование этого катастрофического процесса по всем линиям будущего разлома США, национальной, расовой, финансовой, экономической, экологической и международной... Регулирование будет осуществляться через воздействие на слабые точки империи зла.

Государства и народы мира должны всеми возможными путями создавать инфраструктуру сопротивления Соединенным Штатам, прежде всего посредством устройства специальных центров, работающих на их разрушение, осуществляющих разработку долгосрочной стратегии этого процесса и проведение непрерывной и массовой пропаганды через средства массовой информации. Необходимо постоянно, на наглядных примерах показывать преступный и паразитический характер Америки, нищету ее жизненных ценностей, духовно-нравственное убожество большей части американцев.

Национальный разлом. Очерчивая линию национального разлома, прежде всего следует всемерно поддерживать и инициировать силы регионального сопротивления на отдельных территориях США, особенно в индейских резервациях, на Аляске и Гавайях, а также в таких регионах, как Техас, Нью-Мексико, Флорида и других южных штатах, ориентируя эти силы на создание суверенных независимых образований.

Практическая работа должна вестись путем создания, обучения, финансирования групп сопротивления из числа местных жителей, воспитания лидеров освободительных движений на национальных и оккупированных Америкой территориях. В частности, на Аляске необходимо формирование политического движения за ее освобождение от американской оккупации и придания ей статуса самостоятельного государства, дружественного России. Настало время для создания на территории Америки ряда национальных индейских республик, обладающих суверенными правами. Эти республики должны иметь границы гораздо шире нынешних индейских резерваций и включать в себя земли, незаконно захваченные белыми.

Правоммерно и справедливо создание и поддержка повстанческих движений из мексиканцев за возвращение в состав Мексики ее северных территорий, незаконно захваченных США.

Тяжелое материальное и моральное положение угнетенных национальных меньшинств Америки должно быть объектом постоянного внимания со стороны мирового сообщества вплоть до создания особого Меморандума об угнетенных народах США, а также применения к США экономических, политических и прочих санкций.

Расовый разлом состоит в непреодолимом антагонизме между белыми и потомками черных рабов, до сих пор подвергающихся расовой дискриминации.

Необходимо оказывать содействие негритянским движениям в их борьбе за справедливость, а также за создание негритянских самоуправлений в мес-

тах численного преобладания негритянского населения, например, в Нью-Йорке, имея в виду в дальнейшем их поэтапную суверенизацию в пределах соответствующих штатов.

Финансовый разлом неизбежен и неминуем в силу особенностей денежной и ценовой политики Америки. Скорее всего он произойдет стихийно, но может быть и регулируем. Для этого необходимо, во-первых, способствовать разрушению фиктивной стоимости доллара посредством организации «бегства» от него путем выброса на рынок крупными партиями в трудный момент и последующего отказа от операций с ним, создания биржевой паники с характерной цепной реакцией. Во-вторых, стремиться к реформе мировых цен на сырье и топливо путем включения в них налогов на предполагаемую прибыль в конечном продукте, а также налогов на восстановление окружающей среды в пользу стран-экспортеров.

Экономический разлом вызван усиливающимся несоответствием между гонкой потребления и ресурсными возможностями человечества. Американская экономика как машина, пущенная с горы без тормозов, не может остановиться, так как не имеет механизма самоограничения. Возможности экстенсивного развития исчерпаны... Поэтому, чтобы кормить молоха своей потребительской экономики, США придется еще больше отбирать у других, что в нынешних условиях затруднительно.

Многие десятилетия ориентируясь преимущественно на экономическое ограбление других государств, манипулируя с мировыми ценами и фиктивной стоимостью доллара, США неуклонно теряли позиции лидера в высоких технологиях... Из-за острого несоответствия своих экономических возможностей и постоянно возрастающих потребительских требований уже во второй половине 90-х годов США войдут в полосу затяжного экономического кризиса.

Международный разлом является следствием агрессивно-потребительской политики США по отношению к другим странам, многие жители которых понимают паразитический характер Америки. Между США и абсолютным большинством других стран происходит углубление противоречий, снять которые Америка не в состоянии в силу своего внутреннего устройства.

На сегодняшний день Америка, пожалуй, самое тоталитарное общество на планете, и преобладающее число американцев... придерживается одной-единственной точки зрения на многие общественно важные предметы. Где вы найдете еще такую страну, население которой 300 лет голосовало только за одну из двух партий? Выборы без выбора, чтобы возвести на высшую должность очередного ковбоя или плейбоя с внешностью и повадками манекена, обещающего американцам еще больше денег и товаров за чужой счет. Американские президенты — это череда манекенов, характерным признаком которых является отсутствие всякой личности, всякого духовного начала... Мир марионеток-автоматов, управляемых невидимой «закулисой», жалкий и недееспособный с высот истинной человеческой культуры... Когда видишь репортажи с американских партийных съездов, то почему-то сразу же вспоминаются сцены нацистских съездов — возбужденная толпа, скандирующая и топающая, объединенная одним марионеточным чувством к марионеточному фюреру или президенту, по человеческой потенции абсолютному нулю.

Заменителем настоящей культуры в американском обществе стали кино и телебизнес, символом которого являются дегенеративные личности, подобные Шварценеггеру или Сталлоне, воплотившие всю серость, банальность и примитивность американского кино... Фильмы, за которые сегодня в Америке дают высшие премии — выражение регресса в общечеловеческой культуре, ибо они превращают человека в дегенеративное существо, оперирующее примитивными понятиями.

Такое состояние духа и есть фашизм.

По данным председателя КГБ СССР В. Крючкова, в 60—70 годы американские спецслужбы осуществили вербовку целого ряда советских партийных и государственных чиновников, занявших позднее видные посты в партии и государстве. На средства ЦРУ создается целый ряд псевдообщественных фондов и организаций... осуществлявших разработки программ по дестабилизации положения в России, а также выпускается масса подрывной антирусской литературы, как, например, писания радикального русофоба А. Янова... Пришедшие к власти «демократы» стали выразителями «национальных интересов Америки» в России.

После разрушения СССР Америка уже не имеет никаких серьезных ограничений на пути к мировому господству, происходит катастрофический крен в сторону создания силовых террористических структур, раковой опухолью охвативших весь мир, которую сегодня испытывают на себе народы Ирака, Балкан, Сомали... частью таких силовых структур становится Организация Объединенных Наций.

Чингиз-хан и Гитлер с их антигуманными системами были обречены, потому что противоречили природе человека. Именно поэтому фатально обречена и Америка, именно поэтому у нее нет будущего».

Разумеется, страстные тирады Платонова так же злобно невежественны, как антисемитские пассажи Гитлера. И конечно же, покуда за ними не стоит мощь ядерной сверхдержавы, нацеленной на уничтожение Америки, как нацелена была мощь Германии на уничтожение еврейства, на них можно просто не обращать внимания. Но пока гарантий, что после Ельцина реваншистам не удастся овладеть Кремлем и пустить в дело ненавистнические планы, мир не имеет.



4 ЧАСТЬ

ОППОЗИЦИЯ В ДЕЙСТВИИ



Глава одиннадцатая

Генералы и их армия

На протяжении многих страниц перебирали мы аргументы идеологов оппозиции, пытаюсь прояснить для себя мотивы, по которым все они столь решительно отвергают демократию — как будущее России и мира.

И в то же время, мы видели, политики оппозиции так далеко не идут. По крайней мере, в своих декларациях.

Пусть не сразу, а лишь после продолжительного авторитарного антракта, но демократию России они обещают. Пусть не западную, не многопартийную, а мифическую «истинно русскую», но все-таки демократию. Даже самый бескомпромиссный из них, Владимир Жириновский, и тот назвал свою партию либерально-демократической.

Зачем им это нужно — догадаться не трудно.

Как ни презирают они колеблющееся прозападное большинство, склонить его на свою сторону им все-таки необходимо. Без этого психологическую войну им не выиграть.

Как ни противен им Запад, они все же хотят выглядеть в его глазах не бандитами с большой дороги, а респектабельными «нео-консерваторами», с которыми можно иметь дело. Они знают слабость западных консервативных политиков к умиротворению агрессора во имя международной стабильности. Глупо было бы, с их точки зрения, этой слабостью не воспользоваться. Тем более, что у западных политиков нет, они надеются, никакого способа проверить искренность их «консервативно-демократической» риторики.

На самом деле, однако, способ такой существует. Но очевиден он становится, лишь когда мы не ограничиваемся обсуждением их риторики, а рассматриваем оппозицию в действии.

Кроме идеологов и политиков, у правой оппозиции есть еще два компонента — это люмпенские массы и уличные вожаки, которым эти массы доверяют больше, чем всем оппозиционным генералам вместе взятым.

И пока на сцене не возникает «патриотическая» толпа, та самая армия, которую генералы намереваются вести на штурм Кремля — можно сказать, что мы еще оппозицию не знаем.

Самым причудливым образом возродилась сегодня в рядах оппо-

зиции вечная и мучительная русская проблема взаимоотношений между интеллигенцией и народом, между патрициями и плебсом, между теми, кого д-р Гумилев назвал бы «пассионариями», и их последователями. И только разобравшись в этих взаимоотношениях, можем мы охватить взглядом все пространство психологической войны и, в частности, определить, насколько искренни в своих «консервативно-демократических» декларациях политики оппозиции.

Начать придется издали, с времен уже отшумевших, изжитых, а многими, возможно, и подзабытых. С лета 1992-го, когда в Москве произошли два события, показавшие эту связь в неожиданном повороте.

«Единение с народом»

О первом из них мы уже довольно подробно говорили в третьей главе. Я имею в виду торжественное открытие в центре Москвы Русского национального собора, где заседала «патриотическая» интеллигенция, ее цвет, ее надежда — включая двух бывших кандидатов в президенты России.

«Писатели-патриоты Василий Белов и Валентин Распутин соседствовали с бывшими любимцами прозападных демократов Юрием Власовым и Станиславом Говорухиным. В президиуме съезда сидели рядом узник КГБ девяностолетний Олег Волков и генерал КГБ Александр Стерлигов, академик-диссидент Игорь Шафаревич и некогда член Политбюро Российской коммунистической партии Геннадий Зюганов, генерал-полковник Альберт Макашов и лидер неармейской военизированной организации Александр Баркашов. На съезде можно было увидеть ослепительную актрису Татьяну Доронинову и суровых донских казаков, известного всей стране [телерепортера] Александра Невзорова и не страдающих от популярности промышленников и предпринимателей. Вблизи от главного редактора ленинской “Правды” кресло в зале занимал главный редактор антиленинского журнала “Наш современник”»¹. Как видим, автор этой заметки, оппозиционный журналист, старался не только подчеркнуть значительность состава, но и сделать перечень торжественным символом единения оппозиционной элиты, братания ее волков с ее овцами перед лицом общего врага.

Другим событием был митинг «патриотических» масс в Останкино, у телецентра, переросший в многодневную осаду, и 22 июня, в годовщину начала нацистского нашествия на Россию, закончившийся жестокой схваткой с милицией. Тут собрались солдаты оппозиции, тысячи простых нетитулованных оппозиционеров, пришедших под красными знаменами «Трудовой России» Виктора Анпилова и черно-золотисто-белыми — Русской партии Виктора Корчагина.

Совпадение двух этих событий, собственно, и планировалось идеологами оппозиции как еще один грандиозный символ — на этот раз единения интеллигенции с народом, генералов с армией. Было даже официально объявлено, что «во второй половине дня [12 июня] делегаты съезда присоединятся к митингу»². Как объяснял читателям репортер «Дня» в статье с набранным аршинными красными буквами поперек всей первой полосы заголовком «Русские идут», «12 июня

стало днем, когда впервые русские интеллигенты и рядовые русские рабочие объединились вместе не для того, чтобы защищаться от погубительной власти, а чтобы идти на нее в атаку... Отныне русская интеллигенция готова не только критиковать оккупационный режим, но и бороться с ним. Готова она искать и единения с народом»³.

Разумеется, и дата события была символической. Ровно год назад, 12 июня 1991 г., народ России впервые в истории избрал свободным голосованием своего президента. Русский Собор вместе с митингом в Останкино предназначен был опротестовать этот выбор народа.

МИТИНГ

Речи с трибуны Собора были тоже символическими. О единении были речи: интеллигенции с народом, левых с правыми, белых с красными. Один из молодых идеологов оппозиции Сергей Казеннов

так их по свежим впечатлениям суммировал: «Не на второй, на десятый план [должна отойти] извечная вроде российская проблема левых — правых, красных — белых. Причем это отнюдь не должно быть “временным перемирием” в период борьбы с общей угрозой. Участникам различных движений, входящих в ОПО [объединенную патриотическую оппозицию], давно пора понять, что их разделяют символы прошлого, но отнюдь не задачи будущего»⁴.

А теперь посмотрим, о чем были речи в Останкино — о «задачах будущего» или о «символах прошлого». Нам поможет в этом прекрасная запись русской эмигрантки Марины Хазановой, оказавшейся в эти дни в Москве.

«Когда я подошла к площади возле телецентра, там уже стояли тысячные толпы с сотнями лозунгов. Я стала обходить группы и читать лозунги. Вот наиболее типичные: “ТВ и радио — публичный дом. Заражение сионизмом гарантируется”, “Сплотись, обманутый народ, и с трона свалится урод”, “Проклятье матерям, давшим жизнь ублюдкам Горбачеву и Ельцину”». Далее Хазанова рассказывает о речи генерала Макашова, прибывшего на митинг с Собора. Он «сразу заявил, что, увы, ему очень не повезло, так как его угораздило родиться 12 июня, в день национального позора России. Толпа начала скандировать “Ельцин Бушу продал душу”, а потом “Долой Ельцина!” и “Да здравствует Макашов!”»

Генерала сменил поэт Гунько, поставивший толпу в известность, что “Ельцин — фекалии партии, и он отравил ими всю страну... Иудушка Ельцин предал нас. Но Иуда, по крайней мере, удавился. А этот палач народа удавит нас”. И опять толпа скандировала “Долой Ельцина! Долой! Долой!”

Я видела, как увеличивается заряд ненависти, как наливаются яростью лица, как сжимаются кулаки... Чуть поодаль стояли чернорубашечники, представители Союза русской молодежи. Когда я подошла, слушателям предлагалось записываться в отряды народного ополчения, дабы бороться за восстановление на престоле русского православного царя, а не... жидовских наймитов. Поднятые над толпой лозунги предлагали удушить одной веревкой Абрама Яковлева и Козырева Андрея Абрамовича [речь об архитекторе перестройки

Александр Николаевич Яковлеву и министру иностранных дел Андрее Владимировиче Козыреву]. И здесь тоже скандировали "Иуду повесить!" и размахивали хоругвями с изображением Христа...

Эмоции накалялись. Толпа с криками "Долой жидов с телевидения!" кинулась штурмовать телецентр. Началась потасовка с милиционерами. Какая-то взлохмаченная дама с глазами, вылезавшими из орбит, лупила древком знамени милиционера, который не пропускал ее в здание телецентра. Группа рядом со мной старалась разбить линию металлических барьеров и громко кричала "Сионистов к ответу!" и "Где прячется жид Яковлев?" [Здесь уже речь о Егоре Яковлеве, тогдашнем председателе телерадиокомпании].

После драки с милицией группа митингующих прорвалась в телецентр и была принята Егором Яковлевым, который согласился начать переговоры, но в понедельник, 15 июня. На следующее утро Марина Хазанова вернулась в Останкино.

«Перед моими глазами рядом с телецентром раскинулся палаточный городок, обвешанный лозунгами... Я задала вопрос одному из палаточников: "Скажите, пожалуйста, а что вы сделаете, если вам не дадут время на телевидении?" Ответили однозначно: "Перебьем всех жидов".

... В это время от дверей телецентра послышалось много раз повторенное: "Жид, жид, жид". Я бросилась туда. По обе стороны от входа в две шеренги стояли субъекты, часть которых не вполне твердо держалась на ногах. Они рекомендовали себя представителями Русской партии. Каждый входящий и выходящий из телецентра подвергался оскорблениям. При мне девушка явно славянской внешности попыталась не идти сквозь строй, а выскочить сразу наружу. Не тут-то было, партийцы взяли за руки и прогнали голубоглазую красотку под крики "жид" через весь коридор. Большинство телевизионщиков шли сквозь строй молча, стараясь не поднимать глаз. Я стояла около получаса и ничего, кроме выкриков: "Жид, убирайся в Израиль!" — не слышала. Скандировали громко, с лихостью, чувствуя свою безнаказанность... Существует мнение, что пикетчики только и мечтали о том, как спровоцировать власть, как обрести своих мучеников, о которых заговорит весь мир, а власти не хотели им дать эту возможность и поэтому бездействовали. Дальнейшие события во многом подтверждают эту версию. Но все-таки миллионы людей видели по телевизору, как избивали милиционеров, как издевались над телевизионщиками, как громили плевали женщинам в лицо, как журналистов избивали палками за то, что они старались вступить за женщин...»⁵

Две гипотезы

Контраст — вот что, наверное, прежде всего бросается в глаза. Цветовой, если угодно, контраст. «Красно-белые» генералы и кабинетные стратеги произносят благочестивые речи о единении с «патриотическим» народом, собравшись в центре Москвы, в то время как этот самый «патриотический» народ беснуется поодаль в приступе фашистской эпилепсии. Не было в Останкино ни «красных», ни «белых» — одни «коричневые». И язык, на котором они говорили, был

язык расовой войны: «Жид! Жид! Жид!» Все для них «жиды» — и «Абрам Яковлев», и «Абрамович Козырев», и даже «Барух Эльцан» (Борис Ельцин). Оказалось, что солдаты оппозиции, завербованные своими уличными вождями, просто не знают другого политического языка.

Конечно же, «пассионарии» Собора, вопреки обещаниям, не присоединились к митингу. Только командированные визитеры, как «красно-белый» генерал Макашов, которого упомянула Хазанова, или Проханов, или Жириновский со своим стандартным заклинанием «не забывать о нашем последнем средстве — ядерном шантаже»⁶. Ни один из них не сделал ровно ничего, заметьте, чтобы унять разбушевавшуюся люмпенскую толпу.

Короче, генералы и армия говорят на разных языках, мыслят в разных терминах и даже окрашены в разные цвета. Как объяснить этот поразительный контраст?

Тут возможны две гипотезы.

Первая. «Красно-белые» генералы не контролируют свою «коричневую» армию. Стоит ей выйти на простор самостоятельного действия, она начинает жить своей отдельной, совершенно независимой от них жизнью.

Если эта гипотеза верна, «патриотическая» интеллигенция играет с огнем. Ибо, когда ей удастся выпустить из бутылки «коричневого» джинна, он, руководимый своими уличными вожаками и инстинктивным животным антисемитизмом, сметет ее со своего пути вместе со всем ненавистным ему «малым народом». Ибо политического языка он не понимает. Только расовый. Понравится ей «Абрам Макашов» или «Абрамович Проханов»? К этому вопросу, впрочем, мы еще вернемся.

Вторая. К этой гипотезе все больше склоняется либеральная публика в Москве. Никакой пропасти между «красно-белой» интеллигенцией и «коричневыми» массами на самом деле не было. Было разделение труда. Одни произносили парламентские речи и разыгрывали спектакль единения «белых» с «красными», вербуя таким образом колеблющееся большинство. А другим просто не было нужды маскироваться, вот они и раскрыли истинную сущность оппозиции. Да и не умеют люмпены притворяться, как убедилась 3 октября 93-го вся страна.

Одним словом, фашизм — и вверху, и внизу. Как позже, после кровавых событий 1 мая 93-го, сформулировал известный московский либеральный юрист Андрей Макаров, «многие люди, несмотря на предупреждения, не верили, а может, просто не хотели верить, что фашизм в нашей стране возможен. 1 мая мы увидели, что и в России он стал реальностью»⁷.

Хазанова увидела это в Останкино. Другие, включая бывшего вице-президента Руцкого, в феврале 92-го, на Конгрессе гражданских и патриотических сил в кинотеатре Россия, о чем речь у нас впереди. Третьи, включая зрителей CNN во всем мире, во время октябрьского мятежа. А многие и задолго до всего этого — накануне путча в августе 91-го.

Вы не можете себе представить, с какой страстью предостерегали меня мои московские либеральные друзья, когда в 1991 — 92-м проводил я свою серию диалогов с лидерами оппозиции. Согласился

быТомас Манн встретиться с Гитлером?— допрашивали меня перед встречей с Прохановым. Другие опасались, что после встречи с Зюгановым или с Жириновским уважающие себя москвичи перестанут подавать мне руку.

Я все-таки встретился, как знает читатель, с этими людьми. И со многими другими. Встречался в первую очередь потому, что не верил — и по-прежнему не верю — во вторую гипотезу. Не думаю, что все генералы оппозиции — «коричневые». Именно поэтому непременно нужно было мне разобраться, что же в таком случае ими движет, как далеко готовы они пойти, опираясь на «коричневую» люмпенскую армию и сотрудничая с ее вождями. Нужно было выяснить, с кем из них можно найти если не общий язык, то хотя бы общую почву для диалога. Кого можно, а кого нельзя рассматривать как «неоконсервативную» силу? Как конструктивную, если угодно, оппозицию? Если не среди «красных», то, может быть, среди «белых»? Или «красно-белых»? Или хотя бы среди «перебежчиков»?

У всех своих собеседников я спрашивал: замечают ли они, что на все их отчаянные призывы спасти Россию откликаются лишь те, кто знает один только способ спасения — бить жидов? А если замечают, то не озадачивает ли их эта жуткая закономерность? И не страшно ли им опираться на фашистов, если там, где фашисты, всегда кровь, только кровь и ничего, кроме крови?

Ни одного прямого ответа я не получил.

«Один народ, один рейх, один фюрер»

Верю я в нее или нет, но вторая гипотеза достаточно прочно подкреплена фактами и свидетельствами. Некоторые из них относятся к тем же двум событиям лета 92-го.

12 июня, отправляясь с Собора в Останкино, Александр Проханов заявил: «У нас один враг, одна мировая сионистская гидра нас гложет и жрет»⁸.

В те же дни, на том же Соборе заслуженный «патриот», непримиримый парламентский боец оппозиции Николай Павлов упрекнул коллег: «90 процентов собравшихся здесь ругают, извините, евреев, и только 10 процентов учат русских, что надо делать»⁹. Его освистали и затопали.

Наблюдение Ольги Бычковой, корреспондента «Московских новостей»: «Все, что составляло обязательный фон выступлений на Соборе, что пережевывалось в кулуарах, прорывалось в докладах, но не вошло в программные документы... осело на останкинских турникетах»¹⁰.

А печать? Газеты и журналы оппозиции? Может быть, и не генералы их редактируют, но уж наверняка и не темные люмпены. Было подсчитано, что «в одной только Москве издается свыше 30 газет и 6 журналов фашистской и антисемитской направленности... В Вологде, Екатеринбурге, Златоусте, Иркутске, Магадане, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Тюмени, Махачкале, Днепропетровске, Минске, Новгороде выходит еще 18... Суммарный тираж только сугубо антисемитских изданий достигает, по некоторым данным, нескольких миллионов экземпляров»¹². «Направленность» — слово спокойное,

академическое. А открыли бы вы столичную газету «Русское воскресение», которая выходит под девизом «Один народ, один рейх, один фюрер» и публикует «Справочник патриота-черносотенца» с подзаголовками «Жиды», «Жиды у власти» и «Гитлер — человек высокой морали»¹²!

И «бравые ребятки», как называет боевиков, Татьяна Яхлакова, один из самых чутких либеральных журналистов, — это тоже уже не толпа. «Одни собирают подписи за импичмент президенту, другие тем временем формируют штурмовые отряды. Рядом с боевиками «Памяти» уже подрастают «волонтеры» Национально-республиканской партии (НРПР),¹³ «рабочие дружины» РКРП (Российской коммунистической рабочей партии),¹⁴ казацки формирования РОСа (Российского общенародного союза)¹⁵ и, что существенней, готовый рекрутироваться под патриотические знамена люмпен-резерв, пока еще играющий безобидную роль клакеров вокруг Анпилова и К°. Кто даст гарантии, что эти brave ребята не пойдут в один прекрасный день крушить офисы и квартиры «новой буржуазии», как это уже сделали с машинами иномарок возле Останкино?»¹⁶

Действительно, контраст исчезает. Всю оппозицию, получается, можно подать в одной цветовой гамме.

Но не будем спешить с выводами.

Красный Дантон

Пора познакомить читателя с четвертым компонентом оппозиции — с промежуточным звеном между «красно-белым» генералитетом и «коричневой» армией, с уличными вождями люмпенской толпы.

Здесь есть из кого выбрать. Александр Баркашов и Виктор Корчагин, провозгласившие, что все беды России — от евреев и учиненного ими «геноцида русского народа», лидер НРПР Николай Лысенко с его мечтой о «великой империи» — каждый по-своему интересен, а иные уже и до генералов дослужились. Возьмем, пожалуй, самого популярного из этих вождей.

Еще до октябрьского мятежа, в котором он, естественно, играл одну из главных ролей, «неистовый Анпилов», как характеризовала его «Правда», был признанным организатором коммунистических масс, Красным Дантоном, если угодно. В отличие от ренегатов «Памяти» Лысенко или Баркашова, он клялся «пролетарским интернационализмом» и, как мы скоро увидим, очень обижался, когда его обвиняли в антисемитизме. И все-таки в минуту откровенности у него прорывалось: «Я хочу, чтоб слышали мой предостерегающий крик — как бы здесь не поддаться сионистскому течению современного мира... В этом смысле я больший националист, чем многие патриоты»¹⁷.

Философия Виктора Анпилова предельно проста: «Лично мне социализм дал все — я получил возможность бесплатно учиться, от ремесленного училища до МГУ. Считаю, меня выучил рабочий класс, а потому... клевета на наш строй, попытки приклеить ему ярлыки вроде «казарменного социализма», «империи зла», «тоталитарного государства» вызывают у меня внутренний протест»¹⁸. Вот и все. Человеку

недурно жилось в брежневском СССР (Анпилов был корреспондентом московского радио в Никарагуа), он хотел его вернуть и делал для этого все, что мог: мотался по митингам, произносил пламенные речи, поднимал массы на демонстрации, а если надо, и на штурм (и теперь на его совести кровь погибших). Он научился разговаривать с массами, он природенный уличный демагог.

«Белых» он презирает, считает их предателями: «Лидеры соборов, еще недавно бережно гладившие свой партийный билет и обеспечившие себе карьеру именно благодаря этому билету, вдруг заявляют о том, что им с коммунистами не по пути»¹⁹. В отличие от таких оппортунистов, Анпилов «уверен, что без советской власти не навести порядка в собственном доме»²⁰.

Об уровне его политической компетентности говорит хотя бы такой курьез. На одном из митингов он заверил толпу, что «оккупационному режиму» в Москве осталось жить не больше нескольких месяцев, поскольку в январе 1993-го «его главного спонсора Буша сменит в Вашингтоне товарищ Пьер Руссо»²¹.

Почему «красный» Анпилов систематически предводительствовал на «коричневых» вакханалиях? Ну, а почему бы тогда не спросить, как это он умудряется считать себя и пролетарским интернационалистом, и «большим националистом, чем многие патриоты», одновременно? И почему не сомневается, что техасский миллиардер Пьер Руссо, то бишь Росс Перро, ему товарищ? Временами у меня складывалось впечатление, что Анпилов, живя архаическими догмами, просто не способен понять, что происходит — не только в мире и не только в стране, но даже у него перед глазами — в Останкино. Иначе вряд ли он мог бы настроичить в ответ на обвинения в шовинизме негодующую бумагу: «В связи с распространением средствами массовой информации клеветнических слухов, будто в Останкино идет борьба против евреев, движение “Трудовая Россия” считает необходимым заявить следующее. В Останкино под лозунгом “Слово — народу!” идет борьба против лжи, за честь и достоинство человека труда вне зависимости от национальной принадлежности»²². Действительно, «коричневые» шеренги, пропускавшие сквозь строй журналистов, называли жидами всех подряд — «вне зависимости от национальной принадлежности». Может, это его и ввело в заблуждение?

Таких вот людей выбросил на поверхность событий коллапс авторитарной цивилизации в России.

Страшный выбор

Когда у человека в голове такой сумбур, много с него не спросишь. К тому же, возможно, с точки зрения улицы, идеальный фюрер как раз и должен быть таким — «коричневым» коммунистом. Интереснее было задуматься о другом: почему настоящие «красные» интернационалисты, как, скажем, Алексей Пригарин, не отказались от «коричневого» союзника? Почему, наоборот, вместе с ним подписали заявление, лицемерная лживость которого уж для них-то наверняка была очевидна?

Скажу сразу: по той же причине, по какой «белые» националисты, как Проханов, не отреклись от Баркашова, а демократические «перебежчики», как Виктор Аксюциц — от Лысенко.

Потому что они от этих людей зависят.

Покуда они ведут интеллигентские разговоры или парламентские баталии, они могут казаться себе «красными» или «белыми» или, если хотите, «красно-белыми». Но едва оппозиция начинает действовать не в парламенте, а на улице, готовая, говоря словами репортера «Дня», «не только критиковать режим, но и бороться с ним», едва на сцене появляется ее «патриотическая» армия, как оказываются ее генералы перед страшным выбором. Ибо другой армии, кроме «коричневой», у них просто нет. Они не могут ни принять ее в свой круг, ни отказаться от нее — как бы ни была она им противна и страшна. Ибо без нее они генералы без армии.

Короче, все они — «белые» и «красные» одинаково — постоянно дрейфуют между Сциллой и Харибдой. Между «коричневым» иступлением люмпенской толпы, ведомой Анпиловым, Лысенко или Баркашовым, и гадким утенком послеавгустовского режима, хаотического, некомпетентного, насквозь коррумпированного, но все же способного открыть если не ворота, то, по крайней мере, калитку к принципиально неприемлемой для них демократии. Настоящей — а не мифической, «истинно русской». Другими словами между перспективой отечественного фашизма и перспективой «западной» свободы.

Я говорил об этом выборе с лидером «красных» Пригариним и с лидером «белых» Прохановым. Проханов был откровенней. Послушайте, что он мне сказал.

«Русский монстр» — То, что сделали с нами теперь, это же преступление! Свалить на голову авторитарной империи демократические институты — мы взорвались, мы уничтожены.

— Но ведь то же самое случилось с Японией, — возразил я, — и ничего не взорвалось.

— Нет, не то же самое. В Японии демократия была под контролем американских штыков .

— Но что же делать, если этих штыков нет?

— Дать нам, русским националистам, немедленный выход во все эшелоны власти, политики и культуры... И тогда мы этой угрюмой, закупоренной в массах русского населения национальной энергией, которая еще немного и может превратиться в энергию взрыва, может стать национальным фашизмом, будем управлять.

— Но Александр Андреевич, вы ведь сами признаете, что национальная энергия, о которой вы ведете речь, — дикая, фашистская, коричневая энергия. Откуда же у вас уверенность, что «тонкая пленка русской культуры», как называете вы себя и своих товарищей, справится с такой энергией? Вы ведь все время подчеркиваете ее хрупкость. Где в этом случае гарантия, что не найдет она себе других лидеров, покруче вас, скажем прямо, фашистских лидеров, которым

уже и вы сами покажетесь либералами и предателями национального дела? В конце концов жирондисты стали жертвами якобинцев, а меньшевики жертвами большевиков, несмотря на то, что вместе бо-ролись. Не может ли так случиться с вами?

— Конечно. Но ответственность за рецидив крайних форм русской национальной энергии несет не патриотическая интеллигенция, которая пытается дать ей канал, имя, лексику, культурные управ-ляемые формы, а та слепая, вульгарная политология, которая ря-дится сейчас в мундиры высоколобых шеваднадзе и яковлевых... Едва они уничтожат тонкую пленку русской культуры, русская наци-ональная энергия станет дикой. Она будет помещена в огромные индустриальные регионы бастующих заводов, в блатные зоны Си-бири, и оттуда вылезет русский монстр, русский фашизм, и вся эта омерзительная, близорукая, бесовская, победительная демократи-ческая культура будет сметена.

«Нам нечего терять»

И тогда я снова спросил его: не боится ли он сам этого «русского монстра»? Ведь кто бы ни помог ему вылезти, будет он страшен, скорее всего смертелен для России. В ответ услышал: «Мы уже ниче-го не боимся, мы живем после конца, мы прошли все гильотины, голгофы, нам не-чего терять».

Поскольку продолжалась эта дуэль больше двух часов, я не стану утомлять читателя дальнейшими подробностями. И так уже, думаю, ясно, что никакой Проханов не фашист, каким видят его московские либералы. Он игрок. Азартный, рискованный. Он нисколько даже не скрывает, что русский фашизм — его козырный туз. Он добивается власти, авторитарной, жестокой, если надо, руководимой «нацио-нальной идеологией», тем, что «на нашем сленге мы называем рус-ской идеей». Если для того, чтобы этой власти добиться, надо пойти на риск русского фашизма, Проханов пойдет. Он знает, что гарантий нет. Он ничего не просит и ничего не обещает. А уж что там может слу-читься с Россией, тем более с миром, его просто не занимает: «нам нечего терять».

Я задал последний вопрос: как он объясняет, почему обещанно-го взрыва до сих пор не произошло? Проханов ответил историче-ским примером: «Португальская революция закончилась тогда, ко-гда четыре миллиона португальцев, выгнанных из Анголы и Мозам-бика, вернулись домой — все, гвоздики кончились. Когда вернутся наши беженцы, они первые, денационализированные наши совки, которые совсем забыли, что они русские, поймут тогда, им на их, извините, заднице ремнем пропишут, что они русские, и они возбу-дятся даже чересчур, вот где заложена крайняя, даже фашистская форма»²³.

Мне хотелось бы, чтобы читатель запомнил эту связь между проб-лемой русских беженцев и русским фашизмом.

Эксперимент

Если хотите увидеть модель сегодняшнего «патриотического» политика — смотрите на Проханова, наиболее откровенного и уж безусловно наиболее красноречивого из всех. Нет, они не «коричневые», эти генералы оппозиции, — берусь это утверждать. Но прикованы к «коричневым», как каторжники к галере. Нет у них других козырных карт. И это делает их политику крайне негибкой, догматической.

Никто, как я убедился на собственном опыте, не в состоянии исполнять роль «конструктивной оппозиции» — ни «красные», ни «белые».

Остается им одно — выдавая нужду за добродетель, рекомендовать себя «просветителями» дикой люмпенской массы. Но и эта роль им плохо дается.

Впервые наглядно, экспериментально, если угодно, продемонстрировал это Конгресс гражданских и патриотических сил 8—9 февраля 1992 г. Организовали его «перебежчики» Виктор Аксютин с Михаилом Астафьевым. С их стороны это был очень смелый шаг, поскольку в глазах «патриотов» они — вчерашние демократы, лидеры интеллигентских мини-партий, каждая из которых вдобавок определяла себя как демократическую²⁴, — выглядели, естественно, «жидо-масонами». Но они верили в «просвещенный патриотизм», в то, что каким-то магическим образом им удастся отделить овец от козлищ, белых патриотов от «коричневых» дикарей — и от «красных» ихтиозавров.

Увы, еще задолго до созыва Конгресса обнаружилось, что затея мертворожденная. Не было у вчерашних «жидо-масонов» своей армии. Пришлось бить челом самому, с их точки зрения, умеренному из «коричневых» вожakov Николаю Лысенко, пригласив его в Оргкомитет.

Я был в кинотеатре «Россия» в день открытия Конгресса. У входа волновались «непросвещенные» патриоты. Подняв лес плакатов, протестующих против «демократов-сионистов», которые пытаются «оседлать патриотическое движение», они кричали «просвещенным» делегатам: «Вас обманывают!», «Вас заманивают в ловушку!» Но кинотеатр, в отличие от телецентра в Останкино, охраняли, поигрывая нагайками, молодцеватые казаки, в ту пору еще экзотическая новинка в Москве — и «непросвещенные» не решились штурмовать двери, остались на улице.

Впрочем, если бы их и пустили в вестибюль, они не обнаружили бы там никакой ловушки. Никто никого не пытался обмануть. Те же самые газеты продавались там, что и на всех «патриотических» сходках. И те же памфлеты, трактующие «использование иудеями христианской крови»: вместе с другими аналогичными сюжетами. Огромный плакат поперек вестибюля гласил: «Прости, распятая Россия!» И всякому желающему доступен был «Список палачей России». Короче говоря, я попал на стандартный «коричневый» митинг. Зря, право, волновалась у входа толпа. И зря преграждали ей вход. «Непросвещенные», безусловно, чувствовали бы себя здесь дома.

Ход конгресса полностью подтвердил это первое впечатление.

Речи организаторов зал встретил недоверчиво, настороженно. Оживился он, лишь когда на сцене появился вице-президент Александр Руцкой, присутствие которого было необыкновенно важно для организаторов. Оно легитимизировало все предприятие, служило гарантией, что не какие-то там безвестные парламентские «жидо-масоны», но сам верховный патриот страны готов возглавить нарождающееся движение «просвещенного патриотизма».

Говорил Руцкой, правда, плохо, сбивчиво. Те, кто писал ему доклад, явно не рассчитывали на эту напряженную, наэлектризованную аудиторию, ожидавшую скорее призыва к оружию, нежели академических экзерсисов. Зал заскучал. Но лишь до момента, когда вице-президент сделал роковую ошибку. Положившись на организаторов конгресса, он решил, по-видимому, что и впрямь попал в общество «просвещенных» патриотов, и употребил вполне невинный по меркам такого общества оборот: «Национал-шовинизм, черный экстремизм должны уйти в прошлое. Им не место в патриотическом движении».

И зал вдруг взорвался топотом тысяч ног. Он бурно протестовал против нанесенного ему оскорбления. Напрасно метался по сцене перепуганный Аксючиц, призывая бушующую аудиторию «уважать Россию и ее вице-президента». Зал не давал Руцкому закончить его академический доклад. «В Тель-Авиве выступай с такими речами!— неслось из зала,— Ступай в синагогу!»

Впоследствии организаторы попытались свалить этот непристойный скандал на чернорубашечников из «Памяти», неизвестно как пробравшихся в зал сквозь казачье заграждение. Но то было слабое оправдание. Ведь и после того, как чернорубашечники удалились, аудитория разразилась точно такой же истерикой, когда заместитель Аксючица по партии Глеб Анищенко обмолвился, что «шовинизм и национализм являются большевистской тенденцией, опасной для оппозиции». Точно такой же вопль: «Убирайся в Израиль!», «Сионист!», «Иуда!»— сотряс «Россию».

Тем этот исторический эксперимент и завершился. У «просвещенных» патриотов на «белом» Конгрессе не обнаружилось никаких отличий от «непросвещенных» в Останкино.

Армия оппозиции оказалась «коричневой» сплошь — и неисправимо.

Хвост, который крутит собакой

Оппозиционные генералы сами дают московской публике повод отождествлять их с этой черносотенной армией. Страшный февральский эксперимент в кинотеатре «Россия» не заставил их отшатнуться в ужасе от фашистской толпы. Напротив, большинство — и «белые», и «красные» —

с азартом отчаяния продолжали ее провоцировать. Это они сделали возможным Останкино в июне 92-го, а затем и в октябре 93-го.

Зная лично многих из этих людей, я понимаю, что бросаю им очень жестокое обвинение, но читатель и сам, наверное, помнит, как все это происходило.

Официальной целью первого останкинского мятежа, миром не замеченного, было требование дать оппозиции телевизионное время. Однако объявление в «Дне», претендовавшем на роль идеологического штаба этой акции, выглядело скорее как призыв к государственному перевороту. «На митинг приглашаются все, кто хочет предъявить иск президентской власти за бедствия сотен тысяч русских беженцев, за ограбление миллионов русских людей, за разрушение нашей экономики и разоружение нашей армии». О телевизионном времени — пока ни слова.

Читаем дальше: «Совет движения “Трудовая Россия” и Дума Русского национального собора призывают всех граждан страны сделать 12 июня днем общенародного сопротивления оккупационному правительству Ельцина». Более того, «не исключается возможность прямых выборов главы государства СССР».

И лишь под занавес, скороговоркой «митинг предлагается превратить в круглосуточное пикетирование телецентра, которое продолжится до тех пор, пока оппозиция антинародному и антинациональному режиму Ельцина не получит время для выступления по телевидению»²⁵.

Но при чем здесь, помилуйте, «иск президентской власти», а тем более выборы главы государства, если речь идет всего лишь о допуске к микрофону?

В том же номере «День» публикует декларацию 12 депутатов парламента: «Авантюрная политика президента России привела республику на грань катастрофы. Мы требуем... отрешения от должности президента Российской Федерации за предательство национальных интересов России». На той же полосе обозреватель газеты завершал свой еженедельный обзор приговором: «Ельцин — несчастье России». Анонимная сатирическая колонка оповестила публику, что «12 июня — день независимости России от Ельцина»²⁶.

И ведь «День» был не одинок. Бесновалась вся оппозиционная пресса. К «разгону пирующих узурпаторов» призывала «Советская Россия»²⁷. А «Молния», орган анпиловцев, скликала марш на Останкино под лозунгом «Родина или смерть!»²⁸

Поднять мятеж — вот чего они все в действительности добились.

Но разве могли лидеры оппозиции не понимать, каким будет этот мятеж? Могло ли оставаться у них хоть малейшее в этом сомнение после драматического февральского эксперимента? Должно было произойти именно то, что бесхитростно описала Марина Хазанова — фашистское буйство, репетиция «хрустальной ночи», в любой момент способная оказаться премьерой.

Почему же провоцировали это генералы оппозиции? Неужели же только потому, что надеялись — туда, к телецентру, стекутся несметные толпы и «всенародно выберут» президентом одного из них?..

Помните депутата Николая Павлова, освистанного на Соборе за то, что позволил себе напомнить: мы пришли сюда не ругать евреев, но учить русских? Его позиция эту схему рисует с абсолютной точностью.

Павлов — не «коричневый». Это бесспорно. Он понимал, что в России еврейского вопроса нет. Есть русский вопрос. Вопрос, способен ли русский народ возродить свою страну — и как.

И тем не менее он полностью поддержал останкинскую вакханалию. Более того, превратил ее в политический аргумент, в средство давления. Когда Верховный Совет обсуждал ратификацию соглашения о ядерном разоружении, подписанного Ельциным в Вашингтоне, он грозно предупредил: «В нашей стране начнется вооруженная борьба с этим преступным и антинародным режимом. И тогда то, что делает сейчас скромный интеллигент-журналист Анпилов, покажется детской игрой»²⁹.

Обе гипотезы должны быть отброшены. Ни одна из них не верна. Взаимодействие генералов оппозиции с их армией строится по непредусмотренной гипотезами схеме.

На языке политических обозревателей эта схема называется розыгрышем карты. На юридическом — шантажом. На бытовом — игрой с огнем. И это самое точное определение.

Глава двенадцатая

Сценарии авторитарного переворота

Наше представление о реваншистской оппозиции не будет полным, если мы не попробуем — хоть напоследок, хоть в самых общих чертах — рассмотреть ее политическую стратегию. Не наша вина, если этот анализ примет вид краткой летописи разочарований и неудач.

Год за годом вся стратегия сводилась к тому, что лидеры оппозиции вполне беспорядочно метались от одного варианта авторитарного переворота к другому, разрываясь на части между различными соблазнами, и не в силах были сосредоточиться ни на одном определенном сценарии. Видно было, что их аналитические центры то ли бессильны, то ли не удосуживаются хотя бы систематизировать весь набор возможностей, из которых лидеры могли бы выбрать наиболее реалистичную. Даже хоть как-то предвидеть последствия своих крутых стратегических виражей — и то не получалось. Этот политический импрессионизм, естественно, не делает чести оппозиционным аналитическим умам.

На ранних, еще доавгустовских, этапах истории такая беспомощность, впрочем, была легко объяснима. Число интеллигентных «перебежчиков» из демократических рядов было тогда еще невелико, интеллектуальные силы оппозиции незначительны. Потому и приходилось ей опираться, главным образом, на советы и анализ крупных имперских бюрократов, как, например, тогдашний заместитель Горбачева по Совету Оборона СССР, а в дальнейшем один из главных путчистов Олег Бакланов. Или военных реакционеров, как бывший главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР адмирал Владимир Чернавин. В рядах оппозиции почти не было своих парламентариев, а своих собственных интеллигентных аналитиков ей просто неоткуда было взять. Тогда еще хорошим тоном считалось саркастически отзываться о «дилетантах-журналистах и демагогах-парламентариях» (Олег Бакланов) или о «политиках в жилетках» (Александр Проханов). Самой модной была метафора «Надежда примеряет мундир» (Евгений Пашенцев).

Однако и после августа, когда «мундир» оказался вдруг не в чести у оппозиции, а ее надежда защеголяла как раз в парламентской «жилетке», лидеры ее продолжали метаться, на каждом шагу демонстри-

руя безудержную жажду власти вместе с полным непониманием, как эту власть захватить. И никакого проку не было от интеллигентных аналитиков, которых все больше становилось в рядах непримиримых.

Что ж, попробуем и на сей раз сделать эту работу за них.

Набор сценариев

Не так уж богата современная история такими сценариями, чтоб это занятие отняло у нас слишком много времени. Я, во всяком случае, насчитал их всего пять (десять вместе с вариантами).

Для начала просто перечислим.

А. Военный переворот

Классический сценарий (генеральский): командующий войсками разгоняет правительство и парламент и устанавливает либо режим личной власти, опирающийся на армию (цезаризм), либо коллективную военную власть (хунту). Примеров — тьма, особенно в Латинской Америке и в Африке.

Есть у этого сценария и полковничий вариант: группа старших офицеров («черных полковников») отстраняет от власти не только гражданскую администрацию, но и высшее командование. Так произошло, например, в Греции в 1973 г. На этот вариант намекал, по-видимому, Эдуард Шеварднадзе, тогда — министр иностранных дел СССР, подавая в отставку в декабре 1990-го. Он явно имел в виду полковничью группу в Верховном Совете СССР.

Б. Бюрократический переворот

Руководители институтов старого режима — монархического, как в случае Вольфганга Каппа в марте 1920-го в Берлине, или имперского, как в случае Геннадия Янаева в августе 1991-го в Москве, — апеллируя к традиционным лозунгам восстановления законности и порядка, вводят в стране чрезвычайное положение, отстраняют законного президента и объявляют себя Комитетом спасения родины или чем-нибудь еще в том же духе. Запомним, ни одна из этих судорожных попыток спасти старый режим не удалась. Ни один из таких комитетов не продержался у власти больше четырех дней. Я думаю, что в революционной ситуации это изначально мертворожденная идея.

В. Конституционный переворот

Тут возможны три варианта. Все они предполагают, что авторитарная оппозиция завоевывает большинство голосов — либо в парламенте страны, либо на президентских выборах.

В первом из них (**коалиционном**) президент вынужден обратиться к сильнейшей авторитарной партии в парламенте как единственно способной сформировать устойчивое коалиционное правительство. Так поступил, например, президент Гинденбург, приведя к власти нацистов. Оказавшись в правительстве, однако, они отстранили партнеров по коалиции, изменили конституцию, установили тоталитарную диктатуру. Аналогичный «коалиционный» вариант неудачно пытался, как мы помним, разыграть в Москве генерал Стерлигов осенью 1992 г.

Второй вариант этого сценария — **импичмент**. Авторитарная парламентская коалиция отстраняет от власти неудобного президента. Коалиция реваншистских фракций в российском парламенте попыталась осуществить этот вариант в Москве зимой того же 1992-го, но не сумела набрать нужного числа голосов.

Хотя этот вариант и имеет процедурное сходство с отстранением главы государства в демократических странах, цели он преследует прямо противоположные: не укрепление демократии, но возрождение имперского авторитаризма.

Третий, **избирательный**, вариант этого сценария осуществим при наличии авторитарного лидера, достаточно сильного, чтобы собрать большинство голосов на президентских выборах. Победа дает ему законную власть, чтобы упразднить демократические институты и взять курс на реставрацию империи. В русле этого сценария действовал, например, племянник бывшего императора Луи Бонапарт в республиканской Франции, когда, победив на выборах, объявил себя в 1852 г. императором под именем Наполеона Третьего. Нечего и говорить, что именно этот сценарий мечтает воплотить в жизнь Жириновский, как, впрочем, и другие оппозиционные лидеры президентского калибра.

Г. Революция снизу

Тут тоже возможных вариантов — три.

1. Массовый. Страна парализована всеобщей забастовкой, народ выходит на улицы, требуя отставки правительства, штурмовые отряды оппозиции захватывают правительственные здания и коммуникации. Для успеха этого сценария важен, во-первых, нейтралитет армии (по крайней мере в столице), а во-вторых, наличие у оппозиции широкой социальной базы и сильных опорных пунктов по всей стране. Таких, например, какие были у Хомейни, когда он пришел к власти в 1979 г., опираясь на мечети и мулл. Таким же образом в России оказался у руля Ленин — с помощью Советов.

2. Харизматический. Лидер, опирающийся на мощное политическое движение и штурмовые отряды, захватывает столицу, а полиция и армия опять-таки отказываются защищать законное правительство. Так пришел к власти в Риме в 1922-м Муссолини. Если у оппозиции нет бесспорного харизматического лидера, об этом варианте, естественно, можно забыть.

3. Народное ополчение. Регионы страны по собственной воле объединяются, отказывают в доверии центру, собирают армию, идут на столицу и принуждают власти к капитуляции. Наиболее реален такой сценарий, когда власть заведомо чужая — центр оккупирован иноземными войсками. Именно так в 1612 г. нижегородский купец Кузьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский освободили Москву от поляков, а в следующем году Земский Собор (представители победивших «земель»-регионов) выбрал самодержавного царя. Что и дает нам право рассматривать этот исторический эпизод не только как пример торжества национально-освободительного движения, но и как один из вариантов авторитарной реставрации.

Начиная от славянофилов XIX века и до наших дней русские националисты всегда гордились этим уникальным опытом государствен-

ного строительства, превратив его в своего рода национальный миф. Опыт и вправду уникален. Но вовсе не тем, что страна избрала себе царя. В конце концов, поляки избирали своих королей на протяжении столетий. Беспримерно, что из всех многочисленных видов монархии страна выбрала именно автократию. Вручая в 1613 г. власть избранному им царю, Собор не потребовал от него никаких гарантий прав и гражданских свобод, хотя за три года до того именно Россия оказалась первой в Европе страной, провозгласившей себя конституционной монархией.

В наше время, надо полагать, возможны и менее милитаризованные варианты этого сценария. Например, регионы, объединившись, душат центр, отказываясь платить налоги. Или посылают в столицу obstructивнистский парламент, устраняющий президента и центрального правительства. Требуется лишь экстраординарное единство регионов — маловероятное, поскольку для российской провинции характерно несовпадение интересов и пестрота в расстановке политических сил.

Д. Революция сверху

Здесь опять-таки возможны два варианта.

1. Президентский. Законно избранный и популярный президент устраняет непопулярное правительство, распускает парламент и устанавливает режим личной власти, опирающийся не только на военную силу, но и на популистскую националистическую символику. Так установили свою диктатуру Иосиф Пилсудский в Польше (1926) и Хуан Перон в Аргентине (1946). В таких замыслах оппозиция не устает обвинять Бориса Ельцина.

2. Процедурный. Глава государства уходит со сцены (по естественным или любым другим причинам). Тот, кто его заменяет, покровительствует реваншистской оппозиции (или ее боится). В угоду ей он назначает новую администрацию, устанавливающую авторитарную диктатуру. Такой «тихий» процедурный переворот погубил в конце 1920-х тайшоистскую демократию в Японии.

Вот, как я и обещал: пять сценариев, десять вариантов.

В облаках...

«Я верю, что все-таки состоится парад “афганцев” на Красной площади. И президент, не встречавший войска, вытаскивающие свои израненные колонны под Термезом и Кушкой, будет стоять на Мавзолее по стойке “смирно”, а по брусчатке пройдут кандагарские, гератские, кабульские полки, протянут подбитую, подорванную технику, протолкают по площади инвалидные коляски с ветеранами, и нация поклонится им — своим сыновьям!»¹

От этого триумфа имперской идеи, так живо рисовавшегося оппозиции в первоначальную, доавгустовскую эпоху, ее отделяла малость. Как сделать, чтобы президент (тогда Горбачев) вытянулся по стойке «смирно» перед несчастными солдатами, вернувшимися с позорной, откровенно захватнической войны?

Читатель наверняка легко догадался, какой из перечисленных выше сценариев казался тогдашней оппозиции наиболее пригодным

для воплощения этой романтической мечты. Ведь вся ее политическая философия сводилась в ту пору к одной нехитрой формуле:

а) поскольку «переходный период общества к новому качественному состоянию прежде всего требует жесткого авторитарного режима» и б) «армия играет ключевую роль в функционировании авторитарной власти», то в) ей и карты в руки. Она «либо формирует правящую коалицию с гражданскими силами, либо сама непосредственно реализует авторитарную власть»².

Еще короче — генеральский переворот. В нем, казалось, было все, чем грезил оппозиция — надежность, простота и романтика. Он гарантировал, что оба главных ее требования — авторитарное правление и сохранение империи — будут безусловно выполнены. Как писал главный тогдашний аналитик реваншистов Шамиль Султанов, «армия — единственная сила, способная предотвратить окончательное разрушение союзного государства»³.

Оставалась опять-таки малость. Убедить народ и армию, что генеральский переворот нужен не только генералам и оппозиции, но и стране. Но и это казалось тогда делом достаточно простым. Развязать кампанию в оппозиционной и армейской прессе, повторить сколько нужно раз, что все беды армии и страны спланированы Западом, что это он в союзе с отечественной «пятой колонной» обезоруживает родину и хочет ее поработить. И все поймут, что армия обязана взять власть, чтобы спасти страну от этой смертельной угрозы.

Вот маленький образец такого пропагандистского прессинга в диалоге между Прохановым, представляющим оппозицию, и адмиралом Чернавиным, представляющим генералитет.

«— Давайте попробуем, — предлагает Проханов, — объяснить себе и другим, кому, по каким мотивам понадобилось разрушать нашу армию, лишать ее не только грозного оружия и стратегических плацдармов, но и народной любви и доверия. Что и кто за этим стоит?»

— Я думаю, что наша армия мешает внешнему сопернику, могучему, богатому, умному, который стремится к господству в мире, стремится навязать человечеству свой “новый мировой порядок”. И она же, наша армия, являющаяся опорой государства, строя, хранящая государственную, патриотическую философию, мешает тем силам, группам, а теперь уже можно говорить даже классам, стремящимся изменить строй, изменить философию страны. Внешний, как мы говорим, “супостат” и внутренняя “пятая колонна” соединились в своих атаках на Вооруженные Силы СССР»⁴.

Надо сказать, что демократическая пресса спорила с этим, как могла. Навстречу генеральской версии происходящего шел поток других публикаций о том, что имперская армия, в особенности после Афганистана, насквозь деморализована, никакой романтикой в ней давно не пахнет. Она просто не может хранить «государственную, патриотическую философию», поскольку разлагается на глазах, поражена «дедовщиной», этническими конфликтами, массовым дезертирством и коррупцией. Авторитет ее разрушен. Матери боятся отдавать этой армии своих сыновей, сыновья избегают ее, как чумы. Она никак

не подходит для роли, которую предназначала ей оппозиция. И не при чем здесь «пятая колонна», не говоря уже о происках внешнего «супостата». Любезная генеральским сердцам империя безнадежно сгнила, и ее армия лишь отражает это гниение.

Если бы оппозиция прислушалась к голосу здравомыслящих экспертов, ей бы стало понятно, что она выбрала себе негодных союзников. Но могла ли она к ним прислушаться? Попробуем на минуту поставить себя на место ее лидеров, и мы тотчас увидим, что это было просто исключено.

Во-первых, от кого исходили эти сигналы тревоги? От ненавистных ей демократов, бороться с которыми было ее первым, на уровне инстинкта, рефлексом. А тут — такая удобная мишень: смотрите, люди добрые, что они делают, на кого руку поднимают! «Чего только не говорят о генералах, — негодовал генерал Игорь Родионов, герой тбилисской бойни 1990 г., — шельмуют, оскорбляют, делают посмешищем, какие-то фигляры поносят генеральские седины, генеральскую честь... Разрушить внутреннее единство армии — вот задача пропаганды!»⁵.

А может, оппозиция и сама верила этим жалобам, убеждала себя, что «общественное мнение страны всё более положительно относится к армии, видя в ней естественного и наиболее последовательного защитника общенациональных интересов»⁶.

А еще важнее было во-вторых: разувериться в армии — значило разрушить свою собственную политическую стратегию, всецело ориентированную на военный переворот. Генералы представлялись не только исполнителями одной, хотя и важнейшей партии. За ними стоял еще могущественнейший, богатейший военно-промышленный комплекс, этот становой хребет имперской экономики. Будучи общенациональным институтом, армия имела гигантскую инфраструктуру, те самые опорные пункты по всей стране, ничуть не хуже мечетей Хомейни или Советов Ленина. Можно ли было противостоять таким силам?

...и на земле

Была, однако, у генеральского сценария и другая прискорбная слабость. Уж чересчур он был книжный, романтический и абстрактный. Он был навеян скорее опытом генерала Пиночета в Чили, нежели реалиями советской империи, не оставившими ему практически никаких шансов. Если бы оппозиционные романтики меньше витали в облаках, у них бы не было в этом ни малейшего сомнения.

Для выходов на публику им было достаточно пропагандистских клише: «Никакой другой институт, кроме армии, не способен ясно осознавать и эффективно защищать высшие государственные интересы» (Александр Прокудин) или — «Армия играет ключевую роль в функционировании авторитарной власти» (Шамиль Султанов). Но для конкретного политического анализа вся эта декламация, естественно, не годилась. Не будем возводить на аналитиков напраслину и го-

ворить, что они не видели вообще ничего. Видели. Султанов, тот определенно видел: «Исторически несущей конструкцией советского государства являлся “великий треугольник”: номенклатура КПСС — органы безопасности — армия... Ключевой для всего советского государства являлась жесткая номенклатурная структура коммунистической партии»⁷. (Кстати, так было не только в советской империи. Ни в муссолиниевской Италии, ни во франкистской Испании ключевой роли армия никогда не играла, и при своем равнодушии к этим режимам аналитики оппозиции должны были хорошо это знать).

Ну, как, похоже это на Чили? Была армия Пиночета лишь самой короткой стороной треугольника власти, подчиненной двум другим, над которой к тому же «органы безопасности осуществляли тщательный надзор»?

Если нет, то вся чилийская модель переворота рассыпается на глазах. С какой, собственно, стати должны были обе другие, господствующие стороны советского «треугольника» (партия и КГБ) добровольно отстраниться от власти в пользу третьей (армии)? Если встать на их точку зрения, претензии генералов, так заворожившие оппозицию, были всего лишь ординарным бунтом, нарушением субординации, попыткой самоуправно перераспределить власть в пределах «треугольника».

Нет. Если и пошли бы партия и КГБ на авторитарный переворот, то уж никак не на генеральский. Они бы позаботились о том, чтобы роль армии оставалась сугубо служебной. Она делает, что прикажут. Устрашает публику, а потом отправляется обратно в казармы — «под тщательный надзор органов безопасности».

Олег Бакланов, представлявший тогда высшую советскую бюрократию, принимал участие в бесконечных диалогах оппозиции с генералами. Но он вовсе не готовился вместе с ними к генеральскому перевороту. На самом деле он рекрутировал и тех, и других для участия в совсем другом перевороте, по совсем другому сценарию — бюрократическому. Или, чтоб уж все было понятно, он пытался надуть и оппозицию, и генералов. И если бы оппозиционеры вслушались в то, что говорили их собственные советники, они, конечно, поняли бы: между советами, скажем, генерала Виктора Филатова и бюрократа Олега Бакланова — пропасть.

Как представляли себе грядущий переворот генералы? «Армия долго смотрела на весь этот бардак и надеялась, что премьеры наведут порядок. А они лишь разваливали. И армейцы сегодня поняли, что они не глупее премьеров. Сегодня начальник финансового управления [армии] может стать лучшим министром финансов, а начальник тыла Вооруженных Сил лучшим премьер-министром — вот в чем, наконец, убедили армию бездарные антинародные правители... И уверяю вас, без крови и насилия строго по распоряжку пойдут по железным дорогам поезда и будут восстановлены нормальные народно-хозяйственные связи»⁸.

Как бы в ответ другой советник, Бакланов, говоривший от имени как раз тех самых гражданских «премьеров» и «бездарных правителей», которых намеревался оставить не у дел бравый генерал, делился своим видением места и роли армии: «Если ей придется взять на

себя управление экономикой, транспортом, обществом в целом, она сможет лишь некоторое время поддерживать такое управление, да и то на предельно низком уровне», и ей придется «как можно скорее передать это управление гражданским лицам, содействовать восстановлению гражданских структур»⁹. Тех самых, от которых генералы как раз и собирались избавиться.

Ей-Богу, нужно было не иметь ушей, чтоб не услышать, что эти две линии нигде не пересекаются. И нужна была вся замороженность оппозиции мечтой о военном перевороте, вся высокомерная уверенность ее лидеров, что в каждый данный момент абсолютная истина у них в кармане, чтоб не заметить, как безнадежно запутались они между двумя сценариями. И не понять, что в советской ситуации на их милитаристском энтузиазме и пиночетовской бравате мог вырасти лишь их августовский позор.

До января и после

Но так отчаянно дорога была оппозиции эта воинственная мечта, что даже после этого катастрофического поражения не было сил с нею расстаться. Правда, в генералах, которых столько месяцев обхаживала, она полностью разочаровалась.

Когда мы встретились с Прохановым в декабре 1991-го, он подарил мне верстку 21-го номера «Дня», где прощался с генеральской химерой. «Не оказалось государственно мыслящей элиты в армии, среди генералов, по-совиному молчавших на съездах, шесть лет безропотно уступавших политикам в жилетках военную мощь государства... В дни кукольного мятежа и в нынешние унылые недели они, генералы, послушно склоняют шеи перед легковесными, как пузырьки, реформаторами, принимая из их рук отставку, домашние шлепанцы и колпак»¹⁰.

Это было жестокое прощание. И в нем было много неблагодарности. Разве не сама оппозиция месяцами кричала на всех перекрестках, что «надежда примеряет мундир»? Разве не поддалась она на обман ничуть не менее легкомысленно, чем генералы? И разве не сам Проханов еще в июле писал «Слово к народу» — манифест сурового военного переворота, а вовсе не «кукольного мятежа»?

Расплевавшись с генералами, оппозиция сделала героями своей романтической мечты полковников, т.е. незаметно для самой себя соскользнула с классического генеральского сценария к неортодоксальному «греческому». Теперь она связывала свои поруганные бюрократами надежды с первым Всеармейским офицерским собранием, назначенным на январь 1992-го. На этом собрании действительно доминировали полковники. Но оно принесло ей еще более ошеломляющее разочарование.

«Помню, как «Трудовая Москва» встречала делегатов первого Всеармейского совещания, — запоздало сетовал Александр Казинцев, — знаменами, цветами, со слезами на глазах. Так встречают освободителей. Восторженные ожидания померкли в тот же день после его оглушительного провала. Пришла пора признать: у России больше нет армии»¹¹.

Станным образом это похоронное выражение вдруг стало после января стандартным припевом оппозиционной прессы, только что на все голоса распевавшей гимны «особой роли армии» и «необходимости вмешательства военных в экономическую, политическую и социальную области»¹². «Армии больше нет»¹³. «Армии нет. От горечи этих слов сохнет глотка. Но это так. Армии у нас больше нет»¹⁴.

Означать эта отходная армии могла только одно: февраль 1992-го оппозиция встречала без всякой политической стратегии. Ни генералам, ни «черным полковникам» веры больше не было. Не на кого стало писать сценарий военного переворота.

Из «мундира» в «жилетку»

В лихорадочных поисках новой стратегии оппозиция попробовала было поиграться со сценарием революции снизу (массовый вариант).

Она выводила народ на московские площади, устраивая один за другим то «марши пустых кастрюль», то грандиозные митинги — 12 января, 9 февраля, 23 февраля, 17 марта — с требованиями восстановления СССР и возвращения ленинских Советов: других-то опорных институтов после развода с армией у нее в стране не осталось. Рассчитывала, что эти митинги спровоцируют всеобщую забастовку. Но — не получалось. Страна не отзывалась. Никто не выражал желания умереть за осточертевшие бюрократические Советы. И московская милиция вовсе не торопилась присоединиться к митингующим. Зато она пристрастилась разгонять особо разбушевавшихся демонстрантов.

И что еще хуже — массовое движение оказалось сразу же монополизировано коммунистами. Черно-золотистые знамена «белых» тонули в море красных флагов. И вел митингующие массы Красный Дантон, Виктор Анпилов, никому не позволявший себя перекричать. Чем лучше шли бы дела у оппозиции, тем реальнее бы становился коммунистический реванш.

Не только лидеры «белых» — даже Николай Лысенко забил тревогу. «Ортодоксальные коммунисты опять выдвигаются на первый план... Их лозунги просты и понятны: быстро сделаем, как было раньше, что-то подправив и изменив. В их пользу, несомненно, то, что народ помнит, как еще совсем недавно, при коммунистах, колбаса была по два рубля, как исправно работал транспорт, системы тепло- и водоснабжения. И народ может за ними пойти, забыв про все преступления коммунистического режима»¹⁵.

Массовый вариант сценария революции снизу решительно не проходил как одновременно и бесперспективный, и слишком опасный.

Харизматический, по причине отсутствия отечественного Муссолини, нечего было и рассматривать. Как и третий вариант — народное ополчение. Бурление в регионах в единый порыв не сливалось.

Куда теперь?

Как раз в это время в парламенте начал формироваться блок «Российское единство». В него вошли как «красные», так и тяготеющие к «белым» фракции. В апреле, на VI съезде народных депутатов,

новая «лево-правая» коалиция была официально зарегистрирована. Она тоже требовала восстановления СССР и «отставки правительства рыночных экспериментаторов». Но при этом, в отличие от анпиловских демонстрантов, она имела выход на общенациональную арену и не угрожала коммунистическим реваншем.

Ломать себя — иного выхода у оппозиции не оставалось. Генеральское презрение к парламентским болтунам в новой ситуации стало неуместно. Конечно, ни у кого из лидеров оппозиции рука не поднялась бы написать статью под названием «Надежда примеряет жилетку». Но шло все именно к этому.

На горизонте оппозиции замаячила новая политическая стратегия, новый сценарий — конституционного переворота.

Как и было официально зафиксировано в «Политической декларации левой и правой оппозиции» от 21 сентября 1992 г., называла она себя «лево-правой». «Красно-белой», если перевести на язык политических цветов. На самом же деле, как мы видели, еще с января это было не двухцветное знамя, а триколор — с яркой коричневой полосой понизу. «День», именовавший себя «газетой духовной оппозиции», ни разу не вышел без какой-нибудь антисемитской мерзости. Баркашов, с его поклонами «Адольфу Алоизовичу», был для всех уважаемой персоной. Лидерам льстило внимание европейских фашистов, приобщавших их к своим нравам и философии.

Парламентская эра

В эту новую, демилитаризованную эру оппозиция вступила еще более разншерстной, чем раньше, еще менее похожей на политическую партию или хотя бы на коалицию партий, но зато куда более искушенной в политике и интеллектуально окрепшей. Наплыв демократических «перебежчиков» заставил ее отказаться от генеральских авторитарных формул, сменить словарь. Теперь вместе со своими парламентариями она говорила о защите конституции и свободы слова, а с интеллектуалами — о «пассионарности» и «малом народе». Впрочем, это не мешало ее прессе продолжать упражняться в самом дешевом антисемитизме, ее уличным вождям — формировать штурмовые отряды, а ее черносотенным люмпенам — бесноваться в Останкино.

Демократическая пресса окрестила эту новую эру «красно-коричневой».

Это, конечно, кличка, и как всякая кличка, она была слишком плакатной, слишком лобовой. Она игнорировала мощную прослойку «белых» антикоммунистов и интеллигентных аналитиков, свободно парящих в таких эмпиреях, куда и во сне не заглядывали прежние советники. Адмирал Чернавин, надо думать, отродясь не слышал о Юлиусе Эволе или Карле Шмитте, на которых уверенно ссылался в своих статьях Александр Дугин¹⁶. Олег Бакланов и в свободное от работы время не размышлял о «России как оси истории» или о том, как превратить «стандартную оппозицию правительству в духовную оппози-

цию современности», к чему призывал Вадим Штепа¹⁷. Это интеллектуальное возвышение тоже было знаком новой эры.

Но зато никто из прежних оппозиционных корифеев в жизни не осмелился бы заявить, как Эдуард Лимонов, что не только «мы не хотим вашу либерально-демократическую интернациональную Россию, дверь в которую открыта настезь», но желаем «национальную Россию: от Ленинграда до Камчатки только русский язык и русские школы. Мы хотим русифицировать страну национальной революцией»¹⁸. Здесь и генералом быть не надо, чтобы перехватило дыхание. Представляете себе, читатель, какие кровавые средства потребовались бы в России, с ее двенадцатью языками, чтоб отнять у татар и башкир, и балкарцев, и черкесов, и якутов — о чеченцах уж и не говорю — их родной язык? А тут еще и Сергей Бабурин предлагает «вспомнить о русской миссии, о тайном судьбоносном предназначении нашего народа»¹⁹.

Казалось, переменялся сам воздух, которым дышит оппозиция.

Но при всем этом кипении интеллектуальных страстей и мистических прозрений и в парламентскую эру веяло от реваншистской оппозиции чем-то неистребимо вульгарным и нечистоплотным. И дело было вовсе не в том, что интеллектуальный слой был недостаточно мощным, чтобы перебить этот дух: он и не пытался с ним бороться. Эти люди навеки испуганы. Они смертельно боятся своей «политической базы» и никогда уже, по-видимому, не смогут жить в мире с самими собой.

Впервые я заметил это в феврале 1992-го, на известной уже читателю встрече демократических «перебежчиков» с «коричневыми» массами, где несчастные «жидо-масоны» Виктор Аксютин и Михаил Астафьев ходили не столько на укротителей «патриотических» львов, сколько на христианских девственниц, брошенных им на съедение. С тех пор это ощущение странной жалости преследовало меня всякий раз, когда мне приходилось встречаться с лидерами оппозиции. Если в квартире или в офисе, где наш диалог записывался на пленку, появлялись неожиданные посетители, мои собеседники замолкали и бледнели, словно пойманные за руку в момент преступления.

Помню, как ошеломило меня откровенное признание одного из них, умного человека и далеко не труса, с которым провели мы много часов, обсуждая будущее России. Но оказалось, что мне не только нельзя обнародовать его мысли под его именем, но и сама наша встреча должна быть тайной.

— Если вы когда-нибудь кому-нибудь расскажете, что я у вас был, я погиб.

— Да как же можете вы, — ахнул я, — позволить себе зависеть от этой, по вашим собственным словам, «сволочи»?

Он лишь устало пожал плечами.

Как же рассчитывают оппозиционные интеллектуалы справиться с фашистами в собственных рядах — в случае, если они, не дай Бог, победят? Как смогут они руководить будущей Россией, если уже сегодня чувствуют себя крепостными этой «сволочи», зависят от нее, приспосабливаются к ее образу мышления и молятся ее богам? И какая в

этом случае цена всем их ученым рассуждениям о «русской миссии» и «пассионарности»?

Все это составляло сложный психологический фон, на котором вызревал сценарий конституционного переворота — стержень новой, парламентской стратегии. Главные вехи этого вызревания мы уже с читателем обсуждали: февральский Конгресс гражданских и патриотических сил (где впервые обнаружилась коричневая подкладка красно-белой жилетки оппозиции) — июньская попытка инаугурации генерала Стерлигова в качестве доморощенного Муссолини на Русском национальном соборе — октябрьское фанфарное открытие Фронта национального спасения.

Все, как видим, шло по учебнику. «Марсианский» 92-й спрессовал сроки, позволил парламентской оппозиции пройти весь путь раскрутки нового сценария. От образования коалиции реваншистских фракций («Российское единство») и неудачной попытки свалить «оккупационное» правительство Егора Гайдара на VI съезде в апреле — через устранение Гайдара на VII съезде в декабре — прямым ходом к марту 93-го, к IX съезду, к импичменту. Правда, несмотря на весь обретенный в новой эре политический опыт и выучку, оппозиция слегка еще путалась в вариантах сценария, в его классических схемах, но главное условие она выполнила: полностью захватила контроль над парламентом. Впору было заказывать банкетный зал — «обмывать» великое торжество.

Все рухнуло 25 апреля. «Оккупационный» послеавгустовский режим получил на референдуме поддержку большинства избирателей. Элементарный просчет, но какой! Сценарий, оказалось, был построен на песке. Аналитики оппозиции ошиблись во всем — от состояния здоровья президента и политического искусства его советников до настроения масс. Хамство разгулявшегося столичного люмпенства они приняли за волю народа.

Подстать чудовищному провалу был шок в рядах оппозиции и паника среди ее лидеров — ничуть не слабее той, что последовала за провалом августовского путча.

Но уже летом 93-го один из аналитиков оппозиции Александр Казинцев, а за ним и другие, призывали «преодолеть истерические настроения, вызванные чередой поражений оппозиции, самым крупным из которых был проигрыш референдума (если Ельцин и не выиграл его, то у нас-то нет никаких оснований хорохориться — мы проиграли)»²⁰.

Похороны конституционного сценария

Никто не спорил с тем, что стратегию снова нужно менять. Но как? В какую сторону двигаться? Идти вперед или возвращаться назад?

Своя же, родная пресса встала как бы в оппозицию к оппозиции. Вдруг выяснилось, что с самого начала ничего хорошего нельзя было ждать от парламентских затей и «красно-белых» союзов, которые тяготеющий к Анпилову журнал «Молодая гвардия» обозвал «лукавыми играми оппозиции».

«Сколько у нас было надежд на Союз гражданских и патриотических сил, на Русский национальный конгресс, на Фронт национального спасения! Но — увы. Надежда не оправдалась. Нерешительность, демагогия и соглашательство оказались присущи всем этим организациям... А нужны ли и впрямь нашей стране все эти телевизионно-опереточные представления, называемые Съездом народных депутатов, если пользы от них нет ни на грош, а вреда хоть отбавляй?»²¹ И даже дальше пошел этот журнал, направив в сторону парламентской оппозиции стрелы, обычно приберегаемые для демократов: «Съезд выиграла тайная агентура... Громко отдекларировав национальное спасение, спасти народ не стали — увязли в словоблудии...»²²

«День», устами темпераментного Эдуарда Лимонова, страстно звал на баррикады: «Старые методы оппозиции не годятся. Ясно, что не помогут уже ни прения в парламенте, ни конгрессы и соборы... мы умрем, без сомнения, если не поднимемся против всех своих врагов на национальную революцию»²³

Эти эпидемически распространявшиеся настроения суммируют молодые аналитики Александр Бородай и Григорий Юнин: «Оппозиция, пережившая поражение на VII и IX съездах, и власть, загнавшая оппозицию в фарватер вечного “реагирования”, отняв у нее инициативу, представляют собой единый, конвергентный, управляемый политический ландшафт»²⁴. А еще более радикальный Вадим Штепа добавляет: «Оппозиционеры стали заложниками эрзац-государственности и эрзац-политики»²⁵.

Это было больше чем разочарование в скомпрометировавшей себя стратегии. Это была пронзительная тоска по утраченной романтике, по высокой драме революционного действия, вытесненной скучными, усыпляющими парламентскими препирательствами людей «в жилетках», выдающих себя за оппозицию. В глазах мятежных аналитиков эта «холодная война» выглядела вульгарной профанацией святого дела, той «жажды великой Реставрации, ради которой легко идти на смерть»²⁶. Или, хуже того — постыдным лицедейством, коварно отвлекающим массы от нормальной, горячей войны: «Демороссы из президентских структур и театрально им противостоящая группа их коллег, вдруг опознавшая себя как “партию Советов”, пребывая в единой, управляемой извне [читай: из-за океана] политической плоскости, вовлечены в **искусственно инсценированное** фронтальное соперничество»²⁷. (Ремарка насчет Америки моя, но ключевые слова в тексте подчеркнули сами авторы).

Вместо обещанного конституционного переворота все эти «телевизионно-опереточные представления» привели лишь к безнадежному конституционному тупику. Выбраться из него можно было теперь лишь посредством неконституционных акций.

Это неправда, что сентябрьский демарш Ельцина обрушился на оппозицию, как гром с ясного неба. Неожиданностью он стал только для западной публики. Оппозиция не только ожидала его — она без него задыхалась. Она рвала на себе парламентскую «жилетку», мечтая об открытой схватке, о горячей войне, о том, что «лозунги реставрационного движения окажутся... предельными, экстраординарными,

кровавыми»²⁸. В воздухе, которым она дышала, запахло грозой за-долго до сентябрьского роспуска парламента.

Но самым очевидным свидетельством внутренней истощенности парламентской эры было даже не это вызывающее поведение оппозиционной прессы, но действия самих парламентариев. Они растерялись. Их заполошные призывы к всеобщей забастовке и всероссийскому бойкоту слишком напоминали стандартные заклинания Анпилова. Сам же Красный Дантон теперь звал народ «к оружию!»

Ничем, кроме октябрьской трагедии, кончиться это не могло.

Политический пат

Посмотрим все же, к какому новому сценарию авторитарной реставрации могла двинуться оппозиция, считая от весны и лета 93-го? Какой выбор у нее оставался?

Прежде всего — о политической обстановке в России, сложившейся к моменту крушения конституционного сценария.

Парламентом оппозиция, как мы знаем, овладела. Но захватить контроль над правительством не смогла. Тем самым в стране создавалась патовая ситуация, из которой действительно не было никакого легитимного выхода. Верховный Совет оказался пятым колесом российской государственной телеги, «охвостьем» старого режима. Не способный реально проводить свои политические решения, он не давал делать это и никому другому. Он подрывал порядок в стране, превращая ее в заповедник беззакония.

Даже Евгений Ясин, нынешний министр экономики, известный своей легендарной приверженностью к компромиссу и ухитрившийся в самый разгар шоковой терапии остаться в одинаково добрых отношениях и с реформаторами, и с их оппонентами из «Гражданского союза», — и тот воскликнул в отчаянии, что «с таким парламентом Россия из кризиса не выберется!»²⁹. Ясин расценил деятельность Верховного Совета в главной сфере его компетенции — бюджетной — как натуральное вредительство: «Парламент не руководствуется интересами страны. Представление об ответственности полностью утрачено»³⁰. Премьер Виктор Черномырдин охарактеризовал бюджет парламента как «абсолютно непонятный» и назвал дефицит, превосходящий в нем доходную часть, «историческим». А Борис Федоров, министр финансов, просто заявил, что исполнять парламентский бюджет правительство не намерено.

Дальнейшее сосуществование реформистского правительства с оппозиционным парламентом становилось невыносимым. Обе ветви власти взаимно одна другую парализовали. В августе 93-го большая группа писателей, включавшая многих литераторов, пользующихся в обществе непререкаемым авторитетом, обратилась к президенту с требованием «провести досрочные, не позднее осени текущего года, выборы высшего законодательного органа власти»³¹. Президент внял этому призыву. 21 сентября он распустил парламент, назначив досрочные выборы, хотя конституция и не давала ему таких полномочий.

Кажется, что логика рассуждения подталкивает нас к тому, чтобы

остановиться и заняться рассмотрением этого шага, его правомерности, его последствий. Ведь именно это занимало все внимание участников и наблюдателей этих драматических событий — и в сентябре, и в октябре, и еще много-много месяцев спустя. Но я намеренно не стану этого делать, потому что поговорить хочу как раз о том, чего ни участники, ни наблюдатели не заметили.

Паралич обеих ветвей власти, вынудивший одну из них к неконституционным действиям, был не единственным аспектом политического пата, созданного в трансформирующейся стране «красно-белой» оппозицией. Есть еще один. И он намного более серьезен.

Имеет ли в принципе эта ситуация решение на внутренней политической арене? Или возможные варианты (хотя бы и досрочные выборы нового парламента) всего лишь создадут иллюзию такого решения? Тогда, осенью 93-го, я не видел никаких гарантий, что новый парламент, ради выборов которого все это затевалось, будет лучше старого, что отныне правительство реформ сможет надеяться на устойчивое большинство и повторение до-сентябрьского паралича тем самым исключается. С тех пор прошло много времени, событий хватило бы не на одну книгу, но таких гарантий я не вижу до сих пор.

Патовая ситуация сохраняется — меняются только ее формы и острота.

Сломать инерцию политического пата послеавгустовский режим мог бы только в одном случае: если бы он нашел в себе силы и решимость сделать то, чего не сумел веймарский — поднять страну на мощное демократическое контрнаступление, переломить ход психологической войны. Но нет у него для этого ни интеллектуальных ресурсов, ни политической интуиции, ни даже понимания того, куда ведут страну эта инерция и эта война. Ничем он пока что не показал, что он сильнее веймарского режима, что он обладает качествами, которых тому в свое время недоставало. Значит, и выйти из патовой ситуации, опираясь на собственные силы, послеавгустовский режим в Москве уже не сможет — ни завтра, ни послезавтра, ни при экономическом провале, ни при стабилизации.

Может казаться, что после 1993-го напряжение в стране все же разрядилось, тем более, что внимание сейчас приковано к другому — состоятся ли новые выборы в парламент, что они дадут. Но ведь и в Германии после выборов 1920 г., создавших роковую ситуацию политического пата, прошло целых 12 лет, и тоже год на год не приходился. Но ни разу за все эти годы ни одно из республиканских правительств не имело в рейхстаге устойчивого большинства. Расколота психологической войной, страна оказалась не в состоянии дать такое большинство республиканскому правительству — ни во времена развала и гиперинфляции, ни в годы экономического благополучия. Веймарский парламент оказался безнадежно искалеченным. До такой степени, что Детлев Пюкерт, один из самых выдающихся историков республики, воскликнул: «Действительное чудо Веймара в том, что республика продержалась так долго»³².

Эта аналогия помогает нам понять, что в основе политического паралича 1992 — 93 гг. лежала вовсе не тупая непримиримость быв-

шего «коммунистического» парламента, как думали многие в России и на Западе, но реальный раскол российского политического общества. Уже результаты апрельского референдума в 93-м, свидетельствовавшие, что юго-западная Россия отказала президенту в доверии, должны были нас в этом смысле насторожить. Ибо означать они могли лишь одно: даже потерпев оглушительное политическое поражение, оппозиция добилась гигантской психологической победы — страна оказалась расколота.

Тогда же, летом 93-го, прошли местные выборы. В Пензе, например, назначенный президентом губернатор собрал всего 1,6 процента голосов, а бывший секретарь обкома КПСС — 71 процент. В Орле главой областной администрации был избран бывший секретарь ЦК КПСС. Результаты выборов в Курске, Смоленске, Туле, Брянске, Краснодаре и Челябинске, повсюду — были ничуть не лучше. Уже известный нам Александр Казинцев имел полное право сказать, что «если общероссийский референдум принес поражение оппозиции, то областные выборы стали ее триумфом»³³. Итоги референдума оказались не случайными: юго-западная Россия действительно поворачивалась к «красным».

По-особому зловещим признаком раскола в те же месяцы было фактическое сотрудничество местных командиров российской армии с абхазскими сепаратистами в войне против ненавистного оппозиции Шеварднадзе — вопреки официальной миротворческой политике Москвы.

Да мало ли было примеров, показывавших, что корни конфликта уходят вглубь, в самую толщу расколота общества?

Политический пат был лишь внешним симптомом этого раскола.

Сила и слабости оппозиции

Не думайте, что я забыл о мною же поставленном вопросе — какой выбор сценариев остается у оппозиции в ситуации политического пата. Но придется еще немного повременить, чтобы взвесить ее достижения и ее слабости.

Отдадим прежде всего должное ее успехам, достигнутым в парламентскую эру. Их не хотят замечать, как мы видели, ни еретики в ее собственных рядах, ни западные критики. Но это несправедливо. Романтическая мечта о военном перевороте — та действительно не принесла ей ничего, кроме позора. А вот прозаическая парламентская работа сцементировала «красно-белую» коалицию, и та сумела создать ситуацию политического паралича, которая резко затормозила ненавистную реформу. И это, конечно, свидетельство силы, а не слабости.

В Молдове и в Абхазии, в решении проблемы Курильских островов она добилась решающего перелома в свою пользу. Это тоже свидетельствует о ее силе.

Да, и результаты местных выборов: еще одна серьезная победа.

Это правда, что она не сумела предотвратить разгром парламента в октябре. Но отчасти и это объясняется ее собственным разоча-

рованием в «телевизионно-опереточных представлениях» парламентской эры.

Кризис осени 93-го обнаружил, однако, и ее слабости. Парадоксально, но слабостью обернулся главный ее успех. И не только потому, что созданная ею ситуация политического пата неминуемо вела к октябрьскому побоищу, к поражению ее очередного кандидата на роль Муссолини, Руцкого, и разгрому штурмовиков Баркашова. Гораздо серьезней были последствия долгосрочные: разваливалась сама «красно-белая» коалиция, которой она всеми своими достижениями и обязана.

Воссоздание коммунистической партии и серия побед коммунистов на региональных выборах были все-таки успехом «красных», а не «белых». И возрождение в связи с этим ортодоксально-коммунистических воззрений в «красной» среде не укрепляло коалицию. Если генерал Стерлигов по-прежнему провозглашал: «Дорогу национальному капиталу!», а партия Геннадия Зюганова записывала в свой манифест как основное требование «возврат на социалистический путь развития»³⁴, то какая уж тут коалиция? С другой стороны, возвращение Александра Солженицына в Россию не могло не усилить позиции антикоммунистического крыла в стане «белых». И, наконец, ошеломительный успех на декабрьских выборах имперско-либерального крыла, «коричневых» вообще все смешал. Константинов и Стерлигов, вожди Фронта национального спасения и Русского национального собрания, сами оказались в том же положении аутсайдеров, в каком раньше был Жириновский со своей ЛДПР.

Расстановка сил в рядах оппозиции стала совершенно другой.

Революция снизу?

Очевидно, что после окончания эпохи путчей и мятежей, точно так же, как в веймарской Германии, выбор непримиримой оппозиции свелся к одному-единственному сценарию, один раз уже похороненному — конституционному. Заметно, как старается она преодолеть свое отвращение к «телевизионно-опереточным представлениям» парламентской эры и переключается на кропотливую и прозаическую работу с избирателями — в попытке добиться успеха на парламентских и президентских выборах. Так сделали в 1924 г. и нацисты, после выхода из тюрьмы Гитлера. Как говорил сам этот гроссмейстер психологической войны — «Хотя перестрелять либералов быстрее, чем отнять у них большинство, зато в последнем случае успех гарантирует нам сама их конституция. Раньше или позже большинство будет наше — а за ним и страна!»³⁵

Однако и мысль о революции снизу нельзя считать полностью отброшенной. Она очень близка молодежи — бунтующей против скучных парламентских маневров, пронизанной прежним революционным нетерпением и тоскующей по романтическому возбуждению минувшей эпохи.

Эта бушующая молодежь хотела бы склонить старших товарищей к иной стратегии. Кажется, что предлагать ей нечего. Харизматических лидеров по-прежнему не видать, массовых волнений не вызвала

даже Чечня. Но не забудем, что революция снизу знает еще один вариант сценария — пусть он тоже сегодня нереалистичен, но это я так думаю, а молодые и не очень молодые романтики думают по-другому. Это — провинциальное «народное ополчение».

Такая стратегия означает принципиальный отказ от опоры на общенациональные институты, будь то армия или парламент, и перенесение основных усилий оппозиции из столицы на периферию. Если же совсем не выбирать выражений, речь идет о том, чтоб натравить регионы на Москву.

Москва предала Россию — вот лейтмотив мятежных аналитиков. Ее интеллигенция безнадежно испорчена общением с иностранцами и западническими иллюзиями. Как в 1612-м, спасти Россию сможет только провинция. «Наша задача, — формулирует, например, Лимонов, — оттеснить из политики разбитной московско-городской интернациональный класс». Заменяв его кем? «Впустить на политическую сцену провинцию — Сибирь и другие окраины — в них сильны национальные инстинкты»³⁶. Казинцев попытался даже положить этот эмоциональный призыв Лимонова в основу новой политической стратегии оппозиции, исходящей из того, что «именно там, в провинции, выковываются Минины и Пожарские. В продажной деморализованной столице они появиться не смогут»³⁷.

Конечно, само по себе противопоставление народа интеллигенции, провинции центру, «земель» столице — старинная славянофильская идея. И мысль об изгнании из российской политики столичной интеллигенции, «образованщины», не нова, она принадлежит на самом деле Солженицыну. Но сегодняшние оппозиционные бунтари идут дальше. Недаром Лимонов называет свой сценарий «национальной революцией». Он прав.

Ловушка для оппозиции

Ничем, кроме крайнего отчаяния, не могут быть продиктованы эти призывы. Какой Минин, какой Пожарский? В стране, начиненной ядерным оружием и атомными электростанциями, сценарий провинциального народного ополчения, натравливания регионов на Москву, грозит российской Вандеей, грандиозным кровопролитием и в конечном счете распадом России.

Но ирония ситуации заключается в том, что в эту опасную ловушку загнал оппозицию вовсе не ее главный враг, Запад, и тем более не послеевгустовский режим. Она сама себя туда загнала — своей неспособностью просчитывать последствия собственных действий, своим провинциальным невежеством, своей вульгарной авторитарной и антисемитской риторикой, своим постоянным поиском реваншистского, чтоб не сказать фашистского решения имперского кризиса.

Начиная с мечты о военном перевороте в 91-м и далее везде — она упорно отказывалась видеть реальность собственной страны, на протяжении трех поколений страдавшей под авторитарным игом и

слышать не желающей о его реставрации. По крайней мере тогда, когда оппозиция пыталась ей его навязать.

Подобно германским «патриотам», стремившимся в эпоху путчей и мятежей 1920-23 гг. сокрушить веймарский режим лобовой атакой, российские реваншисты были обречены в стране, где резервуар прозападных симпатий и, следовательно, либеральных ценностей был достаточно велик, чтобы дать переходному режиму еще один шанс. Тем более, что отчаянно расколотая оппозиция не могла предложить ни лидера, способного на равных соперничать с Ельциным, ни программы, в которую могло бы поверить большинство. Вот почему, чем более открыто демонстрировала оппозиция свой догматический авторитаризм, тем глубже становилась пропасть между ней и страной.

Как и в Германии после 23-го, результатом оказалась лишь растущая политическая индифферентность населения, положившая конец фазе путчей и мятежей. Наступила новая эпоха — время политической стабилизации. И оппозиционная риторика зазвучала вдруг как сектантские завывания, а внутренние споры — как перебранка банкротов.

И особенно неуместными и дурацкими выглядели пламенные призывы этих банкротов к новой революции снизу. Как будто она не пробовала уже однажды вытащить этот сценарий, правда, в другом, «массовом» его варианте, тоже в ситуации политического безрыбья, когда она уже отреклась от «мундира» («армии у нас больше нет» — помните?), но все еще чуралась парламентской «жилетки». Бездна сил была вложена в организацию «маршей пустых кастрюль» и многотысячных митингов под красными знаменами. И чем это кончилось?

Ничем — кроме отчаянного бунта «белых» антикоммунистов, устравившихся, что такое развитие событий ведет к коммунистическому реваншу, что их «патриотические» штандарты растворяются в море красных знамен, а единственным вождем в конечном счете может оказаться Красный Дантон.

В тот раз с помощью «перебежчиков» конфликт удалось погасить, слепив «красно-белую», а точнее «красно-бело-коричневую» оппозиционную амальгаму. Она никогда не была по-настоящему прочной. Ведь только растерявшиеся от крушения очередного сценария аналитики могли трактовать победу коммунистов на выборах как «триумф оппозиции». На самом деле «красные» вовсе не хотели делиться с «белыми» своим успехом. Но революционный пафос эпохи путчей и мятежей все же как-то скреплял триаду. А вместе с той эпохой кончилась и единая оппозиция. Не сумев выработать объединительную идеологию между августом 1991-го и октябрем 1993-го, она обрела себя на распад. Точнее поэтому, наверное, говорить о конституционных сценариях — каждая из фракций пойдет к завоеванию голосов на выборах под своим знаменем.

Когда и чем закончится новое безвременье? Выполнят ли известные, а там, возможно, и еще не известные нам идеологи свои обещания, предложат ли новую объединительную идею, подготовив

таким образом почву для новой эпохи путчей и мятежей, — покажет время. Но в любом случае реформаторам тут радоваться нечему. Ибо главное достижение оппозиции — созданная ею ситуация политического пата — остается. И психологическая война продолжается. И резервуар прозападных симпатий в России неуклонно пустеет. И надежды, что страна как-то выкарабкается из кризиса, опираясь лишь на внутренние политические ресурсы, становится все эфемерней. Своими силами маргинализировать непримиримую оппозицию до следующей эпохи путчей и мятежей режим, ослабленный метастазами имперского реванша в собственном организме, уже не сможет.

Угодив в роковую ловушку, оппозиция ухитрилась затащить в нее и послеавгустовский режим.

ПОЛИТИКА СОУЧАСТИЯ

*Без западной мысли
наш будущий Собор так и останется
при одном фундаменте.*

Александр Герцен

*Глас вопиющего в пустыне хуже
всего слышен в оазисах.*

Евгений Сагаловский

На чем стоит Америка?

Каждый студент в Америке знает, что отцы-основатели этой страны никогда не расставались с исторической аналогией — не только в своих речах и трактатах, но даже в частных письмах. Их политика зависела от того, как толковали они прошлое. Недавно изданная книга о конституционных дебатах в Филадельфии 1787 г., где впервые собраны вместе аргументы сторонников и противников федеративной республики,¹ воскрешает и несходство интерпретаций, и ярость споров, беспощадно расколовших ряды героев войны за независимость и превративших вчерашних соратников в непримиримых оппонентов. Основанное на исторических аналогиях «опасение, что республики смертны, пронизывало Филадельфию 1787 г.», — объясняет Артур Шлезингер².

Маркс посмеивался над этой приверженностью революционеров к историческим аналогиям, над их странной, как он думал, привычкой философствовать о прошлом, когда надо делать черную работу настоящего. «Как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты,

что переделывают себя и окружающее, как раз в эпохи революционных кризисов они боязливо вызывают себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в освященном древностью наряде, на заимствованном языке разыгрывать новый акт на всемирно-исторической сцене»³.

В отличие от отцов-основателей, Марксу не пришлось при жизни делать историю. И мне кажется, что его ирония каким-то образом связана с этим пробелом в его судьбе. Иначе для него не было бы ничего непонятного в том, что так очевидно было Шлезингеру: «Отцы-основатели страстно штудировали труды классических историков в поисках способов избежать классической судьбы»⁴.

Аналогии помогли им ввести свое предприятие в контекст всемирной истории. Если они и вызывали духов прошлого, то лишь для того, чтобы заглянуть вперед и все узнать о подстерегающих там ловушках. Они творили новый мир всерьез и надолго и потому отвергли статичный, внеисторический подход, продиктованный сиюминутными политическими расчетами. Может быть, именно поэтому и стоит сотворенный ими мир уже третье столетие.

Если считать это американской традицией, становится совершенно непонятно, почему она бездействует в отношении России, тоже переживающей сейчас момент сотворения. Допустим, ожидать, что сегодняшний Вашингтон, подобно Филадельфии 1787-го, весь окажется пронизан опасением, что, перефразируя Шлезингера, новорожденные демократии смертны, было бы чересчур. Но специалисты, занимающиеся Россией профессионально, эксперты, делающие карьеру на российской проблематике, они-то почему не всматриваются в прошлое, которое одно только способно защитить от повторения «классической судьбы»?

Может быть, они нашли другой способ, другую теоретическую модель, которая лучше, чем историческая аналогия, позволяет им хоть приблизительно, хоть в общих чертах представить дальнейший ход российского кризиса? Не стоит обольщаться: никаких других способов тоже нет, и никто их не ищет.

Частичный ответ на эту загадку читатель уже знает. Отбивая ритуальные поклоны в сторону российской демократии, все, чем озабочены на самом деле мои американские коллеги, — это проблема российского капитализма. А тут уж точно — исторические аналогии ни к чему. Да их просто в природе существовать не может, потому что никто еще, никогда и нигде не переходил из социализма в капитализм. В этом смысле то, что происходит сегодня в России, не имеет ровно ничего общего с ситуацией в предвоенных Германии или Японии, о которых так много было сказано в этой книге. Обе они были вполне рыночными странами и в момент катастрофы их демократии в конце 20-х., и во время тоталитарной диктатуры в 30–40-е, и в годы их успешной демократической реконструкции после войны.

Мы видели, что даже авторы самого тщательного исследования будущего России⁵ утешают читателя тем, что хотя тяжелые повороты событий не исключены, но исход будет благоприятный — утвердился «капитализм русского стиля». Что же касается демократии, тут непонятно: может, она будет, а может — и нет. Но так ли уж это существенно, если капитализм в любом случае России гарантирован?

Откуда же такая действительно напоминающая флюс однобокость? Ближайшее объяснение — сила инерции. Эти люди сформировались в годы холодной войны с коммунизмом, и перестать воевать с ним — выше их сил. Если не с ним, то с его призраком — с возможностью его реставрации. Победоносный капитализм один только сможет справиться с этим призраком. Поэтому ни о чем другом они не в состоянии ни говорить, ни писать, ни думать. Они все еще живут в том недавнем прошлом, откуда не видно, что история уже сделала свой выбор и коммунизм в России мертв.

Преувеличение? Но если бы наши эксперты поспедали за ходом событий, они бы, наверное, заранее были готовы к внезапному окончанию холодной войны. И российская экономическая реформа не застала бы их, скорее всего, врасплох. Так что же невероятного в том, что они опять отстали от поезда?

И ровно в той мере, в какой зависит от этих ученых мужей русская политика Америки, отстает от поезда и она. Но и вправду ведь с точки зрения строительства капитализма невозможно оценить реальную опасность политических мутаций в России. Не случайно лишь отдельные отряды российской непримиримой оппозиции сосредоточены на противодействии капиталистической трансформации. Для других это побочная цель, а третьих вообще хоть сегодня можно объявить потенциальными союзниками. И вправду, с этой точки зрения сверхидея оппозиции — реставрация империи, как и воспитание ненависти к Западу, как и порыв к удушению демократии — могут выглядеть чем-то восторженными.

Есть к тому же капитализм и капитализм. Если видеть в нем только могильщика коммунизма, тогда действительно неважно, какой именно капитализм воздвигается на развалинах Советского Союза. Но ведь и в муссолиниевской Италии, и в гитлеровской Германии как раз капитализм и служил основанием имперской экспансии. Той самой, о которой мечтают лидеры оппозиции — от Проханова до Жириновского. Так стоит ли помогать им строить такой капитализм?

Легче ли было европейским евреям от того, что газовые камеры, в которых их уничтожали, выстроили образцовые антикоммунисты?

Принципиальные политические различия между обычными национальными государствами, как, допустим, Польша, и бывшей имперской державой, как Россия, при таком подходе размываются до неуловимости. Но ведь Россия — это не просто очень большая Польша или Болгария, или даже Украина. Добрых полторы дюжины стран постсоветского мира переживают сейчас маркетизацию как тяжелую болезнь. Но нигде больше реакция на эти испытания не вызвала к жизни антизападную оппозицию, свирепую, непримиримую и достаточно могущественную, чтобы захватить контроль над парламентом страны. Только в России. Ни в одной столице не была зарегистрирована попытка фашистского мятежа. Только в Москве. Где еще сумела реваншистская оппозиция расколоть страну, загнав ее в ситуацию политического пата? Где еще возникло что-нибудь подобное феномену Жириновского? Или Проханова? Или Шафаревича? И где еще, наконец, есть вероятность, что кто-то из таких лидеров, вдохновляемых беспощадной ненавистью к Западу, может и впрямь оказаться у руля ядерной сверхдержавы?

В любой стране национализм может быть и отвратителен, и очень опасен. И все же в таких странах, как Польша, характер у него скорее оборонительный, чем агрессивный, скорее этнический, чем имперский, и обращен он скорее внутрь, нежели на внешнюю экспансию. А российский национализм свойственны прежде всего именно эти оттенки — агрессивные, экспансионистские, имперские.

Но если мышление зациклено на старом добром антикоммунизме, по необходимости принявшем вид помощи «капитализму русского стиля», эти различия могут показаться несущественными.

Что, похоже, и происходит.

Злоключения веймарской гипотезы

Начиная много лет назад эту работу, я вообще не думал о том, что пишу исторический сценарий и что в итоге он окажется веймарским. Я просто искал объяснения некоторым волновавшим меня фактам и пользовался при этом единственно доступным методом исторической аналогии.

Передо мной были две нации, русская и немецкая, рождение которых, по воле истории, совпало с формированием империи. Эта особенность придавала специфическую окраску всем проявлениям национального в массовом сознании. Одна из них уже продемонстрировала, что распад империи воспринимается этим экстраординарным национализмом тоже экстраординарно — как смерть нации.

Значит, и другая нация на схожие события могла выдать точно такую же реакцию.

Передо мной были две страны, опоздавшие с либерализацией в девятнадцатом веке и попытавшиеся «прыгнуть» в демократию в начале двадцатого. В одной из них этот прыжок обернулся установлением фашистской диктатуры.

Значит, и для другой страны вероятно была такая перспектива.

Так постепенно, на множестве сопоставлений, складывалась веймарская аналогия. Она вобрала в себя японский и китайский демократический опыт начала века, японский и германский послевоенный опыт. Я увидел глубочайшее родство имперских держав, скрытое за их географической, исторической, культурной непохожестью. Я убедился в крайней уязвимости, чтоб не сказать обреченности новорожденной демократии, возникающей на руинах таких имперских держав. А над могилами демократии неотвратимо вырастал фашизм.

Когда полтора десятилетия назад, в сумрачную эру брежневского детанта (американский синоним разрядки), я впервые вышел с этими соображениями на публику, ясно было, что я практически ставлю на кон всю свою научную репутацию⁶. Говорить об угрозе фашизма в России казалось тогда совершеннейшим вздором, если не безумием. Российский публицист Вилен Люлечник ничуть не стесняется признаться в этом: «Между 1945 и 1985 сама постановка вопроса о возможности возникновения фашизма в России казалась абсурдной»⁷. Это говорит о полном пересмотре позиции, от чего мои американские коллеги и сейчас так же далеки, как и тогда.

Успех моя гипотеза имела нулевой. Серьезные советологи в ту пору игнорировали русский имперский национализм. Веймарский

сценарий не показался им заслуживающим их внимания, и они снисходительно его третировали. Может быть, сейчас, они переменили бы мнение, если бы заметили, что в этом сценарии точно определены будущие места и роли и для Шафаревича, и для Жириновского, и для Проханова, хотя в ту пору Шафаревич был еще почтенным диссидентом, Жириновский клерком, а Проханов писал романтические, не лишённые обаяния очерки и думал только о своих публикациях. Но кто же, кроме самого автора, заглядывает в его давние статьи и книги?

Я только-только приехал тогда из брежневской России, имея лишь самое смутное представление об американской истории. Конечно же, и подозревать не мог, что, основывая свои работы на исторической аналогии, я лишь присоединяюсь к старой и славной школе мысли, к которой принадлежали и отцы-основатели этой страны, что и для них аналогия была главным аналитическим инструментом, хотя уж они-то ставили на кон нечто неизмеримо большее, нежели академическая репутация. Естественно, это наполняет мое сердце подобающим смирением. И все же я не перестаю недоумевать, почему недавний русский эмигрант, следующий в своем поиске по пятам за отцами-основателями Америки, оказался в этой стране в таком одиночестве?

Давно, впрочем, известно, что человек не может быть судьей в своем собственном деле, а если пытается, то сразу навлекает на себя косые взгляды. Насколько он объективен? Насколько способен прислушаться к чужому мнению? Ему кажется, что его игнорируют. А может быть, есть к нему серьезные претензии, только он их пропускает мимо ушей?

Охотно уступаю судейские функции читателю, выложив перед ним на стол все аргументы критиков.

Вот возражение одного из вождей реваншистской оппозиции Сергея Бабурина, который вглубь не пошел, а ограничился разъяснением, что «неубедительно выглядят применительно к современной России постоянные ссылки на опыт “веймарской” политики и восстановления Германии и Японии (после войны). Ситуации настолько отличаются, что даже как-то неудобно напоминать об этом автору»⁸.

Действительно неудобно — сводить полемику к таким тривиальным вещам, как неповторимое своеобразие любого исторического прецедента. Ситуации античных Афин, скажем, 387 г. до н.э. и Филадельфии 1787г., — разделенные не шестью десятилетиями, а двадцатью двумя столетиями — различались неизмеримо больше. Но это не помешало отцам-основателям разглядеть то общее, что между ними все-таки содержалось, и опыт афинской демократии до сих пор исправно служит народу Америки.

Но, кстати, и сходство может обмануть, если скользнуть по поверхности. Да, в Москве не в диковинку сейчас услышать, что фашист — это звучит гордо и великолепно. Да, фюрер германских неонацистов Герхард Фрей приглашает Жириновского как почетного гостя на съезд своей партии, а немецкие бритоголовые восхищаются организацией штурмовых отрядов Баркашова. Да, губернатор Нижнего Нов-

города Борис Немцов вполне допускает, что в нижней точке падения экономики власть возьмут фашисты⁹, и 65% опрошенных в России евреев опасаются повторения Холокоста, и по крайней мере дюжина аналитических центров не покладая рук работает сегодня над контурами националистической контрреволюции.

Но следует ли из всего этого, что советская Россия уже окончательно и бесповоротно стала веймарской и пост-ельцинской Москве не избежать судьбы Берлина? Что подобно тому, как победивший в Германии фашизм тотчас опрокинул все расчеты и реформы европейских политиков, мгновенно смешает все карты политиков сегодняшних и российский фашизм в случае своей победы?

Ясно, что ответ на эти страшные вопросы больше зависит не от количества и даже не от точности таких прямых совпадений, а от их интерпретации. Перейду поэтому к возражениям более серьезных, чем Сергей Бабурин, критиков и к их интерпретации фактов, которой они пытаются разбить мою. Ручаюсь, что свожу их к трем пунктам единственно из соображений экономии бумаги: ничего существенно мною не выброшено.

Даже если картина точна, она ничего не добавляет к тому, что и без того известно. Да, в пост-ельцинской России возможен brutальный авторитарный переворот. Но кто это отрицает? Никто и без веймарской аналогии никогда не сомневался, что переход России к демократии будет медленным и мучительным и что от авторитарных реставраций она не застрахована. В том числе и от режима националистической диктатуры, «Русского медведя», как называют его Ергин и Густафсон.

Но: этот репрессивный режим не будет подогреваться классовой ненавистью, и он вряд ли продержится долго. Уже через несколько лет его правители, не имея никакой экономической альтернативы, будут опять готовы слушать советников, ориентированных на рынок. Давление в пользу экономической либерализации снова начнет нарастать. Так что нечего беспокоиться, от капитализма России все равно не уйти. А на трансформированной экономической базе, на фундаменте свободного рынка и политическая надстройка тоже сама собой образуется. Не раньше, так позже, если не к 2010, то, скажем, к 2025 г.: какая разница, если демократия в Россию все равно придет?

А вот **русский национализм в веймарском сценарии обрисован искаженно.** Во-первых, концентрируя все внимание на непримиримой оппозиции, этот сценарий навязывает миру абсурдную идею, что никакого другого русского национализма, конкурирующего с этой оппозицией, в сегодняшней России не существует. В сценарии этом даже не рассматривается умеренный, цивилизованный национализм, лучше всего представленный в культурной сфере выдающимся ученым Дмитрием Лихачевым, а в политической — самим Борисом Ельциным. Во-вторых, даже если «Русский медведь» и победит на время в Москве, у него все равно не хватит ресурсов, чтобы серьезно угрожать Западу. Он может быть сколь угодно жестоким и репрессивным внутри страны, но представить реальную проблему для национальной безопасности США он не сможет.

Звучит, конечно, успокоительно — в особенности по другую от «Русского медведя» сторону океана. Но эта интерпретация охватывает только одну модель развития событий и никак не покрывает других.

Где, например, гарантии, что «авторитарной реставрации» в России отмерен настолько короткий срок, что и тревожиться не о чем? Свободный рынок, капитализм? Но он уже однажды не спас европейских евреев от Холокоста, а США — от Пирл-Харбора. Экономические трудности, создающие давление в пользу экономической либерализации? Так ведь ни германский, ни японский «медведи» этому давлению не поддались. Все, в чем нуждались их страны, они вполне успешно разрешали внеэкономическими средствами, изящным слогом выражаясь, а попросту — за счет грабежа. Такого же точно грабежа, каким прельщает своих избирателей Жириновский. Тем хищникам недостаток ресурсов послужил не препятствием, а только стимулом и оправданием их агрессии. А «Русский медведь», он что, не той же породы зверь?

Из чего, далее, следует, что эта новая диктатура будет мягче и умереннее, чем сталинская? Из того, что она будет утверждаться не на классовых, а на националистических страстях? Но разве были смягчены национализмом тоталитарные режимы в Германии и Японии? Разве он умерил их агрессивность? И, наконец, разве были в распоряжении демократического сообщества какие бы то ни было другие средства сопротивляться фашистской агрессии, кроме военных?

И уж совсем непонятно, на чем основана уверенность, что «Русский медведь», если ему удастся победить в Москве, этим и ограничится. Не мешало бы интерпретаторам рассмотреть его и в другой ипостаси — как ударную силу всемирного фашистского и фундаменталистского восстания против демократии. Даже если, в отличие от меня, этот вариант не кажется им наиболее вероятным.

Что же до «умеренного и цивилизованного» национализма, то обойден он мною лишь потому, что его сегодня в России не существует. И этот взгляд, кстати, полностью разделяют и Ельцин, и Лихачев, высказавшийся на этот счет с исчерпывающей определенностью: «Я думаю, что всякий национализм есть психологическая аберрация. Или точнее, поскольку вызван он комплексом неполноценности, я сказал бы, что это психиатрическая аберрация... Я повторяю это снова и снова и буду повторять»¹⁰.

Либерал и патриот своей страны, профессор Лихачев был бы смертельно оскорблен, узнав, что его смеют называть русским националистом.

И Ельцин, думаю, тоже.

Узелки на память

Этот раздел, в котором я попытаюсь свети к нескольким простым формулам свою интерпретацию, — особый. Внимательный читатель, общение с которым длилось у нас на протяжении стольких страниц, может его пропустить: ему и так уже все известно.

А. Главное, из-за чего сегодня в России идет смертельная борьба между агрессивной и ненавидящей Запад оппозицией и неустойчи-

вым веймарским режимом — контроль над арсеналом ядерной сверхдержавы. Не может быть сомнения, что в случае победы оппозиции арсенал этот будет повернут против Запада.

Б. Исход этой борьбы зависит не столько от текущих политических схваток, которые Ельцин умеет выигрывать и может выиграть еще много, и тем более не от успехов приватизации, сколько от того, кто возьмет верх в затяжной психологической войне за умы россиян в пост-ельцинскую эпоху.

В. Выигрыш в этой войне, в свою очередь, зависит от того, удастся ли оппозиции внушить большинству избирателей, что Запад пытается поработить Россию, превратив великую и гордую державу в свой сырьевой хинтерланд.

Г. Даже в том фрагментарном состоянии, в каком находится сегодня оппозиция, лишенная бесспорного фюрера и объединительной идеологии, ей удалось загнать послевугустовский режим в ловушку политического пата. Это позволяет нам судить о ее политических потенциях в пост-ельцинскую эпоху, когда и если обретет она и то, и другое.

Д. До тех пор, покуда Запад будет идентифицироваться в глазах россиян исключительно с шоковой терапией и кричащим социальным неравенством, он будет, по сути, работать против себя и на оппозицию, помогая ей окончательно победить в психологической войне.

Е. Переломить ситуацию можно лишь одним способом — отбросив «гуверовский» подход к России и трансформировав русскую политику Запада в нечто подобное рузвельтовскому Новому курсу. Поскольку опираться он сможет лишь на быстро испаряющиеся прозападные симпатии в России, фактор времени оказывается здесь критическим.

Ж. Главная задача такого Нового курса должна заключаться в нейтрализации имперского реванша. (Даже американский аналитик Майкл Мак-Фол уже подчеркивает, что «инфляция больше не является в России врагом № 1. Фашизм является»¹¹).

З. Нет другого способа борьбы с русским фашизмом кроме мощного демократического контрнаступления. Тем более, что только оно и может вывести на сцену новых лидеров, без которых демократия в пост-ельцинской России обречена.

И. Проблема здесь, однако, в том, что демократические силы России уже не способны перейти в такое контрнаступление, опираясь лишь на собственные политические и интеллектуальные ресурсы.

К. Поэтому, если демократическое контрнаступление вообще возможно в России, инициатива должна прийти извне — в сотрудничестве, разумеется, с наиболее авторитетными в глазах населения лидерами российской культуры.

Л. Именно по этой причине ключ к демократическому возрождению России больше не в Москве. Русские сделали, что могли, мы — не сделали. Они покончили с «империей зла», с холодной войной, с коммунизмом. Они разрушили адский механизм гонки ядерных вооружений. Но сделать все это необратимым они не в силах.

М. Ельцин (или, скажем, Черномырдин) может удерживать для нас форт ядерной сверхдержавы еще несколько месяцев или даже несколько лет. Но какой смысл удерживать форт, если главные силы даже не собираются идти на выручку?

Джордж Вашингтон и Джордж Буш

Этот особый раздел предназначен особому читателю. Я писал его, видя перед собой государственных деятелей, принимающих решения по российским делам. Если книга попадет к ним в руки, нет у меня уверенности, что у них достанет терпения рассматривать всю нарисованную в ней картину в деталях — от слабости, коррумпированности и уязвимости послееавгустовского режима до причин, по которым непримиримые не способны пока что этой слабостью воспользоваться, от фашистских уличных драк вокруг Останкино до «биосферных» изысков Льва Гумилева. Но выбор — за ними, и они должны знать, что и почему они выбирают.

Если они, читатели этого особого раздела, обладают исторической и философской интуицией, подобно, скажем, Джорджу Вашингтону, они не смогут не почувствовать грозную возможность реализации наихудшего сценария. И в этом случае, я убежден, сделают с веймарской политикой то же самое, что сделал президент Рузвельт с отжившими догмами гуверизма в разгар Великой Депрессии. То есть отбросят ее вместе с порожденной ею опасной стагнацией мысли и немедленно начнут поиск принципиально нового подхода к проблеме, покуда еще есть для этого время.

Если же их мышление и их интуиция находятся где-то на уровне питающих их идеями экспертов, то скорее всего, подобно, скажем, Джорджу Бушу, они предпочтут не делать ничего.

Деловая игра

Предположим лучшее — что дух Джорджа Вашингтона сумеет возобладать, Запад откажется от привычной веймарской политики и начнет переход к Новому курсу. Как он будет воспринят в Москве?

Согласитесь, что от ответа на этот вопрос многое зависит. Поэтому весной 1993 года я предложил редакции лучшего московского политического журнала «Новое время» провести нечто вроде деловой игры.

В те дни я был близок к отчаянию, хоть и без видимых причин. До октябрьского фашистского мятежа было еще тогда далеко. Представить себе российские танки, бьющие прямой наводкой по российскому парламенту, было еще немислимо. Жириновский тоже покинул на время авансцену российской политики. И все же никак я не мог избавиться от болезненного ощущения, что это — затишье перед бурей. В московском воздухе отчетливо пахло грозой.

Все, что мог, я сделал, чтобы обратить на это внимание Вашингтона. Выступал в Конгрессе, рассылал по всем адресам отчаянные меморандумы — тянул, одним словом, небо к земле. Но все попыт-

ки провалились. Никто в Вашингтоне и ухом не повел. Говорить о корректировке западного курса накануне грядущей бури оказалось не с кем.

Тогда и предпринял я нечто, для меня совершенно нехарактерное, авантюрное, если угодно. Я попытался сам спровоцировать в Москве предварительную дискуссию о такой корректировке, ту самую, которой следовало бы полахать в Вашингтоне.

В «Новом времени» был опубликован анонимный меморандум «Как сделать российскую демократию необратимой». Основные его мысли полностью воспроизведены в этой книге.

Развернутых откликов на него было довольно много, но для ответа на наш вопрос достаточно будет познакомиться с двумя полярными точками зрения.

Первая принадлежит Александру Яковлеву, известному российскому политику горбачевской эры, которого многие называют «архитектором перестройки». Вторая — не менее известному оппозиционному лидеру Сергею Бабурину.

Яковлев отнесся к идее радикальной смены курса западной политики в высшей степени положительно.

Бабурин, естественно, — наоборот.

«В альтруизм США мало верится на фоне полного краха американских советников правительства Гайдара. Для Запада развал российской экономики означает устранение важного конкурента и получение доступа к его сырьевым ресурсам. Надеюсь, что в США не считают нас настолько близорукими, чтобы не видеть, что за речами в защиту демократии кроется стремление к закреплению нынешнего полуколониального статуса России»¹².

В критике сегодняшнего американского курса полюса, впрочем, совпали. Мнение Бабурина — «американский истеблишмент вновь вырабатывает свою политику в отношении другой страны на тактическом, функциональном, а не историко-философском уровне»¹³ — разделяет и Яковлев: «Нынешний курс представляет собой пусть несколько подрямненное повторение преимущественно выжидательной политики предшествующей администрации... В трудную минуту реформации надежного спасательного круга ни от США, ни от других членов клуба «большой семерки» России не поступило»¹⁴. И дальше: «Семерка все еще вглядывается в происходящее в России, не входя в зону риска и смелых решений... Что-то посулили, но не дали; что-то подбросили на возвращение по прежним долгам, что-то провалилось через дырявые государственные карманы... Схематически рисуется такая картина: стоит на берегу тренированный пловец, а в бурных водах барахтается человек. И слышит крики с берега: греби сильнее, работай энергичнее и руками и ногами. Ничего, что холодная вода. Выплывешь. А я сбегая поищу где-нибудь спасательный круг»¹⁵.

Во всем остальном оппоненты разошлись — и круто. «Меморандум разочаровывает» — «Публикация в «Новом времени» заслуживает внимательного чтения... ее выводы и предложения нестандартны, в них присутствует момент мрачного грядущего, если мировое сообщество обреченно будет тащиться по старым колеям»¹⁶.

Можно даже не помечать, кому принадлежит первая, а кому вторая оценка.

Бабурина, однако, не устраивают и «старые колеи», коль скоро предусматривают они поддержку «гадкого утенка» послеавгустовского режима. «Уже ясно, что нынешний режим не понимает историко-культурного смысла России и поэтому объективно обречен на поражение... Поддерживать нынешнюю правящую группу (несмотря на ее явную неспособность вывести страну из кризиса) значит только консервировать накапливающиеся противоречия, которые на каком-то этапе все равно будут разрешаться, но уже не в эволюционном реформистском режиме, а в революционном»¹⁷.

Ну, а как же следует понимать этот «историко-культурный смысл России»? Если отбросить риторичку, остается жесткий и циничный геополитический вызов. «Ситуация довольно проста: Россия, начавшая 300 лет назад мощное ускорение, чтобы сократить огромное отставание от Западной Европы, к середине 60-х годов XX столетия практически ликвидировала это отставание, а в чем-то и вышла вперед»¹⁸. Интриги западных спецслужб сорвали это ускорение, но оно обязательно возобновится, если понадобится — посредством «национальной революции». В этом предназначение России, в этом наша судьба. И потому «наш совет: не мешайте России»¹⁹.

Устами Бабурина говорит здесь сама полутысячелетняя империя, униженная, проигравшая очередную битву на своем историческом пути, но отказывающаяся признать себя побежденной и уверенная, что сумеет взять реванш.

Эта маленькая дискуссия и отвечает, по сути, на вопрос, как был бы принят в России гипотетический Новый курс Запада. Реакция была бы полярной. Протест против Запада, который позволяет себе «мешать России», — усилился бы. Недовольство Западом, который «стоит на берегу», — пошло бы на убыль.

Непримиримая оппозиция встала бы против Нового курса стеной. Это ясно. Но поскольку она даже и веймарскую политику успела непредусмотрительно окрестить «оккупацией», то еще выше поднять вольтаж своего максимально наэлектризованного красноречия ей будет трудно. А в то, что она сможет оказать реальное противодействие, Яковлев не верит. «Группы реванша беззащитны, озлоблены, шаманствуют, пытаются сбить людей с толку. Но я верю, что управа на них найдется и на государственном уровне, и на уровне общественного мнения»²⁰.

Демократически настроенная публика, конечно, поддержала бы такой поворот. Хотя убедить ее, что Запад действительно изменил курс, будет непросто. Терпение ее уже на исходе, она чувствует, что Запад ее предал.

Но то — полюса, со своим не только наиболее осознанным и отчетливым, но и с наиболее постоянным настроем. Предсказать же массовую реакцию гораздо сложнее.

В начале 1990 г., когда мне впервые было разрешено приехать в Москву и прочитать курс лекций в МГИМО, в спектре мнений преобладала готовность брататься с Западом. Он ассоциировался с началом новой жизни, твердо обещанной народу его руководителями.

Но с каждым следующим приездом я видел, как постепенно испа-

ряются эти надежды, а вместе с ними — и вера в то, что Запад поведет себя так, как положено более сильному и богатому брату.

Воспользуюсь описанием этих изменений, опубликованным московским Институтом социально-политических исследований: «Резко сократилось число сторонников курса радикальных реформ. Многочисленные результаты социологических опросов свидетельствуют о качественных изменениях и переориентации массового сознания россиян: от мощного общественного подъема и веры в скорые положительные результаты до состояния отчуждения и неприятия официально проводимой политики»²¹.

Не сладко придется Западу, однозначно отождествившему себя именно с этой политикой! Справедливо или нет, но ее живым олицетворением стала российская люмпен-буржуазия, киоскеры, торгующие низкосортным импортным хламом вокруг каждой станции метро. Джудит Инграм в «Нью-Йорк Таймс» передает точные приметы этой однозначной идентификации: «Старушки все время приходят и проклинают нас, — жаловалась одна из продавщиц... У многих, кто радовался разграблению киосков [во время октябрьского мятежа], источником ненависти было не только отчаяние по поводу российской бедности, но и отвращение к Западу. “Убирайтесь домой и возьмите с собой свои сникерсы”, — кричали американскому фотографу демонстранты около парламента. Это было постоянным темой антиельцинских демонстраций... У ближайшего к парламенту метро женщины собирали подписи в поддержку Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова под плакатом, умолявшим русских не становиться “рабами Запада”»²².

Можно ли разрушить эту идентификацию? Изменится ли она даже в том случае, если будет реально доказано, что поддержка Запада — это не одни только сникерсы? Боюсь, что во многом изменения необратимы. Два великих разочарования — в реформаторских потенциях постлеавгустовского режима и в союзнических потенциях Запада, наложившись одно на другое, породили невиданной силы эффект отчуждения.

Сердце кровью обливается, как подумает, насколько просто было этого избежать. Ничего не стоило Западу, поставившему себя в России в положение президента Гувера в разгар Великой Депрессии, уподобиться другому президенту — Рузвельту, вернувшему американцам надежду. И тогда все эти отчаявшиеся женщины оказались бы на его стороне.

Это не фантазия. Расскажу в доказательство о своих одиноких попытках пойти против течения. Кое-что читатель о них уже знает, но теперь, думаю, ему и понятнее станут уроки, которые я из них извлек.

Средство от шока

За два десятилетия, которые я провел в Америке, живя, главным образом, в маленьких академических городках (я преподавал историю и политические науки в Беркли и в Энн-Арборе), успел опубликовать много книг о русской истории и политике. Получив возможность приезжать и наблюдать события на месте, я тотчас убедился в том, как на глазах обростает плотью моя веймарская метафора.

Развал империи был при дверях, демократическая трансформация набирала обороты, радикальная реформа была неминуема. Незнакомые по имени герои моих книг — фашистские философы и журналисты, не имевшие до перестройки никакого отношения к московской политике, прозябавшие в подпольных сектантских кружках и издательских группах, — вышли на политическую сцену. Ясно было, что чем радикальнее будет реформа, чем больше лишений принесет она массам, тем больше будет у этих людей шансов создать и возглавить массовое реваншистское движение.

На администрацию Буша надежды не было ни малейшей. В моих глазах она воплощала интеллектуальную стагнацию, тупой и самодовольный «гувернизм». Не было у меня и адекватного доступа к средствам массовой информации, чтобы серьезно предупредить западную публику: титулованные эксперты, о которых я уже столько говорил, меня заблокировали. Я чувствовал, что остался один на один со страшной проблемой.

Что же было делать? Просто сидеть и смотреть, как неотвратимо растет самый большой экзистенциальный страх всей моей жизни? Все мое существо протестовало против такого предательства — своей родины, своих друзей, своих убеждений, самого себя, наконец. Тем более, что кое-какие моральные ресурсы в моем распоряжении все-таки были.

Был у меня, например, мой старый диссидентский авторитет в России. Плюс тот очевидный факт, что к власти шло поколение моих читателей. Мое имя открывало мне все двери в тогдашней Москве. Не такой уж великий капитал, но и он мог принести какие-то дивиденды.

Долго думать о том, с чего начать, не требовалось.

Со времен мировой войны не знала Россия такой остроты потребительского кризиса. Исчезло все — хоть шаром покати. Чтобы хоть что-то поставить на стол, люди проводили большую часть своих дней и ночей в бесконечных очередях. Шахтеры бастовали, требуя — американский читатель мне не поверит, а российский уже подзабыл — мыла. Популярный анекдот тех дней: «У вас нет мяса? — У нас нет рыбы, мяса нет в соседнем магазине». Можно было, не думая, вставлять и другие названия — молоко, сахар, сыр, овощи, что угодно. Не было ничего. Впереди маячил голод.

Шоковая терапия была неизбежна, как ампутация при гангрене. Но, как и ампутация, она могла оказаться смертельной. Выбив почву из-под ног у и без того измученных, предельно раздраженных людей, она толкнула бы их в объятия непримиримой оппозиции, и сектантские «патриотические» кружки немедленно превратились бы в массовое фашистское движение.

Поскольку в моем арсенале не было ничего, кроме нетривиальных идей и доступа к высокому начальству, я и предложил этому начальству нетривиальную идею — «товарный щит реформы». Прошу читателя пробежать глазами мое открытое письмо Б. Ельцину и всесильному тогда Г. Бурбулису, напечатанное в «Аргументах и фактах».

ТОВАРНЫЙ ЩИТ ОТ НИЩЕТЫ

Как и многие здесь, на Западе, я чрезвычайно рад вашему мужественному решению начать, наконец, немедленный прорыв России к рыночной экономике. Видит Бог, люди достаточно пострадали, годами маршируя в никуда.

Тревожит меня и заставляет писать это письмо совсем другое: в ваших заявлениях нет упоминания о товарном щите реформы. О том самом щите, который предназначен ликвидировать товарный голод в стране в момент прорыва и таким образом примирить людей с рынком вместо того, чтобы их с ним поспорить. О щите, который способен связать в их сознании рынок с улучшением их судьбы, а не с прыжком в нищету. Необходимость такого щита мы обсудили с вами, и вы оба с этой идеей согласились.

В год прорыва в страну должно быть завезено столько продовольствия и предметов первой необходимости, что само уже давление этой гигантской товарной массы не позволит повториться скачку цен — и доступно оно будет всем. Ведь даже самые лучшие хирурги не решатся делать операцию на сердце без анестезии. Ибо пациент может умереть у них на столе просто от болевого шока. Товарный щит — анестезия реформы. Не подачки на бедность, не бессмысленные в условиях беспощадной инфляции и товарного голода прибавки к зарплате, не новые заплаты на старые, а товарное изобилие, дающее народу возможность познакомиться с рынком в условиях благополучия, а не обнищания.

Продовольствия более чем достаточно — и в Америке, и в Европе. И деньги на него Запад дать не отказывается. Даже Пентагон предлагает не только выделить из своего бюджета миллиард долларов, но и предоставить свои военно-транспортные самолеты. А где же советские военные? Где организационный штаб товарного щита в российском правительстве? Где стратегия его реализации?

Нет спора, съедят и изнасят все это быстро, может быть, за год. Но ведь какой год это будет! Тот самый, которого боялись и который откладывали с начала перестройки. Откладывали именно из-за страха перед болевым шоком. И насколько же легче будет вам в этот грозный год иметь дело с народом, воспрянувшим и почувствовавшим вашу заботу о нем, нежели с деморализованными от недоедания и уставшими от беспросветности и постоянных разочарований массами, которые могут оказаться легкой добычей отечественных изоляционистов.

Еще не поздно. С военными и с Западом еще можно договориться. Организационный штаб товарного щита еще может быть создан. Необходима лишь политическая воля.

Не слушайте благополучных бюрократов, которые убеждают вас, что нашему народу не грех и поголодать, и подзатынуть пояс на годик — другой, будет, мол, только на пользу делу, научатся вертеться.

С глубоким уважением и надеждой на вашу государственную мудрость.

Александр ЯНОВ

Заранее, до резкого скачка цен надо было мобилизовать продовольственные и товарные ресурсы Запада и выбросить их на российский рынок в первую же ночь реформы. Сам подавляющий объем этой товарной массы ограничил бы взлет цен, к тому же на самом деле в магазинах появилось бы «все». Наверное, все равно было бы трудно перенести шок, но не возникло бы это отчаянное, толкающее

прямо к фашистам чувство обездоленности и незащитности. Этот товарный десант был в моем проекте скомбинирован с превентивными мерами социальной защиты, в первую очередь — с западной гарантией компенсации потерянных сбережений.

Действительно только кулаки сжимать остается, думая о том, как просто было сделать совершенно иным «марсианский» 92-й! Товарный щит мог избавить миллионы людей от страданий. Он мог укрепить позиции режима. Демократия не отождествилась бы с нищетой, вынудив демократов уйти в глухую оборону. Но и о Западе думал я не меньше, обходя со своим проектом кабинет за кабинетом. Об укреплении прозападных симпатий в России, той главной подспудной силы, на которую, как на фундамент, опирается надежда на ее демократическое преобразование. Запад получал уникальную возможность на деле продемонстрировать россиянам, что, поддерживая реформу, он не забывает и всех обездоленных ею, стоит на страже их интересов и вообще не намерен дать им пропасть. Это и вправду была бы позиция, достойная президента Рузвельта, победившего Великую Депрессию. Мгновенно выдернув ковер из-под ног своих ненавистников, Запад предотвратил бы перерастание сектантских фашистских кружков в массовое — и вооруженное — реваншистское движение.

Остановка была лишь за малым: как уговорить западных политиков сделать России, миру и самим себе такой подарок?

На этот случай была у меня в запасе еще одна идея — я уже изложил ее подробно, рассказывая, «как не спас Россию». Мне виделся какой-то современный, не оккупационный эквивалент макартуровского штаба в Японии, которому можно было бы доверить все необходимые для щита средства и полномочия. Придуманной мной Неправительственный Совет Взаимодействия, объединяющий российских авторитеты и сильнейших из отставных политиков Запада, карьера которых на национальной арене окончательно завершена, но которые по-прежнему кипят идеями и энергией, идеально подходил на роль такого штаба. Он был бы достаточно влиятелен не только для того, чтобы вести переговоры с западными правительствами, но и работать внутри страны. Мне виделась сеть потребительских кооперативов, организованных самими гражданами и способных справиться с распределением товарной помощи куда эффективнее государственной бюрократии. Одновременно началась бы самоорганизация гражданского общества... Реформа!

Читатель уже знает, что было дальше. Понадобились почти два года и все мои силы (я буквально не вылезал тогда из Москвы), чтобы 1 мая 1993 г. НСВ был, наконец, создан. Да и то скорее случайно. Фракция радикальных демократов в парламенте задумала создать свой «теневой кабинет» и, к моему вящему изумлению, пригласила меня в качестве премьер-министра. Придя в себя, я и поставил условием создание НСВ.

С российской стороны согласились войти в НСВ такие серьезные политики, как Александр Яковлев, Сергей Шахрай, Дмитрий Волкогонов, Петр Филиппов и Григорий Явлинский, а с западной — Сайрус Вэнс, Валери Жискар д'Эстен, Ясухиро Накасоне, Маргарет Тэтчер, Роберт Макнамара и Дэвид Рокфеллер.

Какой букет имен! И вообще, как обнадеживающе все это выглядело! Подумайте только, один человек, обладающий лишь нетривиальными идеями и неограниченным энтузиазмом, сумел создать международную организацию, способную реально соединить интересы демократической России с приоритетами мировой политики. Теперь ведущие государственные деятели смогут, помимо протокола, приезжать в Россию и помогать России...

Но все это была иллюзия. Начиная с того, что идея товарного щита реформы, первое и главное, чем должен был заняться НСВ, успела к тому времени потерять всякий смысл.

Вокруг нас бушевала совсем другая страна. Покуда я искал пути в фантазмагорической неразберихе и преодолевал головоломные бюрократические препятствия, успела развалиться советская империя. Реформа началась — без всякого щита. «Марсианский» год России, который я так отчаянно пытался предотвратить, наступил. И самое главное, подтвердились мои худшие опасения: сектантский фашизм действительно превратился в массовое реваншистское движение. Он отвоевал у демократов московскую улицу. Один за другим сотрясали Россию грандиозные митинги у Кремля, участники которых истерически обличали Запад и обещали повесить «Иуду Ельцина». Судя по этим митингам, за русскими фашистами шли уже сотни тысяч людей.

Запад однозначно отождествил себя со страданиями миллионов.

Поздно стало думать о предотвращении психологической войны. Думать надо было о том, как ее не проиграть.

Революционное ускорение истории отменило миссию, для которой был задуман НСВ. Теперь нужна была новая идея — и новая миссия. Я предложил ее членам новорожденного Совета.

Запад начинается с Востока

Что еще не было тогда поздно, это включить в игру Японию с ее баснословными технологическими ресурсами. Оппозиция еще не успела организовать массовое движение протеста против возвращения Японии Южных Курил. И значит, обмен островами, захваченных Сталиным, на японские капитал и «ноу хау» был еще возможен.

Я ни минуты не сомневался, что ни доллара из этих кредитов, если бы их удалось получить, не должно попасть в руки правительства. Безнадежно расколотое, оно уже доказало свою неспособность определить собственные приоритеты. Оно беспомощно дрейфовало, зажатое в клещи, между двумя необходимостями — остановить инфляцию и предотвратить массовую безработицу. Хитрость заключалась в том, чтобы отключить коррумпированную государственную бюрократию и направить эти ресурсы непосредственно заинтересованным группам граждан, полагаясь на их демократическую самоорганизацию. Это могло быть сделано под эгидой НСВ, стать частью его новой миссии.

Японцы хотели вернуть острова отчаянно. И готовы были за это платить. Вопрос заключался лишь в том, сумеют ли они определить свои собственные приоритеты. Поймут ли они, что задача, которая перед ними стоит, по природе своей внутривнутриполитическая и поэтому

требует для своего решения политической стратегии? Простое давление на российское правительство, руки которого уже безнадежно связаны непримиримой оппозицией, ровно ни к чему не вело. Чтобы президент мог действовать, ему надо было сначала развязать руки — нейтрализовать реваншистов. Нейтрализовать их способна была лишь политика Нового курса. Япония должна была выступить инициатором этой новой политики.

Так выстраивалась для нее стратегия возвращения северных территорий.

Способен ли был НСВ подтолкнуть ее к такому радикальному повороту даже при том, что в него входили два бывших японских премьера, в том числе и такой опытный политик, как Ясухиро Накаоне? И главное, можно ли было быстро осуществить такой поворот?

В мае 93-го было вполне очевидно, что в нашем распоряжении оставалось всего несколько месяцев. Захватив инициативу и развивая психологическое наступление, оппозиция уже готовилась вторгнуться в сферу внешней политики. Я отчетливо понимал, что снова упустить время — значило обречь новую миссию НСВ на ту же участь, что постигла прежнюю. А тут замаячила на горизонте очередная неподъемная проблема. Способен ли новорожденный НСВ функционировать в таком напряженном режиме? Его состав и организация были всецело в руках парламентариев, привыкших работать по-русски. То они позабыли пригласить на учредительную конференцию самых важных иностранных членов, то не сообразили ответить на их письма, как было с Дэвидом Рокфеллером... Задумывалась чрезвычайная акция, а сам инструмент для нее рассыпался в руках.

В любом случае требовалось срочно найти среди японских политиков людей с достаточным влиянием и политическим воображением, способных выступить против официального курса. Критиковать этот курс было легко, потому что заключался он главным образом в тупом и заунывном повторении примитивного рефрена: «Отдавайте наши северные территории!» Японцы действовали в высшей степени непрофессионально, не принимая во внимание ни разгорающуюся психологическую войну в России, ни само даже существование мощной реваншистской оппозиции с ее беспрерывно нарастающим давлением на слабое и нерешительное веймарское правительство в Москве.

Снова — в который уже раз! — недоставало мелочи: как убедить японских политиков перестать ставить телегу впереди лошади?

Дни проходили в бесконечных дискуссиях и переговорах — сначала с одним из бывших премьеров и сопровождавшими его лицами, потом с японским послом в Москве и его командой, затем с российским заместителем министра иностранных дел, ответственным за Дальний Восток.

Наконец, был готов и разослан членам Совета меморандум о новом проекте.

Смысл проекта состоял в том, чтобы одним ударом решить болезненную проблему российских беженцев из отделившихся республик и деморализовать оппозицию, создав условия для мощного демократического контрнаступления.

Читатель, я надеюсь, помнит, что в диалоге со мною Проханов, демонстрируя свои козырные карты, одной из первых назвал проблему

беженцев. А вот что говорил о ней примерно тогда же один из самых интересных московских политических аналитиков Михаил Малютин: «В ряде регионов России число вынужденных переселенцев уже стало значимым фактором (минимальная их оценка за 1992 год приближается к миллиону). Потенциал настоящей гражданской войны... формируется именно в этой среде»²³.

Год спустя число беженцев достигло 2,5 миллиона человек, эксперты же прогнозировали трехкратный или даже четырехкратный прирост в ближайшие годы. Миллионы неустроенных, страдающих, отчаянно борющихся за выживание — и проигрывающих эту борьбу людей! Проханов и Малютин верно судили: брошенные на произвол судьбы, эти люди и впрямь могут составить массовую армию оппозиции — если дать им скатиться на уровень люмпенов. Но они же представляют и надежду России. Эти россияне закалены жизнью, в большинстве случаев образованны, трудолюбивы и прилежны. Дайте им поприще для приложения сил, возможность достойно жить — вы получите настоящую армию возрождения страны.

Мой план и был построен на этой, как говорят шахматисты, «вилке»: одной акцией и отнять у реваншистов массовую политическую базу, и создать плацдарм для демократического контрнаступления. Тем более, что без такого контрнаступления, говорил я тогда японцам, не видать вам Курил, как своих ушей. Во всяком случае в нынешнем поколении. Время работает против вас. Если сегодня руки у президента связаны сопротивлением оппозиции, то завтра, когда она возьмет под контроль международные дела, ваш вопрос вообще будет закрыт (и именно так, читатель знает, несколько месяцев спустя все и произошло).

Но тогда японские политики выслушали мое предложение заинтересованно и благожелательно. Конкретно заключалось оно в том, чтобы Токио переадресовал 2,5 миллиарда долларов, предназначенных для России, нашему Совету. Что пользы, если они попадут московской бюрократии с ее дырявыми карманами, пытался я им объяснить. Кроме того, передача денег российскому правительству сделает эту помощь политически невидимой, а анонимность — это как раз то, чего вам во что бы то ни стало нужно избежать. Вам как раз нужна громкая международная кампания. Вам нужно показать всему миру и, в первую очередь, российской публике, что именно вы взяли на себя заботу о ее беженцах, о ее демобилизованных солдатах, о ее бездомных и отчаявшихся. Обо всех тех, одним словом, до кого не доходят руки у Запада.

Голубые города

А предложил я японцам вот что: выступите с инициативой строительства в сердце страны двух или трех городов, соответствующих вашим современным стандартам. Причем специально для беженцев и бездомных. И чтобы строили они их сами.

Такой проект не только нанесет сокрушительный удар «непримиримой» оппозиции, развязав тем самым руки президенту для реше-

ния курильской проблемы. Он изменит политический климат в России и развяжет несколько узлов, которые сейчас выглядят мертвыми,.

Камня на камне не останется от действующих неотразимо обвинений, что демократия покинула в беде миллионы русских за пределами России.

Вместе с убойным лозунгом оппозиция потеряет и наиболее воинственных потенциальных приверженцев. Этим людям некогда будет скандалить на площадях, они будут строить собственное жилье.

Растущие города переломят безнадежность и апатию, станут наглядным символом того, что может принести России демократия, а одновременно — предметным напоминанием о том, что может она потерять, если мир от нее отвернется.

В стране начнется строительный бум. Хоть капитал и менеджмент придут из-за границы, но технология, инженерные и архитектурные таланты, рабочие руки и строительные материалы все равно будут отечественными.

А уж как будут деморализованы «непримиримые» — и потерей козырного туза из своей колоды, и стремительным переходом демократии в наступление — это уже вообще само собой разумеется.

Только в такой обстановке, при таких радикальных изменениях политического климата в стране сможете вы говорить с президентом о Курилах, убеждал я японцев.

А вот чего я им не говорил. Приняв такой проект, они могли бы, я надеялся, стать своего рода локомотивом реформы всей западной политики в отношении России. Они создали бы, по сути, новое — символическое — ее измерение. Наглядно показали бы миру, что такое **политика соучастия** в демократической трансформации имперской державы. И доказали бы, что такая политика в принципе возможна.

Создав в России остров надежды, символ великого гражданского будущего, политика соучастия одновременно продемонстрировала бы и самому российскому правительству, что к такому будущему ведет не утверждение своей гегемонии в соседних республиках, а внутренняя гражданская трансформация.

Верил я и в то, что «японский» проект создаст новое гигантское поле приложения сил не только для российской молодежи (которая может клонуть — и, к сожалению, клюет-таки — на фашистскую романтику «национальной революции»), но и для интеллигенции, оказавшейся одной из главных жертв переходного времени. Особенно, если бы новые города для беженцев, полностью демилитаризованные и свободные от государственной собственности, предназначены были стать, скажем, эталонами экологической чистоты и центрами демографического возрождения страны.

А какой простор для предпринимательской деятельности открыли бы они в задыхающейся от господства государственных монополий стране!

Ничего общего с кредитами МВФ, от которых трудящемуся россиянину не тепло и не холодно. Ничего общего с невидимой «помощью», бесследно исчезающей в пучине экономического хаоса. Каждый гражданин России сможет увидеть своими глазами, сможет пощупать собственными руками, сможет почувствовать, что дает ему политика соучастия.

Сколько осталось бы тогда избирателей у Жириновского? Ведь он лишь обещает нации возрождение, а мы бы ее — возрождали.

На каждой из моих встреч с японскими политиками неизменно присутствовали молодые помощники, прилежно записывающие в свои блокнотики каждое мое слово. От некоторых из них я слышал потом, что они совершенно со мною согласны.

К сожалению, ни их блокнотики, ни их поддержка ровно ничего в официальной японской позиции не изменили. В результате произошло то, что должно было произойти. Уже к осени 1993 г. оппозиция перешла в очередное наступление, и вопрос о Курилах был снят с повестки дня. «Японский» проект разделил участь щита реформы. Еще один раунд в психологической схватке был проигран.

Правда, через несколько месяцев оказалось, что какое-то будущее у проекта, возможно, есть.

На этот раз не я искал, а меня нашли в Москве люди, профессионально занимающиеся проблемой беженцев. От них я узнал, что сами их подопечные прочли в газетах о моем проекте и он их очень воодушевил. Не совсем разобравшись, что к чему, они поняли так, что в далекой сытой Америке кто-то думает об их судьбе, сочувствует их бедам — и отчаянно пытается помочь.

Попал проект и в руки к московским представителям Международной организации по миграции (МОМ), которые, замечательно его трансформировав, сделали своим рабочим документом. Вместо мега-городов предложили они создать для мигрантов и демобилизованных солдат мега-регионы, в Тамбовской и Новгородской областях, где сейчас проживает около двух миллионов человек, а могло бы разместиться десять, — при готовой инфраструктуре и сочувствующей местной администрации. Кроме средств, поступающих из-за рубежа, финансировать все работы должны были предприниматели из числа тех же беженцев. Проект обещал быстрое развитие областей в целом — а в России очень важно, чтобы не появлялись привилегированные, возбуждающие зависть группы.

Единомышленников у меня нашлось множество. Десятки профессионалов и энтузиастов — архитекторы, градостроители, проектировщики, менеджеры — с увлечением подхватили идею.

Одно только плохо: и по сию пору это всего лишь проект.

Опыт — сын ошибок

Прерву на этом свою одиссею, хоть она еще и не закончена. Но характер ее уже обрисовался ясно. Неудача за неудачей, опоздание за опозданием, провал за провалом. Ничего не удалось сделать, ничему не удалось помешать.

Но почему? Какую истину должен я извлечь из всех этих горьких разочарований?

Идея была пустая, неосуществимая? Но ведь это не так. Она не раз проходила самую строгую экспертизу. Допустим, мнение, как их называют, простых людей, мешками славших мне горячие восторженные письма, не в счет: у них золотые сердца, но они некомпетентны. Но неужели такие асы современной политики, как Маргарет Тэт-

чер или Валери Жискар д'Эстен, согласились бы включиться в какое-то нелепое предприятие? Рискнули своей репутацией непревзойденных стратегов и тактиков, заранее зная, что ничего у них не выйдет?

Или во мне самая причина? Я взялся не за свое дело, оказался чересчур наивен, непрактичен... Что ж, если у читателя возникнет такое мнение, мне нечего будет возразить. Но я ведь был не один, я не испытывал ни малейшего недостатка в самых трезвых и проникательных единомышленниках. И если бы проблема была в незнании механизмов высшего государственного управления, то и таких людей, делом не раз доказавших, что эта премудрость им известна, рядом со мной было немало.

Нет, объяснений надо искать в другом.

В особенностях времени, например.

Артур Шлезингер в своих «Циклах американской истории» говорит, что режимам реформ, открытым для новых идей, периодически приходят на смену режимы интеллектуальной стагнации. Очевидно, это справедливо и для Америки, и для России. Моя собственная теория политических циклов в российской истории это полностью подтверждает²⁴.

Как выбирает страна свои политические приоритеты? Кто определяет наше будущее?

Ведь это подумать только: одна шестая часть планеты резко меняет устоявшийся за столетия облик. Событие не менее экстраординарное, чем если бы, к примеру, Атлантида вдруг поднялась на поверхность, дав новое и неожиданное направление всему — от океанских течений до мировой торговли. Какой всплеск мысли должно было бы такое событие возбудить! Как стимулировать политическое воображение! Десятки и сотни версий, идей, интерпретаций, вплоть до самых еретических, должны были бы возникнуть в связи с этим новым соседством, выливаясь в дискуссии — ну уж, по крайней мере, не менее интенсивные, чем на конституционном конвенте в Филадельфии двести с небольшим лет тому назад.

И разве не должен был найтись кто-то, кто выслушал бы всех — историков и экономистов, психологов и конфликтологов вместе с теми, кто мог бы рассказать о послевоенной демократической трансформации Германии и Японии на основании собственного опыта, в подробностях, памятных только этим людям?

Так нет же! Судьбоносные решения были приняты несколькими бюрократами — келейно, без всякой дискуссии, даже без попытки объяснить обществу, почему именно эти решения ему следует считать наилучшими.

Не я первый стою в недоумении перед этим неразрешимым парадоксом, обнажающим самое уязвимое место в природе современной политики.

«Те, кто наверху, мыслят узкими категориями, их карьеры, их позиции и власть коренятся в устоявшихся истинах. Просто не существует окна, сквозь которое новые идеи или новая информация могли бы проникнуть в их сознание, бросив вызов этим общепризнанным истинам. Любой, кто попробует это сделать — т. е. спросить “а что если?” — рискует оказаться изгоем или городским сумасшедшим

или, еще хуже, придворным шутом»²⁵. Что-то в самом саркастическом тоне Ергина и Густафсона подсказывает нам, что с этой опасностью — стать изгоем или шутом — они тоже знакомы не понаслышке. Отсюда и вывод, какой они для себя сделали, — не выходить за рамки своего амплуа. Информировать, а не предлагать. Наблюдать, а не кидаться в драку. Пусть все идет, как идет — будущее само выберет, по какому из множества сценариев ему развиваться. Все равно те, кто наверху, будут руководствоваться прежде всего интересами своей личной карьеры.

А для собственного душевного спокойствия всегда можно найти какой-нибудь глубокомысленный афоризм — вроде того, что «безнаказанно играть с невысказанным можно только внутри многосценарного процесса»²⁶.

Это в высшей степени удобная позиция, гарантирующая душевный комфорт. Но, очевидно, мой характер, темперамент, да и особенности судьбы ей не соответствуют.

Я предпочел из своих поражений извлечь конструктивные уроки.

Хотя и не принесли мои усилия ощутимых практических результатов, они доказали, что реальная альтернатива нынешней политике существует. «Поддержка реформы» — хорошо как девиз, но не годится для определения цели — слишком общо и слишком абстрактно. Цель должна быть представлена в виде комплекса достаточно простых и очень конкретных практических задач, на которых можно сфокусировать наличные политические и материальные ресурсы Запада. А недостатка в таких задачах не будет. Впереди длительная полоса психологической войны, кризисы неизбежны.

Второй урок сформулировал Александр Яковлев, политик в высшей степени практический, в ходе нашей дискуссии в журнале «Столица»; дело давнее, но его слова полностью подтвердились. «Покуда два реформистских президента не встанут твердо за этим предприятием, ничего из него не выйдет»²⁷.

Я уже говорил, что обращаться за помощью к администрации Буша казалось мне заведомо бесполезным. С приходом в Вашингтон новой, реформистской администрации надежда пробудилась. Но вот уже и новые президентские выборы замаячили на горизонте... Как в воду глядел архитектор перестройки!

Не столько уроком, сколько подтверждением изначальных моих предположений и предчувствий стал третий вывод: без нетривиальных идей, бросающих вызов «общепризнанным истинам», не будет политики соучастия, какими бы высокими авторитетами она ни держалась. Ведь с точки зрения этих устоявшихся истин, не было каких-то грубых ошибок в политике Запада. Все как-будто делалось правильно. А в итоге — все ресурсы, мобилизованные для «поддержки реформы» в России, оказались не только выброшенными на ветер, но и работали против нас. Была лишь иллюзия движения. В действительности с каждым новым кризисом вперед продвигалась оппозиция, а мы отступали. Мы бродили по минному полю, в полной уверенности, что идем по безопасной дороге.

Но и нетривиальные идеи — еще один урок — мало чего стоят, покуда они остаются неизвестными западной интеллигенции. Более то-

го: они обречены. Ведь оспаривая веймарскую политику Запада, как бы бесплодна она ни была, рискуешь нечаянно оказаться в одной компании с неперестроившимися русофобами, оспаривающими саму симпатию к России, на которой строится эта политика.

Именно поэтому рассказываю я здесь свою историю так откровенно, ни на минуту не задумываясь о том, какое впечатление могут произвести на читателя мои провалы. И именно поэтому адресую я свою книгу высочайшему из известных мне жюри, российской и западной интеллигенции, той самой, которая шестьдесят лет назад так великодушно бросилась спасать гибнущую испанскую демократию и опять, уже в наши дни, так самоотверженно откликнулась на несправедливость апартеида и боснийской бойни. Слава Богу, до гражданской бойни в Москве дело покуда не дошло. И поэтому результат, на который я надеюсь, заключается лишь в серьезном интеллектуальном усилии, способном, быть может, предотвратить в России новую Испанию 1930-х или новую Югославию 1990-х. Для того ведь и существует в нашем мире интеллигенция, верно?

Новый курс или Новый порядок?

Сведем напоследок к нескольким сжатым формулам все, что открыл нам в нынешней ситуации метод исторической аналогии.

Истории известны два пути, позволяющие имперской сверхдержаве выйти из Великой Депрессии. Новый курс Рузвельта, сохранивший демократию. И Новый порядок Гитлера, демократию ликвидировавший вопреки долгим и безуспешным попыткам ее сохранить.

Новый курс реален для страны, обладающей достаточными внутренними ресурсами, интеллектуальными и политическими, и глубоко укорененной демократической традицией. И то, и другое было у США, но отсутствовало в Германии.

Россия в этом смысле намного ближе к Германии, чем к Америке. Однако, это вовсе не означает, что путь Нового курса для нее закрыт и она обречена пережить кошмары Нового порядка. Выход есть, и история тоже его знает.

Все ресурсы, необходимые для Нового курса, страна может получить и извне. Это полностью подтверждено опытом успешного возрождения послевоенных Японии и Германии. Оба главных препятствия, из-за которых Веймарская республика оказалась нежизнеспособной, были преодолены благодаря детально разработанной политике соучастия. Она позволила сконцентрировать международные ресурсы и направить их на разрешение всех критических проблем демократической трансформации.

Прямого ответа на вопрос, какой должна быть политика соучастия между странами-партнерами, а не победителями и побежденными, история пока не дает. Однако и наличного исторического опыта достаточно, чтобы в самых общих контурах определить ее приоритеты. Удобнее всего сделать это в прямом сопоставлении с нынешней политикой поддержки российских реформ, в наших терминах — веймарской.

Веймарская политика

- Рассматривает Россию как одну из стран распавшегося советского блока, пусть и самую крупную.
- Ориентирует на быстрейший успех капитализма в России.
- Измеряет успех экономическими и финансовыми показателями.
- Как главным инструментом оперирует политически невидимыми кредитами, направляя их правительству с его «дырявыми карманами».
- Ведет к однозначной идентификации Запада с российской люмпен-буржуазией в массовом сознании.
- Постулирует невмешательство в психологическую войну.
- Фокусирует внимание на персональной поддержке Ельцина, неизбежно сообщающей ей временный, переходный характер.
- Не имеет и не может иметь ни интеллектуального, ни оперативного штаба, ни перспективной стратегии, ни надежной обратной связи — ничего, что вкладывается в понятие «политический курс». Поэтому развивается импровизационно, постоянно опаздывает, спотыкается, тонет в противоречиях и не может четко следовать даже самой себе.

Политика соучастия

- Видит в России ключ к глобальной стабильности.
- Полагает главной стратегической целью эффективную нейтрализацию реваншистской оппозиции.
- Использует в качестве основного критерия настроения в обществе — уровень прозападных симпатий.
- Тоже использует финансовый инструментарий, но дело имеет прямую с ячейками демократической самоорганизации; видит в них не столько распорядителей кредитов, сколько живой прообраз гражданского общества, силу, способную противостоять реваншизму.
- Безусловно поддерживая реформу, отождествляет Запад с надеждой в глазах страдающих от депрессии масс.
- Обеспечивает активное соучастие в психологической войне с помощью разветвленной инфраструктуры, включающей постоянный диалог российской и западной интеллигенций, квалифицированную социологическую службу, создание российского лобби в западных столицах.
- Ставит в центр внимания организацию демократического контрнаступления, в ходе которого только и смогут сформироваться новые лидеры российской демократии.
- Создает интеллектуальный штаб, ответственный за выработку стратегии сохранения российской демократии, и сильную исполнительную организацию, способную эту стратегию воплотить. Этим двум штабам мировое демократическое сообщество доверяет распоряжаться и всеми материальными ресурсами, которые оно сочтет нужным ассигновать на предотвращение грозящей ему катастрофы.

Зажечь свечу

Что еще остается сказать в заключение? Если все тривиальные идеи испробованы и дали больше отрицательных, чем положительных результатов, настало, наверное, время идей нетривиальных.

У меня не случайно возникла параллель с дискуссией о конституции, определившей 200 лет назад судьбу Америки. Только в великом интеллектуальном сражении смогли отцы американской демократии разглядеть во мгле неизведанного все ловушки и ложные пути.

Нет и сегодня другого способа обеспечить будущее, предотвратить новую глобальную конфронтацию на рубеже тысячелетий, кроме открытой и свободной дискуссии о судьбе России и о Новом курсе Запада в отношении России.

Я был бы счастлив, если бы этой книге суждено оказалось ее открыть.

В конце концов, чем нынешнее поколение хуже того, что создавало в Филадельфии первоосновы нового мира? Глупее мы их? Беднее? Меньше у нас опыта? Или меньше печемся мы о своих детях, чем они пеклись о нас?

Не мною сказано, что лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму.

ПРИМЕЧАНИЯ



Глава первая

1. Франсуа Миттеран
2. Гельмут Колль
3. Джордж Буш
4. Джон Мейджор
5. Билл Клинтон
6. Михаил Горбачев
7. Борис Ельцин

Глава вторая

- 1-2. «Наш современник» /далее НС/, 1993, № 3, №4, с. 159, 74.
3. «Поле ответного действия». Клуб «Пост-перестройка». М., апр. 1993, с. 34, 10.

4. Цит. по: «Новое время», 1993, №13, с. 42.
5. «Отвечает оппозиция». М., Палея, 1992, с. 3.
6. «День», 24-30 мая 1992.
- 7-8. «New York Times» (далее NYT), Aug. 1, 1993.
- 9-11. «День», 24-30 мая 1992.
- 12-14. Там же, 2-8 мая 1993.
15. «Поле...», с.6.
16. Интервью с Баркашовым 7 мая 1993.
17. «Поле...», с. 13.
- 18-19. Там же, с. 24.
20. «День», 2-8 мая 1993.
21. Там же, 1-9 янв. 1993.
22. НС, 1993, №2.
23. «День», 8-14 марта 1992.
24. «Поле...», с. 3.
25. Стенограмма беседы автора с С. Кургиняном, 1992.
26. Стенограмма беседы автора с В. Жириновским, 1992.
27. «День», 1-9 янв. 1993.
28. «Новое время», 1993, № 25, с. 13.
29. «День», 7-13 февр. 1993.
- 30-31. Там же, 17-30 янв. 1993.
32. Там же, 14-20 февр. 1993.
33. Там же, 4-10 апр. 1993.
34. См. В. Прибыловский. Путеводитель по новым российским партиям и организациям. М., 1992.
- 35-36. Интервью с А. Баркашовым.
37. В. Гельбрас. Кто есть кто. Политическая Москва. М., 1993, с. 423.
38. Интервью с А. Баркашовым.
39. В. Гельбрас. Цит. соч., с. 424.
40. Интервью с А. Баркашовым.
- 41-43. «День», 1-9 янв. 1993.
44. «Московские новости», 19 июня 1992.
45. Бюллетень ИТАР-ТАСС, 16 июня 1992.
46. «Правда», 16 июня 1993.
47. «День», 19-25 июля 1993.
48. «Московские новости», 19 июня 1992.
49. «День», 1-9 янв. 1993.
50. Там же, 18-24 апр. 1993.
51. Цит. по: «Новое русское слово» /далее НРС/, 25 авг. 1992.
52. «Александр Стерлигов». Серия «Жизнь замечательных россиян». М., Палея, 1992.
53. «Коммерсантъ — Daily», 5 нояб. 1992.
54. Там же, 6 нояб. 1992.
55. В. Гельбрас. Цит. соч., с. 493.
56. «День», 1-9 янв. 1993.

Глава третья

- 1-2. «New York Times Magazine», June 27, 1993, pp. 20, 22.
- 3-5. «The New Republic», Dec. 21, 1992, pp.23, 24, 25.
6. NYT, Jan. 10, 1993.
7. «New York Review of Books», 1993, Apr. 22, p. 18.
8. NYT, op. cit.
9. «New York Review of Books», op. cit., p. 19.
- 10-11. NYT, op. cit.
12. «New York Review of Books», op. cit., p. 18.
13. «The New Republic», Feb. 22, p. 21.
14. Россия, например, первой среди великих держав Европы начала церковную реформацию (в 1490-е) и первой же объявила себя конституционной монархией (в 1610-м).
- 15-18. «The New Republic», op. cit., p. 24.
19. Ibid. p. 27.
20. Zbigniew Brzezinski. «Game Plan». Atlantic Monthly Press, 1986, p. 10-11.
21. Збигнев Бжезинский. «Большой провал». Либерти, Нью-Йорк, 1989, с. 229.
- 22-33. «Game Plan», pp.4, 41, 195, 12, 41, 15, 267 (Emphasis added), 143, 267, 68, 79.
- 34-45. Zbigniew Brzezinski. «The Premature Partnership». Foreign Affairs, March-April 1994, pp. 79,82, 68, 71, 69, 71, 72, 76, 77, 72.

Глава четвертая

- 1-2. Цит. по: НРС, 18 янв. 1995.
3. Там же, 17 янв. 1995.
4. Там же, 18 янв. 1995.
5. «Правда», 5 мая 1993.
6. «День», № 22, 1993.
7. Аркадий Дубнов. «Станут ли антисемиты вегетарианцами?»
Цит. по: НРС, 18 июня 1993.
- 8-9. «Год после Августа: горечь и выбор». М., 1992, с. 164.
10. «Куранты», 5 мая 1992.
11. Цит. по: NYT, Aug. 5, 1992.
12. Там же, 18 марта 1992.
13. «Год после Августа...», с. 64.
14. «Наша страна», 1991, № 9-10.
- 15-16. «День», 7-13 июня 1992.
17. Там же, № 31 /59/, 1992.
18. Аман Тулеев. «Долгое эхо путча». М., Палея, 1992, с. 3.
19. «День», № 31 /59/, 1992.

20. Цит. по: НРС, 4-5 февр. 1995.
21. «Россия», 27 мая - 2 июня 1992.
22. «Столица», 1992, № 25, с.9.
23. «Год после Августа...», с. 3.
24. «Независимая газета», 1 дек. 1992.
25. «Год после Августа...», с. 7.
26. Цит. по: НРС, 17 февр. 1995.
27. «Год после Августа...», с. 155.
28. «Известия», 11 дек. 1994.
29. «Russian Market Commentary», 22 нояб. 1994, с. 6.
- 30-31. «Столица», 1992, № 25.
32. «Год после Августа...», с. 149.
33. Цит. по: НРС, 10 июля 1992.
34. Там же, 31 янв. 1995.
35. Там же, 30 янв. 1995.
- 36-38. «Год после Августа...», с. 11, 12, 11.
39. NYT, 23 февр. 1995.
40. «Известия», 9 дек. 1994.
- 41-42. Цит. по: НРС, 14 дек. 1994.
- 43-44. Там же, 6 дек. 1994.
45. Там же, 11-12 февр. 1995.
46. «Известия», 23 дек. 1995.
47. «История России в XIX веке». Спб., Гранат, б/д, вып. 21, с. 334.
48. Цит. по: НРС, 16 февр. 1995.
49. Там же, 11-12 февр. 1995.
50. Цит. по: «Курьер», Нью-Йорк, 8 февр. 1995.
51. Цит. по: НРС, 11-12 февр. 1995.
52. Там же, 4 янв. 1995.
53. Там же, 13 дек. 1994.
54. Там же, 29 дек. 1994.
55. «The NYT», 2 февр. 1995 /обратный перевод с англ./
56. «The New Yorker», 30 янв. 1995.
57. NYT, 2 янв. 1995.
58. Цит. по: НРС, 4 янв. 1995.
59. Там же, 22 дек. 1994.
- 60-61. Там же, 29 дек. 1994.
62. «День», 14-20 мая 1992.
63. «Литературная газета», 18 янв. 1995.
- 64-65. Цит. по: НРС, 28-29 янв. 1995.
66. Там же, 30 янв. 1995.
67. Там же, 18 янв. 1995.
68. Там же, 3 февр. 1995.
69. Там же, 18 июля 1993.
70. «Год после Августа...», с. 11.
71. Цит. по: НРС, 4 сент. 1992.



1. Владимир Жириновский
2. Геннадий Зюганов
3. Александр Проханов
4. Виктор Анпилов
5. Александр Стерлигов

Глава пятая

1. Губерния — административная единица, введенная в 1708 г. Петром I. Границы губерний с этническими не совпадали. К 1917 г. империя состояла из 78 губерний. 25 из них отошли к Польше, Финляндии и прибалтийским государствам. Для Жириновского «губерния» — символ реставрации империи и отрицания национального самоопределения малых народов.
2. «Красная звезда», 1 мая 1991.
3. «Челябинский рабочий», 6 июня 1991.
4. «Новое русское слово», 26 янв. 1994.
5. «Новый взгляд» /приложение к «Московской правде»/, №117, 1993.
6. В. Жириновский. «Последний бросок на юг». М., 1993, с. 117, 118.
7. Политический доклад председателя РДРП второму съезду российского движения демократических реформ, с. 10.
8. В. Жириновский. Цит. соч., с. 140.
9. «Феномен Жириновского» /в дальнейшем ФЖ/. Сб. статей. М., 1992, с. 77.
10. Адольф Гитлер. «Майн Кампф». М., 1992, с. 530.
11. До 1992 г. Жириновский употребляет этот аргумент только на массовых митингах. Западная пресса впервые, кажется, зарегистрировала его в интервью, которое он дал английскому журналисту Питеру Конради. См. изложение этого интервью в НРС, 29 июня 1992.
12. ФЖ, с. 70.

13. В. Жириновский. Цит. соч., с. 117.
14. НРС, 5 авг. 1992.
15. В. Назаров. «Человек, над которым смеются. Зря», НРС, 19 июля 1992.
16. В. Жириновский. Цит. соч., с. 112.
- 17-20. Там же, с. 64.
21. Там же, с. 65.
22. А. Гитлер. Цит. соч., с. 551-552.
23. Там же, с. 553.
24. Там же, с. 554, 556.
25. Там же, с. 556.
26. Там же, с. 556-557.
- 27-28. В. Жириновский. Цит. соч., с. 65, 66.
29. Стенограмма диспута Жириновский — Янов /в дальнейшем С. Д./
30. А. Гитлер. Цит. соч., с. 556, 557.
- 31-32. Там же, с. 556.
- 33-52. В. Жириновский. Цит. соч., с. 130-131, 77, 75, 129, 74-75, 75, 75-76, 71, 71-72, 72-73, 137, 139, 123, 163, 137, 25, 24, 27, 42, 41, 34.
53. «Новый взгляд», №117, 1993.
54. «Известия», 4 янв. 1994.
55. В. Жириновский. Цит. соч., с. 38.
56. А. Гитлер. Цит. соч., с. 38.
57. Там же, с. 17.
58. С. Д.
59. «Либерал», 1992, №4-5, с. 24.
60. Там же.
61. НРС, 29-30 янв. 1994.
62. А. Гитлер. Цит. соч., с. 17.
63. «Либерал», 1992, №4-5, с. 24.
64. В. Жириновский. Цит. соч., с. 39.
65. Там же, с. 40.
66. Там же, с. 41.
67. «Либерал», 1992, №4-5, с. 25.
68. Там же.
69. С. Д.
70. В. Назаров. Цит. соч.
71. В. Жириновский. Цит. соч., с. 74.
72. ФЖ, с. 46-47.
- 73-74. Там же, с. 47.
75. «Русский курьер», 1991, №20.
76. «Известия», 8 июля 1991.
77. «Московские новости», 19 дек. 1993.
78. ФЖ, с. 31.
79. Там же, с. 27.
80. «Советская Россия», 30 июля 1991.
81. В. Жириновский. Цит. соч., с. 82.
- 82-83. А. Гитлер. Цит. соч., с. 288.

84. НРС, 3 фев. 1994.
85. «Юридическая газета», 1991, №9.
86. «Известия», 11 сент. 1993.
87. В. Жириновский. Цит. соч., с. 86.
88. Н. Данилевский. «Россия и Европа». Спб, 1871, с.406.
89. «Вольное слово». Посев, вып. 20, с. 5.
90. R. E. MacMaster. «Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher». Harvard University Press, 1967.
91. «Известия», 28 авг. 1993.
- 92-94. «Вольное слово», вып. 15, с. 27.
95. Alexander Yanov. «The Russian Challenge and the Year 2000». Basil Blackwell, Oxford, 1987.
96. «Известия», 4 янв. 1994.
97. А. Гитлер. Цит. соч., с. 287.
98. Там же, с. 293.
99. ФЖ, с. 46.
100. В. Жириновский. Цит. соч., с. 104.
101. С. Д.
- 102-106. В. Жириновский. Цит. соч., с. 104, 105, 104, 104, 103, 106.
107. NYT, Apr. 2, 1994.
108. Ibid. March 25, 1994.
109. «The New Republic», Apr. 11, 1994.
- 110-111. В. Жириновский. Цит. соч., с. 70.
112. Daniel Yergin and Thane Gustaffson. «Russia 2010». Random House, New York, p. 72.
113. NYT, March 25, 1994.
- 114-117. Yergin and Gustaffson. Op. cit., p. 209, 156, 155, 209.
118. В. Назаров. Цит. соч.
119. «Культура», 25 дек. 1993.
120. «Post-Soviet Prospects». Center for Strategic and International Studies, 1994, №. 23.

Глава шестая

1. «День», № 21, 1991.
2. Владимир Бондаренко. «Последний солдат империи». М., Палея, 1992, с. 11-12.
3. «Два взгляда на Русскую Идею». Диалог А. Янова с А. Прохановым. «Литературная газета», 2 сент. 1992; «День», № 21, 1991; В. Бондаренко, цит. соч., с. 25-26.
- 4-8. В. Бондаренко. Цит. соч., с. 5, 25, 10, 12, 19, 21, 24-25.
9. «Литературная газета», 2 сент. 1992.
10. «День», № 12 /40/, 1992.
11. Там же, № 1 /29/, 1992.
- 12-16. Там же, № 22 /50/, 1992.
17. Там же, № 1 /29/, 1992.

- 18-21. Там же, № 4 /32/, 1992.
22-29. «Элементы», 1992, № 1.
30-31. «День», № 2 /30/, 1992.

Глава седьмая

1. «Александр Стерлигов», с. 9.
2. «Геннадий Зюганов», М., Палея, 1992, с. 25.
- 3-5. «День», № 26 /54/, 1992.
6. В 1980-е, пытаюсь в «Русской идее» разобраться, почему брежневский режим не сумел в своей политике «борьбы на два фронта» разгромить «патриотическую» «Молодую гвардию», как разгромил он чуть раньше либеральный «Новый мир», я писал: «Кто-то не позволил, чтобы истеблишментарная правая разделила судьбу истеблишментарных либералов. Кто и для чего? На этот вопрос может ответить только будущее». /«Русская идея и 2000 год». Нью-Йорк, 1988, с. 166-167/. Будущее ответило. Тогда я мог лишь догадываться, что на верхних этажах брежневской иерархии сидели люди с убеждениями Зюганова и Стерлигова.
7. «День», № 20 /48/, 1992.
8. А. И. Герцен, «Былое и думы», М., 1947, с. 293.
- 9-10. «День», № 10 /38/, 1992.
- 11-12. Там же, № 26 /54/, 1992.
13. «Геннадий Зюганов», с. 5.
14. Там же, с. 3, 27.
15. Там же, с. 24.
16. Там же, с. 9.
17. «День», № 20 /48/, 1992.
18. «Александр Стерлигов», с. 20.
19. Там же, с. 4.
20. Там же, с. 5.
21. Там же, с. 12.
22. «Геннадий Зюганов», с. 5.
23. Там же, с. 22.
- 24-25. Там же, с. 7.
- 26-28. Там же, с. 9.
29. «Александр Стерлигов», с. 17.
30. «Геннадий Зюганов», с. 6.
31. «Александр Стерлигов», с. 25.
32. «Геннадий Зюганов», с. 11.
33. Там же, с. 7.
- 34-35. Там же, с. 3.
36. «День», № 20 /48/, 1992.
37. «Александр Стерлигов», с. 11; «День», № 20 /48/, 1992.
38. «Геннадий Зюганов», с. 4.



1. Сергей Кургинян
2. Александр Дугин
3. Игорь Шафаревич
4. Лев Гумилев

Перед знакомством

1. «День», № 20 /48/, 1992.
2. «Белая книга России» /далее БКР/, вып. I, М., 1991, с. 28.
3. НС, 1992, №2, с. 168.
4. БКР, с. 141.
5. Leo Gumilev. Ethnogenesis and the Biosphere. М., 1990, p. 355.
6. «Поле...», с. 24.
7. Там же, с. 22.
8. Edward N. Luttwak. «The Endangered American Dream». Simon and Shuster, New York, 1993.
9. «Элементы», 1993, № 3, с. 45.
10. «День», № 4 /32/, 1992.

Глава восьмая

1. НС, 1993, № 3, с. 159.
2. «Знамя», 1992, № 9, с. 46.
3. БКР, с. 41.
4. «День», № 4 /84/, 1993.

5. Цит по: «Знамя», 1992, № 9, с. 45.
- 6-7. Там же, с. 46.
8. БКР, с. 95.
9. Там же, с. 62.
10. Там же, с. 91.
11. Там же, с. 62.
12. Интервью с Баркашовым.
13. Цит по: «Знамя», 1992, № 10, с. 207.
14. Интервью с Баркашовым.
15. БКР, с. 62-63.
16. Там же, с. 125-126.
- 17-18. Там же, с. 131.
19. Там же, с. 140.
20. Там же, с. 125, 126.
21. Там же, с. 128.
22. Там же, с. 140.
23. Там же, с. 129, 130.
24. Там же, с. 128.
- 25-27. Там же, с. 92.
28. Там же, с. 28, 29.
29. Там же, с. 39.

Глава девятая

1. «Литературная газета», 24 июня, 1992.
2. НС, 1991, № 1, с. 132.
3. Л. Н. Гумилев родился в 1912 г. в Царском Селе близ Санкт-Петербурга. В 1946 окончил исторический факультет Ленинградского университета. В 1961 защитил докторскую диссертацию по истории, в 1974 — по географии. Вот список его основных работ: «Хунну», 1960; «Открытие Хазарии», 1966; «Древние тюрки», 1967; «Поиски вымышленного царства», 1970; «Гунны в Китае», 1974; «Этногенез и биосфера земли», 1989; «Древняя Русь и Великая Степь», 1989; «Чтобы свеча не погасла», 1990; «От Руси к России».
4. См. Л. Гумилев. «Апокрифический диалог». «Нева», 1988, № 4, с. 196. См. также Leo Gumilev, «Ethnogenesis and the Biosphere», pp. 9, 277. Все цитаты из этой книги приводятся здесь в обратном переводе с английского.
5. Там же, с. 9-10.
6. Евразийцы были одним из эмигрантских идейных течений, сформировавшимся в начале 1920-х под влиянием сперва отечественного славянофильства и большевистской революции, а затем фа-

шизма в интерпретации Муссолини. Соответственно они отвергали правовое государство, противопоставляя ему корпоративное политическое устройство, считали себя «первым типом русского ордена» (Н. Алексеев), проповедовали «идеократию» и «государство правды», в котором «правят герои» — в противоположность демократии, где правят «серые, средние люди» (Б. Ширяев). К революции 1917 г. евразийцы относились положительно — именно из-за того, что «изолировав большевистский континент и выведя Россию из всех международных отношений, [она] как-то приближает, помимо воли ее руководителей, русскую государственность... к отысканию своего самостоятельного историко-эмпирического задания» (П. Сувчинский). Исходя, как и положено изоляционистам, из того, что «нормано-германский мир со своей культурой — наш злейший враг» (Н. Трубецкой), они в то же время утверждали, что «Евразия как особый географический и культурный мир» совпадает с историческими границами российской империи. Такая имперско-изоляционистская установка, характерная для выродившегося славянофильства, неминуемо должна была вести — и привела — это течение к фашизму.

7. НС, 1991, № 1, с. 132.

8. А. Янов. «Русская идея и 2000 год». Нью-Йорк, 1988.

9-10. НС, 1991, № 1, с. 134.

11. «Столица», 1992, № 25, с. 11.

12. «Апокрифический диалог», с. 201.

13. Л. Гумилев. «Древняя Русь и Великая Степь». М., 1989, с. 755.

14. Л. Гумилев — Александр Панченко. Диалог. «Чтобы свеча не погасла». Л., 1990, с. 32.

15-16. «Апокрифический диалог», с. 200, 201.

17-18. «Ethnogenesis...», pp. 338, 355.

19. НС, 1991, № 1, с. 141.

20-21. «Ethnogenesis...», pp. 152, 215.

22. «Апокрифический диалог», с. 201.

23-25. Л. Гумилев. «Эпоха Куликовской битвы». «Огонек», 1980, № 36.

26. Л. Гумилев. «Год рождения 1380». «Декоративное искусство», 1980, № 12, с. 36.

27. «Эпоха Куликовской битвы», с. 17.

28-29. «Апокрифический диалог», с. 205, 204.

30. «Эпоха Куликовской битвы», с. 17.

31. «Ethnogenesis...», p. 66.

32-34. «Эпоха Куликовской битвы», с. 17.

35. «Апокрифический диалог», с. 200.

36. НС, 1991, № 1, с. 137.

37. «Чтобы свеча не погасла», с. 33.

38. «Ethnogenesis...», p. 251.

- 39-40. «Чтобы свеча не погасла», с. 102.
41. «Древняя Русь...», с. 106.
42. Л. Гумилев. «Князь Святослав Игоревич». НС, 1991, № 7, с. 143.
43. «Древняя Русь...», с. 106.
44-50. «Князь Святослав Игоревич», с. 143, 144, 163.
51. «Древняя Русь...», с. 213.
52-55. «Князь Святослав Игоревич», с. 144, 148, 149.
56. НС, 1992, № 1, с. 191.

Глава десятая

1. Обзор литературы по этому вопросу см: David G. Rowley. «Russian Nationalism and the Cold War». «American Historical Review», Febr. 1994.
2. А. Проханов. «Для того, чтобы победить». «День», № 1, 1993.
3-10. «Элементы», 1993, № 1, с. 137, 14, 53, 54, 13.
11. НС, 1993, № 2, с. 145, 146.
12. См. С. Кургинян. «Коммунизм начинает побеждать в мировом масштабе». «Комсомольская правда», 13 авг. 1991. См. также «Совершенно секретно», 1991, № 12 и «Столица», 1991, № 38.
13-14. С. Кургинян. «Седьмой сценарий». М., 1992, т. 1, с. 5; т. 2, с. 146.
15. Стенограмма диалога с Ксенией Мяло 4 дек. 1992 /в дальнейшем СД/.
16-18. С. Кургинян. «Седьмой сценарий», т. 3, с. 103, 221.
19. НС, 1993, № 2, с. 145.
20-21. СД.
22. С. Кургинян. «Политическая ситуация в России после октябрьских событий». М., 1993, с. 4.
23. Е. Гайдар. «Фашизм и бюрократия». «Сегодня», 15 июня 1994.
24-26. С. Кургинян. «Политическая ситуация...», с. 5.
27. С. Кургинян. «Седьмой сценарий», т. 3, с. 133.
28-39. Там же, т. 2, с. 128, 126, 146; т. 1, с. 209, 331, 329, 209, 329.
40. Сравнение принадлежит Кургиняну.
41. С. Кургинян. «Седьмой сценарий», т. 3, с. 226.
42-53. Там же, т. 1, с. 329, 333, 330; т. 3, с. 225, 226, 225, 33, 35, 133, 33, 34, .
54. Там же, т. 2, с. 209.
55. Там же, т. 1, с. 333.
56-61. Там же, т. 3, с. 221, 223, 221, 223-224, 224, 133.
62. С. Кургинян. «Политическая ситуация...», с. 10.
63. «Элементы», 1993, № 1, с. 11.
64-67. С. Кургинян. «Седьмой сценарий», т. 3, с. 126, 133, 225, 226.



1. Илья Константинов
2. Альберт Макашов
3. Михаил Афанасьев
4. Виктор Алкснис
5. Александр Руцкой
6. Сажу Умалатова
7. Сергей Бабурин

Глава одиннадцатая

1. «День», № 25 /53/, 1992.
2. Там же, № 23 /51/, 1992.
3. Там же, № 25 /53/, 1992.
4. Там же, № 31 /59/, 1992.
5. НРС, 31 июля 1992.
6. «Московский комсомолец», 27 окт. 1992.
7. «Вечерняя Москва», 5 мая 1993.
- 8-10. «Московские новости», 14 июня 1992.
11. Там же, 21 июня 1992.
12. «Российские вести», 25 июля 1992.
13. НРПР, возглавляемая Николаем Лысенко, имеет Русский национальный легион, созданный в ноябре 1991 г., и Службу национальной безопасности. Численность при регистрации 15 января 1992 г. — 5037 человек. Центральный пункт программы: «Понимая государственную необходимость свободного развития предпринимательской деятельности, НРПР берет на себя обязанность выражать интересы национальных предпринимателей на всех уровнях политической структуры общества».

14. Численность РКРП, где доминирующей фигурой является первый секретарь ее Московского оргбюро Виктор Анпилов, превышала в декабре 1992 г. 150.000 человек. «Трудовая Россия» и «Трудовая Москва», которые тоже возглавляет Анпилов, являются массовыми организациями партии.
15. РОС, возглавляемый Сергеем Бабуриным, был создан в декабре 1991 г. О его численности данных нет. Он считает своими основными принципами «народовластие, патриотизм, справедливость», «пересмотр односторонней ориентации на Запад» и «развитие традиций российского предпринимательства».
16. «Московские новости», 28 июня 1992.
17. «День», № 27 /55/, 1992.
- 18-20. «Правда», 7 ноября 1992.
21. «Россия», № 42, 1992.
22. «Гласность», 25 июня 1992.
23. Стенограмма беседы с А.А. Прохановым.
24. Виктор Аксюциц возглавляет Российское христианско-демократическое движение (РХДД, в просторечии демохристиане). В июле 1992 г. РХДД насчитывала 12.000 человек. 20 июня 1992 г. сбор демохристиан выдвинул Аксюцица кандидатом на пост президента России. Михаил Астафьев возглавляет Конституционно-демократическую партию (Партию народной свободы КДП/ПНС, в просторечии кадеты). В марте 1992 она насчитывала около 4.000 человек. Кадеты фактически находятся в состоянии раскола. Треть их Центрального комитета считает, что «вследствие курса, навязанного партии группой Астафьева, она перешла на позиции откровенного национал-шовинизма, сомкнувшись с самыми оголтелыми реакционерами».
25. День, № 23 /51/, 1992.
26. Там же.
27. «Советская Россия», 12 июня 1992.
28. «Молния», 12 июня 1992.
29. Цит. по: НРС, 31 июля 1992.

Глава двенадцатая

- 1-7. «День», № 9, 1991.
- 8-9. Там же, № 16, 1991.
10. Там же, № 21, 1991.
11. Там же, № 28 /108/, 1993.
12. Там же, № 9, 1991.
- 13-15. Там же, № 6 /34/, 1992.
16. «Элементы», 1993, № 3.
- 17-18. «День», № 23 /103/, 1993.
19. «Элементы», 1992, № 2.
20. «День», № 27 /107/, 1993.

- 21-22. Цит. по: «День», № 27 /107/, 1993.
- 23-24. Там же, № 23 /103/, 1993.
25. Там же, № 27 /107/, 1993.
- 26-28. Там же, № 23 /103/, 1993.
- 29-31. «Новое время», 1993, № 33.
32. Detlev Peukert. «The Weimar Republic». New York, 1992, p. 11.
33. «День», № 28 /108/, 1993.
34. «Левая газета», №11 /17/, 1993.
35. Kurt G. W. Ludecke. «I Knew Hitler», 1938, p. 218.
36. «День», № 23 /103/, 1993.
37. Там же, № 28 /108/, 1993.

Эпилог

1. Bernard Bailyn, ed. «The Debate on the Constitution». New York: The Library of America, 1993.
2. Arthur M. Schlesinger, Jr. «The Cycles of American History». Houghton Mifflin Company, Boston, 1986, p. 6.
3. Карл Маркс. «Избранные сочинения», т. III, М., 1933, с. 246.
4. A. Schlesinger, *ibid*.
5. Daniel Yergin and Thane Gustaffson. «Russia 2010». Random House, 1993.
6. Alexander Yanov. «Detente after Brezhnev». University of California Press Berkeley, 1977, «The Russian New Right», 1978.
7. НРС, 1993, 25-26 сент.
8. «Новое время», 1993, № 25. с. 257.
9. НРС, 25-26 сент., 1993.
10. Дмитрий Лихачев. «Я помню». М., Прогресс, 1991, с. 126, 127.
11. Michael MacFal. «The Spectrum of Russian Fascism». «Conversion», № 3, Jan. 20, 1994. Stanford University Publication.
- 12-13. «Новое время», 1993, № 25, с. 25.
- 14-16. Там же, 1993, № 27, с. 30, 31.
- 17-19. Там же, 1993, № 25, с. 24-25, 25.
20. Там же, 1993, № 27, с. 30.
21. НРС, 28 сент. 1993.
22. NYT, Oct. 19, 1993.
23. М. Малютин, Ф. Юсуповский. «Расстановка политических сил в России». М., 1993, с. 84.
24. Alexander Yanov. «The Origins of Autocracy». University of California Press, 1981.
- 25-26. Daniel Yergin and Thane Gustaffson, *op. cit.*, pp. 9, 11.
27. «Столица», 1993, № 25, 12.

СОДЕРЖАНИЕ

Ирина ХАКАМАДА	
В какой стране мы живем	5
Вместо предисловия	
КАК Я НЕ СПАС РОССИЮ	10
Часть первая	
РОССИЯ И ЗАПАД	
Глава первая	
Психологическая война	26
Глава вторая	
Рождение идеологии реванша	34
Глава третья	
Ищу союзников!	52
Глава четвертая	
Гадкий утенок	70
Часть вторая	
ЛИДЕРЫ	
Глава пятая	
Феномен Жириновского	114
Глава шестая	
«Последний солдат империи». Александр Проханов и московская «партия войны»	152

Глава седьмая	
Национал-большевики. Александр Стерлигов и Геннадий Зюганов	165
Маски империи	182
Часть третья	
ИДЕОЛОГИ	
Перед знакомством	188
Глава восьмая	
Персональная война профессора Шафаревича	191
Глава девятая	
«Этногенез» д-ра Гумилева	201
Глава десятая	
Может ли «патриот» стать антифашистом? Сергей Кургинян против Александра Дугина	215
Часть четвертая	
ОППОЗИЦИЯ В ДЕЙСТВИИ	
Глава одиннадцатая	
Генералы и их армия	244
Глава двенадцатая	
Сценарии авторитарного переворота	258
Эпилог	
ПОЛИТИКА СОУЧАСТИЯ	278
Примечания	303

Янов Александр Львович

ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНА
«Веймарская» Россия

Редактор *Д. С. Акивис*
Художник *М. М. Герцовская*
Корректор *Н. П. Ненахова*

Сдано в набор 05.06.95г. Подписано в печать 05.09.95г.
Формат 84х108/32. Печ. л. 10. Тираж 5000 экз.
Изд. № 8. Зак. 1058.

Издательская фирма «КРУК»

Издательство
«Московская городская типография А. С. Пушкина»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



Александр Янову повезло прожить три жизни. Одну в России. Вторую в Америке. И третью — в самолете между ними.

В каждой из своих жизней он начинал с нуля и достигал известности благодаря страстному желанию помочь России в сочетании с тем, что знаменитый немецкий политолог

Рихард Лоуэнтал назвал его “замечательной интеллектуальной оригинальностью”.

В 1953 г. Янов закончил исторический факультет Московского университета. В 1970 г. он защитил докторскую диссертацию по истории русского национализма. Стал непревзойденным виртуозом критики режима в подцензурной прессе.

В 1974 году Янов вынужден был покинуть Россию.

В Соединенных Штатах, начав рядовым инструктором по русской истории, сделал блестящую академическую карьеру. Стал знаменитым как автор в высшей степени спорной книги “Тезисы Янова”, где утверждал: неминуемое крушение советской империи неизбежно приведет к возрождению имперских амбиций в Москве, что в дальнейшем будет угрожать превращением России в фашистскую ядерную сверхдержаву.

С тех пор он делает все, что в человеческих силах, чтобы его пророчество не сбылось.

Половину из последних пяти лет Янов провел в Москве. Результат — еще одна в высшей степени дерзкая книга — в ваших руках.